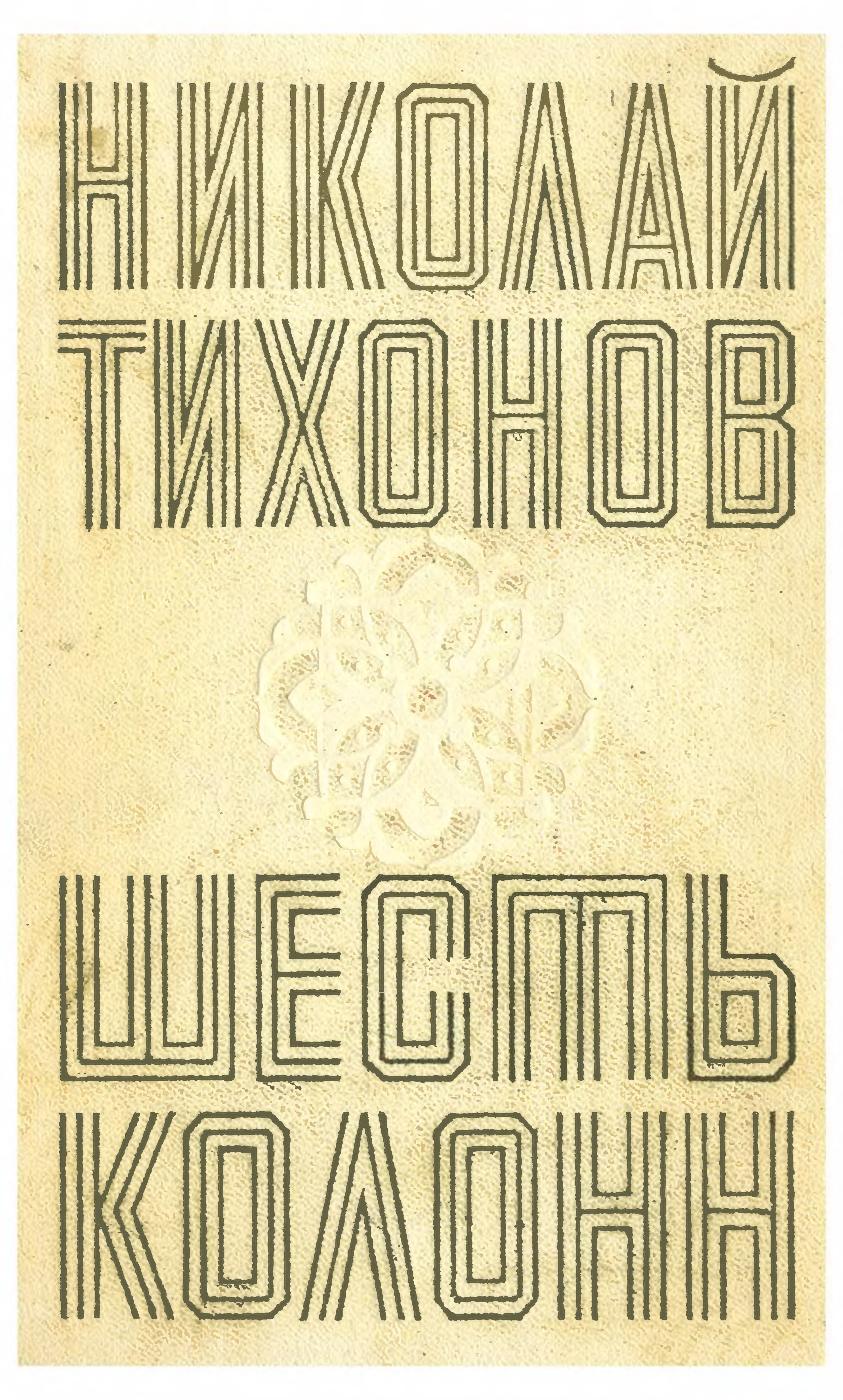
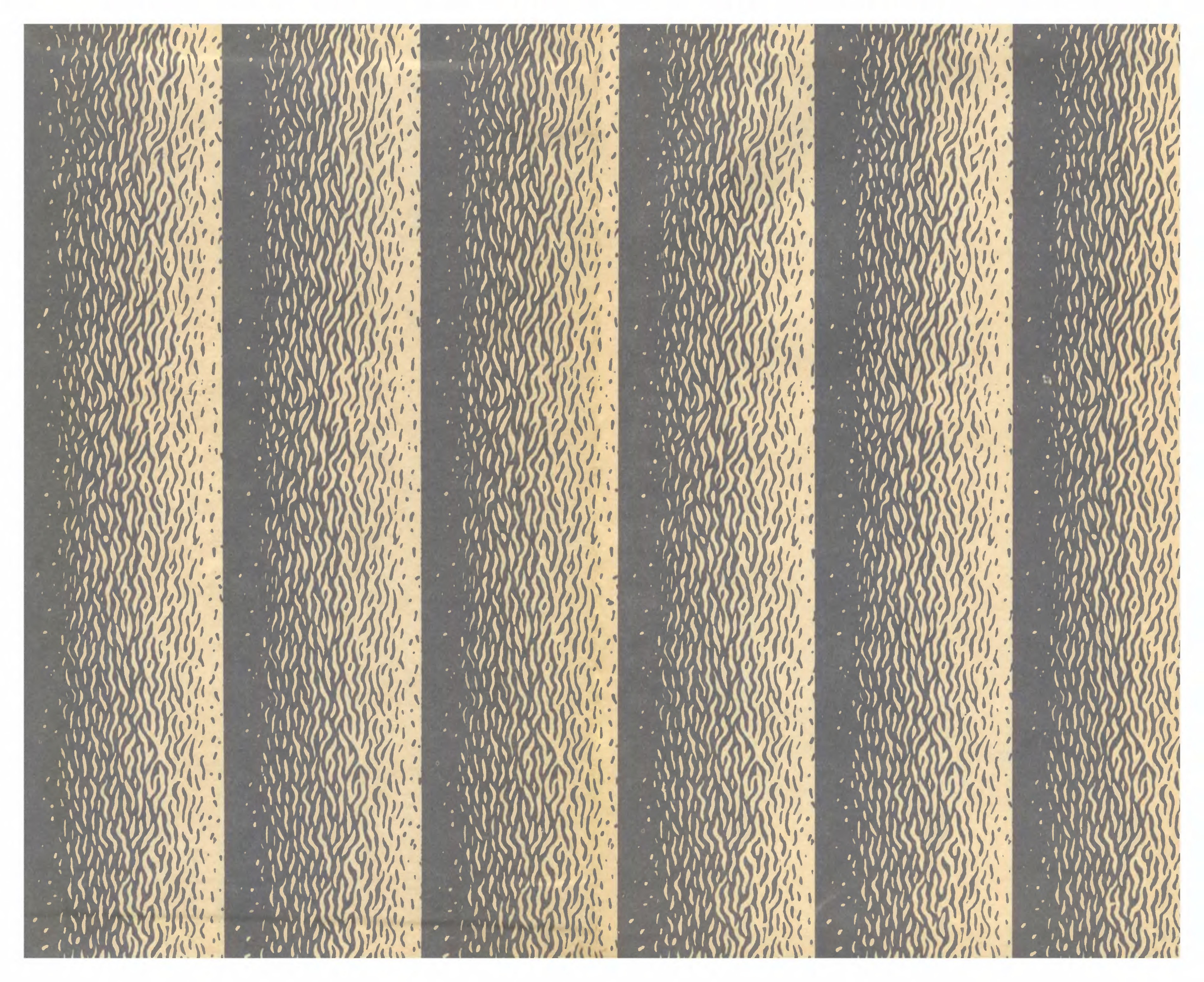
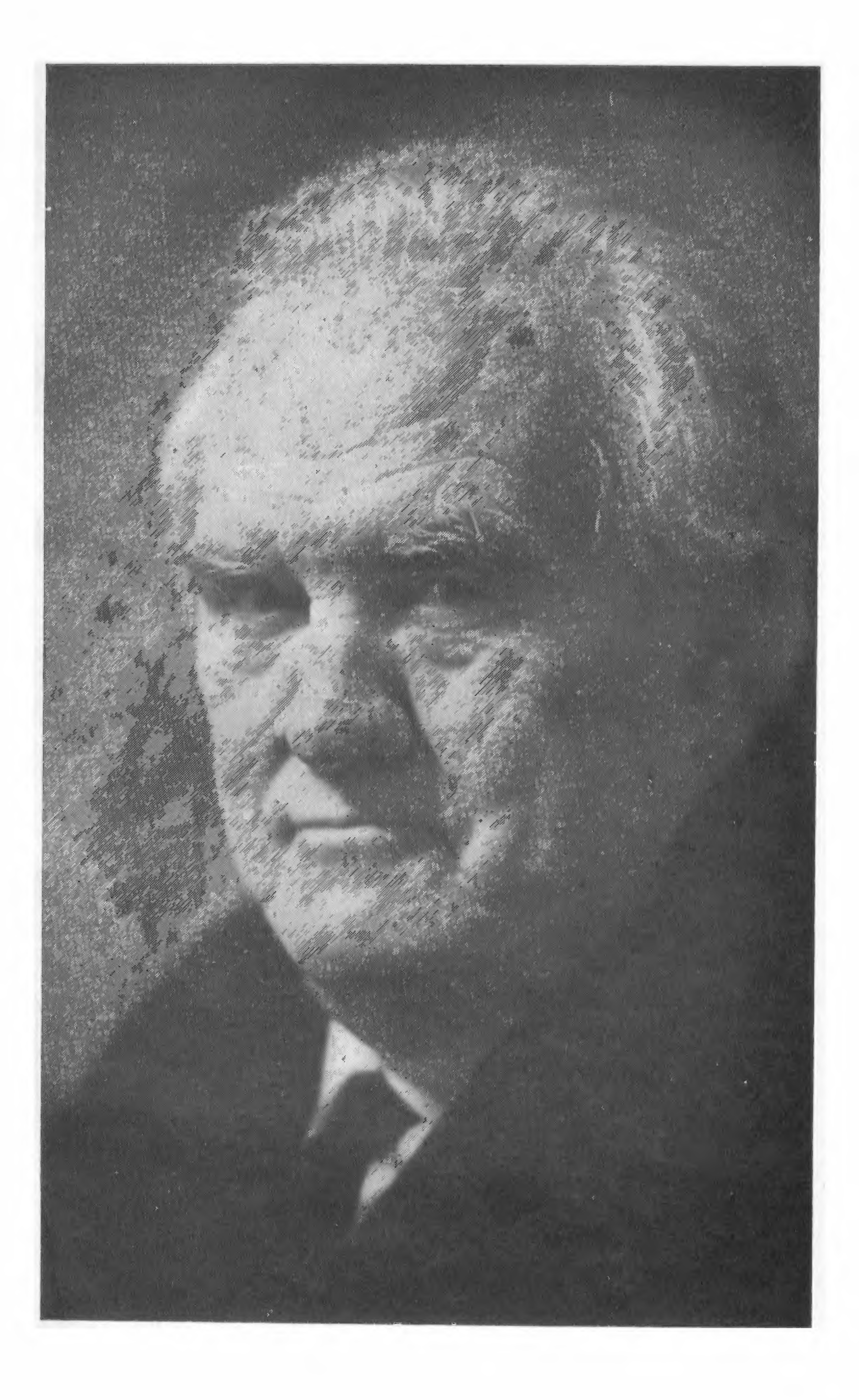

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ
ШЕСТЬ КОЛОНН





Николай Тихонов

ШЕСТЬ КОЛОНН

Книга повестей и рассказов

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1970

Р 2
Т 46

«Шесть колонн» Николая Тихонова — это книга рассказов и маленьких повестей о странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Автор много путешествовал в тех краях, и книга является результатом наблюдений и изучения быта народов Азии в период 1949—1962 годов, когда эти народы, сбросив гнет колонизаторов, вступили на самостоятельный путь развития.

Материалом для этих рассказов и повестей послужили подлинные события и случаи, характерные для того периода, когда передовые силы освобожденных народов столкнулись с попытками бывших колонизаторов вернуть себе прошлую власть.

За книгу «Шесть колонн» писателю Николаю Тихонову присуждена Ленинская премия 1970 года.

Художник М. В. Серегин

7-3-2
Резерв 70 г.

Несколько слов от автора

Больше десятилетия, с тысяча девятьсот сорок девятого по тысяча девятьсот шестьдесят второй год, мне пришлось много странствовать с миссией доброй воли, борьбы за мир по странам Юго-Восточной Азии, по странам Ближнего Востока.

Книга, которая называется «Шесть колонн», по своей теме целиком принадлежит Востоку. Я работал над ней несколько лет.

Рассказы и маленькие повести этой книги можно было бы назвать «цветными рассказами», потому что в них — многоцветные краски бирманских джунглей, дорог и городов Индии, диких зимних ущелий Гиндукуша, легкие очертания берегов весеннего Средиземноморья в благоуханном Ливане, тяжелые тропические краски Цейлона и Индонезии.

Еще я мог бы назвать эти рассказы условно, как часто принято на Востоке,— «Книгой пути», потому что в них проходят темы Азии, ищущей путь в будущее, проходят люди азиатских стран, освободившихся от колониализма, начинающих свой самостоятельный путь.

В этих рассказах я хотел показать и европей-

цев — друзей освобожденных народов и таких, которые не могут расстаться с былым величием колонизаторов, под видом дружеской помощи хотят сохранить свою власть, остаться хозяевами старого материка.

Азия, которую я видел, была не похожа на сегодняшнюю. Она дышала воздухом недавно свершившегося освобождения, жаждала прогресса, дружбы и сотрудничества со всеми миролюбивыми народами. С тех пор многое изменилось в жизни народов Ближнего Востока и стран Юго-Восточной Азии. Изменился самый вид больших городов, характеры людей. Достижения современной мировой культуры проникли в быт, произошли известные социальные сдвиги, но вместе с тем разразились события, которые потрясли все великое пространство древнего материка.

Разразилась и по сей день, нарастая, длится варварская, кровавая война во Вьетнаме, вызванная американскими империалистами-интервентами. Во всем мире растет самый решительный протест против интервентов, превращающих Южный Вьетнам и Демократическую Республику Вьетнам в края, залитые кровью и покрытые развалинами горо-

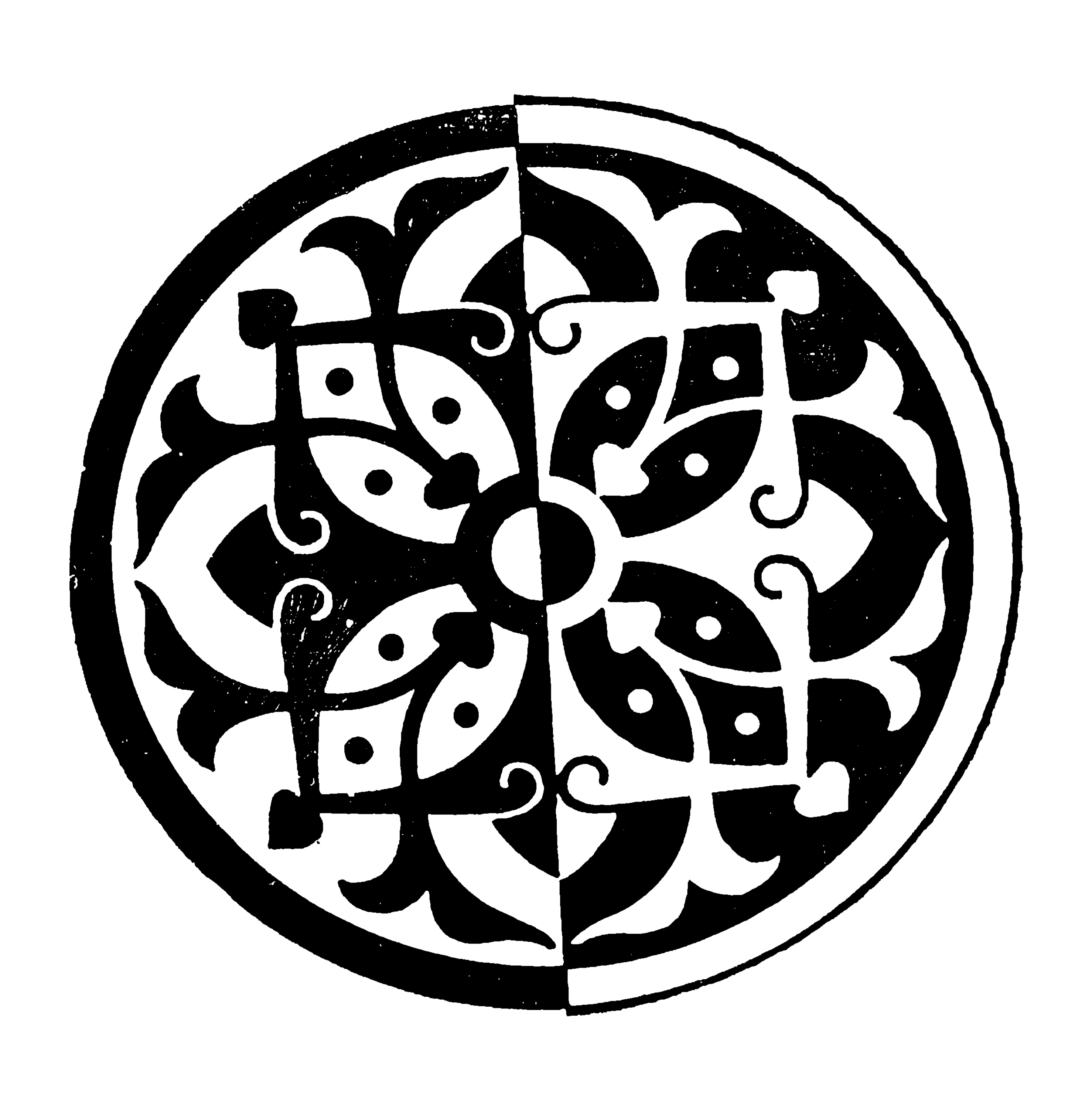
дов и селений. Беспощадно уничтожается мирное население, и все растет угроза дальнейшего расширения войны с неизвестными последствиями для всего мира.

На Ближнем Востоке продолжается напряженное состояние, порожденное интервенцией израильских захватчиков против арабских стран. Трагедия Индонезии, погруженной в туман неизвестного будущего, вызывает большую тревогу. Внутренние затруднения многих азиатских стран, как никогда, обострены, сегодня.

Всего этого нет в моей книге. Мои рассказы и маленькие повести принадлежат к предшествующему периоду. Их действие развивается значительно раньше вышесказанного. В их основу положены действительные сюжеты и события, имевшие место в жизни. Характеры действующих лиц часто имеют прообразами людей, существовавших на самом деле.

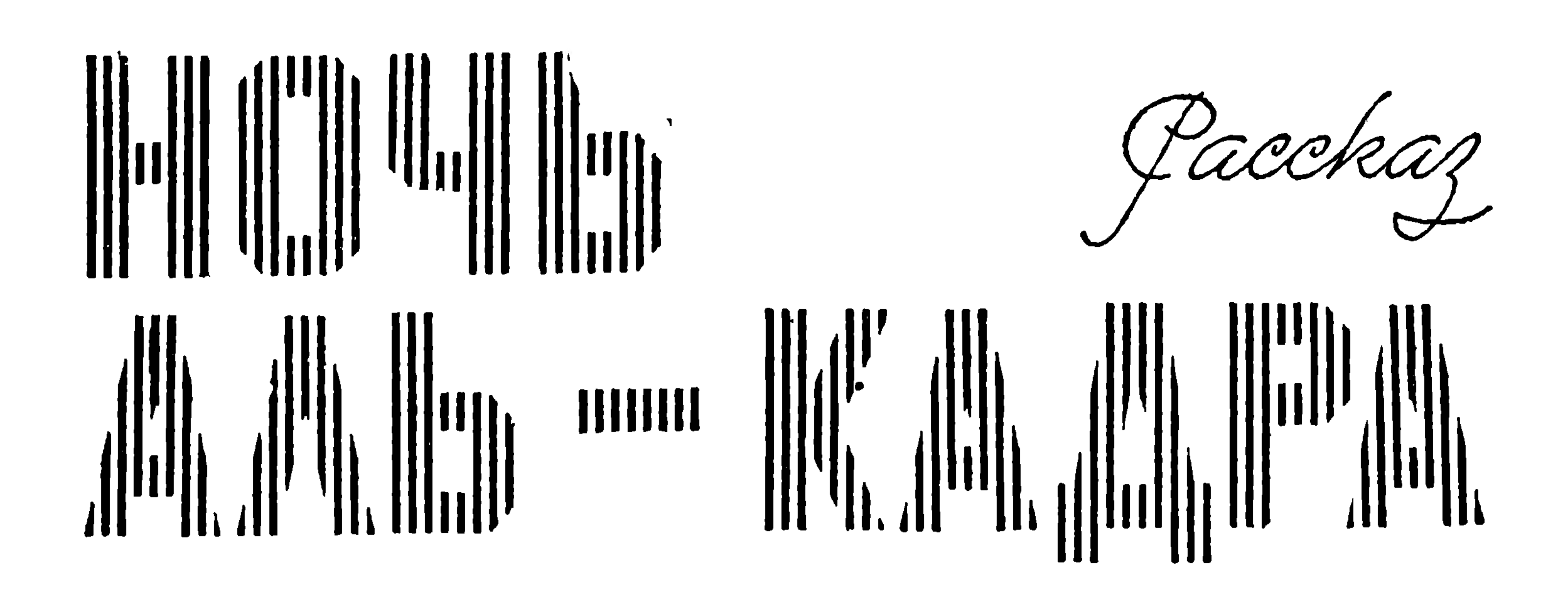
Должен сказать еще, что книгу «Шесть колонн» я писал с чувством глубокого уважения и сердечных симпатий к народам Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Николай Тихонов



Впервые за много лет советский профессор читал в Бейруте лекцию на арабском языке. В конференц-зале министерства просвещения сидели шейхи, ученые, философы, поэты и писатели, общественные деятели, профессора ливанского Национального университета, ученые мужи ливанской Академии изящных искусств, представители Американского университета, теологи из университета святого Иосифа, любители древности из французского Института археологии, музейные работники, члены ассоциации политических наук, лекторы из просветительного общества «Сенакль», студенты и просто любопытные, не считая журналистов и газетчиков.

По-разному слушали профессора: кто сидел в глубокой



задумчивости, кто проницательным взором изучал лицо и фигуру выступавшего. Иные слушали настороженно, боясь пропустить слово, или с легкой недоверчивой улыбкой. Иногда кто-то, не выдержав наплыва чувств, вскакивал с места, шумно аплодировал, и к нему присоединялись многие.

Профессор, сосредоточенный, худощавый, ростом с доброго бедуина, но с узкими плечами, с тонкими чертами лица, в очках, сначала волновался. Это волнение было заметно. И голос у него вначале был тихий, хриплый. Он торопился. Но постепенно, чувствуя большое, дружественное внимание зала, он стал говорить медленнее, речь его зазвучала уверенно, и теперь слушавшие уже с явным удовольствием и даже с восхищением, не скрывая его, смотрели на своего ученого друга, который говорил о мировом значении арабской культуры, о тех легендарных временах, когда она являлась храни-

тельницей научных открытий, развивала многие науки и способствовала передаче и расцвету мировых знаний. Он говорил о великих арабских ученых и писателях, о славных арабистах старой России, о замечательных советских востоковедах, глубоко изучивших арабскую культуру, о молодых арабистах последнего времени, упорно стремящихся овладеть премудростью Востока.

Сам он положил немало трудов на изучение любимой науки.

Присутствующим было приятно узнать, что в Советском Союзе так широко занимаются изучением арабского языка и знают даже такие материалы, которые неизвестны арабским ученым. Сам докладчик не раз побывал среди арабов в Средней Азии, живущих в Бухаре и в Кашка-Дарьинской области, где он нашел и исследовал особенности происхождения некоторых арабских глагольных форм.

Он говорил подробно об арабских рукописях, хранящихся в советских институтах и музеях. Он с большим искусством поведал о древних арабских путешественниках и мореплавателях и о великом моряке, одном из четырех львов моря,— об Ахмаде ибн Маджиде, три уникальные неизвестные лоции которого прочитаны совсем недавно, после многолетней подготовки, одним талантливым ученым, учеником самого Игнатия Юлиановича Крачковского.

Эти удивительные лоции, заключающие в себе описание морских маршрутов по Красному морю, по Индийскому океану и от портов Восточной Африки на Восток, написанные стихами, принадлежали тому искусному льву моря, который, будучи потомственным лоцманом, открыл путь в Индию искателю сказочного материка — Васко да Гаме.

Докладчик так живописно рассказывал о том, как встретились в африканском городе Малинди честолюбивый португальский завоеватель и опытный знаток полуденных морей, как двадцать шесть дней плыли корабли, подгоняемые попутным муссоном, и наконец Маджид мог сказать, показывая на видневшуюся землю: «Вот Индия, к которой вы стремились».

И как тот же Маджид, узнав, что эти притворявшиеся мирными людьми пришельцы обернулись жестокими грабителями, искавшими заморские земли, чтобы подчинить их своей жестокой власти, разорить, ограбить до нитки жителей, пре-

вратить их в рабов, написал обо всем этом в своих поэтических урджузах. «О, если бы я знал, что от них будет!» — восклицал он в отчаянии.

Многое, о чем говорил профессор, люди, сидевшие в зале, слышали первый раз в жизни. И когда он окончил свой необыкновенный доклад, раздались всеобщие аплодисменты, к нему бросились и старые профессора и молодые студенты, и все старались высказать свое восхищение, удивление, дружескую благодарность. Многие из знатоков, поздравляя профессора с большим успехом, говорили, что они понятия не имели о той огромной работе в области арабистики, которую провели и проводят советские ученые-востоковеды. Поэтов особенно потрясло повествование о вдохновенном лоцмане Ахмаде ибн Маджиде, который и в настоящее время почитается сирийцами как святой. Ему молятся сегодня и арабские моряки Красного моря перед трудным плаванием.

Пылкое воображение молодых поэтов было потрясено докладом. Оно рисовало перед ними косматые валы Индийского океана, португальские корабли у берегов таинственной Индии, гордого лоцмана-араба, поэта и философа, поклявшегося клятвой лоцманов: «Мы связываем с кораблем свою жизнь и судьбу. Если он спасется, спасемся и мы. Если он гибнет, мы умираем вместе с ним». Перед ними вставал багроволицый, широкоплечий, беспощадный, угрюмый Васко да Гама в бархатном берете, со знаменем, на котором большой алый крест ордена Христа...

Но все были рады слышать о чудесном Маджиде и о его лоциях, рожденных в глубине веков и обретших новую жизнь в руках советского ученого Теодора Шумовского в далеком Ленинграде. Профессор Георгий Церетели тоже был очень рад, что его доклад пришелся по сердцу этим ученым мужам, хорошо знакомым с родной стариной, чрезвычайно ревнивым по отношению к любому, кто хочет перед ними открыть неизвестное, да еще говоря на их родном языке. Но сегодня они услышали так много нового, что самые скептические из них должны были признать, что надо сильно любить науку и питать большое уважение к арабам, чтобы так тепло говорить об арабской культуре.

Михаил Нуайме подошел и крепко пожал руку профессора, Михаил Нуайме, почтенный классик арабской литературы...

Только позавчера ночью приснились ему пышные полтав-

ские тополя, уходящие своими крылатыми вершинами в бездну, осыпанную крупными, звездными изумрудами. Ночь была настоящей украинской, берущей за живое. Из ее глубины доносилась песня, то нежно-веселая, то нежно-грустная. Ему самому захотелось петь, как пел, бывало, и сама память напевала ему то «Тече річка невеличка», то «Ой, казала мені мати» или еще что-то забытое, из «Кобзаря». Он шел по лугам и слышал скрипение возов на старом шляху за лугами. Потом приснился Киев в весенних облаках жаркой сирени, сверкнула широкая, как море, полоса Днепра под ногами. Он проснулся, полный какой-то горькой радости и смутной тревоги.

Только вчера спустился он с гор, из своей маленькой, романтической, краснокрышей Бискинты, над которой еще лежат густые голубоватые снега на отрогах огромного Саннина, и встретился с приехавшими из Советского Союза, с этим профессором, живущим в большом, шумном Тбилиси.

Он уже слышал о нем от друзей и поэтому осторожно спросил:

— Вы, кажется, интересуетесь арабской литературой?

— Да,— скромно ответил его собеседник.

— Вы даже можете читать по-арабски? — продолжал Нуайме.

— Могу читать, могу и говорить.— И гость перешел на арабский. Это была первая неожиданность. На столе лежал том в светло-синем переплете, и на нем было напечатано: «Академик И. Ю. Крачковский. Избранные сочинения». Это была вторая неожиданность.

— Можно посмотреть? — сказал Нуайме, не веря глазам.

— Пожалуйста, смотрите, там есть кое-что для вас особо интересное...

Нуайме заглянул в оглавление. Статья «Арабские писатели и русский арабист». Что-то дрогнуло в нем. Он стал медленно перелистывать страницы, точно должен был вдруг открыть для себя нечто такое, чего он никак не ожидал, о чем не думал. И действительно, как-то внезапно за страницей пятьдесят шестой он нашел свой портрет, нарисованный художником Джебраном.

Молодой, красивый, с грустными, задумчивыми глазами, с легким, одухотворенным лицом. Таким он был много лет назад. Он даже смутился этой встречей со своей мо-

лодостью. Невольно он стал читать статью, но ему показалось, что читать сразу о себе как-то неудобно, нескромно, да и задерживаешь книгу. Он стал бегло перебрасывать страницы.

— Могу ли я на один вечер взять эту книгу?

— Вы можете взять ее совсем, она ваша,— сказал профессор.

— А вы как же без нее, она ведь вам будет нужна?

— У нас есть еще экземпляры. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите на память о нашей встрече!..

И Нуайме прочитал в тот же вечер, внимательно останавливаясь на каждом абзаце, главу, которая называлась «Полтавский семинарист». Прошлое проносилось перед ним в удивительной пестроте, как тот недавний сон. Старая, царская Россия, зеленый Киев, пыльные улицы Полтавы, семинария, друзья и товарищи. Снились пустынные родные горы и Бискинта. Он жадно впитывал знания. Читал классиков подряд. Наизусть заучивал стихи и песни. Пушкин, Шевченко вошли в его сердце. Белинский ошеломил его огненным красноречием. Где-то в другой жизни, далеко осталась маленькая русская школа Библейского общества в Бискинте. Украина становилась второй родиной. Но буря революции увлекла его, и ему пришлось покинуть в конце концов так полюбившиеся края. Но те большие годы оставили неизгладимый след.

Потом он видел много стран и людей и, вернувшись из дальних странствий в родную Бискинту зрелым писателем, имея за плечами сорок лет жизни, тосковал по далекой стране, где нашел сердечных людей и заглянул в огромные просторы будущего.

Он закрыл книгу, полный сладостного чувства, точно вошел в дом, где его давно ждали и всегда вспоминали. Страницы книги говорили с ним, как живые друзья. Дважды он прочел строки, которые его поразили. Крачковский писал:

«Нуайме прав, когда говорит, что нам не всегда ясны факторы, объясняющие выбор человеком дела своей жизни. Не всегда нам ясны в деталях и пути, по которым идет зарождение симпатии между людьми и народами...»

Да, вот они — русский и араб — стали сознательно называться в те годы — и это осталось на всю жизнь — «Миша из Бискинты» и «Гантус из России». И какая это была сердеч-

ная дружба, какое понимание, какая симпатия! «А тут ты очень прав, друг!» — сказал про себя Нуайме. Статья заканчивалась удивительными словами: «Думается, что будущее человечества во многом зависит от умения отыскать пути этой симпатии».

«Истосковался я по России, по Украине,— сказал он сам себе.— Как бы я хотел надышаться воздухом моей второй родины, Украины! Как бы я хотел постоять на берегу Днепра в Киеве, еще раз увидеть Полтаву — город моей юности!»

Он пришел на лекцию профессора Церетели, и ему было приятно, что этот человек, большой ученый, говорит с арабами на их языке и рассказывает им вещи, которые им неизвестны, но которые принадлежат их истории, их духовному миру. Он заслуживает благодарности. И он к тому же ученик незабываемого «Гантуса из России»!

Он подошел и пожал ему руку, как старому, доброму другу. И ученый, не склонный к сентиментальности, понял его. В этот вечер он сам был взволнован и не мог бы как следует объяснить почему...

В большой, почти квадратной комнате, увешанной коврами, картинами, зеркалами, в отеле «Бристоль», на улице мадам Кюри, вокруг круглого стола было шумно, минутами даже слишком шумно, потому что среди присутствовавших были молодые поэты, привыкшие говорить и читать свои стихи как можно громче. Христиане и магометане дружески беседовали за стаканами белого и красного мюзара. В Ливане свыше пятнадцати религий и сект, и к этому все давно привыкли.

Беседа шла пестрая. В мимолетных вопросах, недоумениях, недосказанностях, в многоязычии, в дружеских улыбках, неожиданных взрывах красноречия, в резкостях и нежностях было так много непосредственного и неожиданного, что все чувствовали себя свободно и непринужденно.

Говорили обо всем, что придет в голову. В конце концов, здесь не диспут и не допрос с пристрастием. Поэты засыпали нас вопросами о жизни в Советском Союзе, вопросами, говорившими о полном незнании ими нас, условий нашей жизни, состояния нашей литературы. Правда, это было девять лет назад, и это было простительно.

— Можно ли в Советском Союзе писать стихи о любви, о красоте возлюбленной?

— Можно ли воспевать природу так пышно, как в арабской поэзии?

— Какая разница между поэзией и прозой?

— Почему до революции в Ливане, и Сирии, и в Палестине было сто тринадцать русских школ, а теперь ни одной?

— Можно ли организовать в Ливане при помощи Советского Союза хоть одно ремесленное училище?

Все были очень довольны, узнав, что в Советском Союзе можно писать про любовь, про красоту, все, что хочешь, не жалея красок, и рисовать стихами самые фантастические, самые закрученные, самые формалистические пейзажи, что разницу между стихами и прозой у иных поэтов трудно найти... Что касается русских школ, то они в старые времена были основаны так называемым Библейским обществом, а сейчас такого нет, что ремесленное училище не так трудно организовать и самим арабам...

Молодой советский арабист, вызывавший всеобщее внимание (не обманывают, у них и молодежь учится арабскому), прочел по-русски стихи, написанные Михаилом Нуайме в годы его молодости в Полтаве. Они называются «Замерзшая река».

Сначала он рассказал по-арабски содержание стихотворения: Нуайме описывает реку зимой. Она покрыта льдом. Она омертвела, замерзла. «Заиграет ли жизнь веселая на ее берегах». Это было в годы реакции, и поэт говорил о будущей революции. Кончая стихотворение, он говорил, обращаясь уже ко всей стране, замороженной, как эта река:

О, мы верим, Русь,
Верим всей душой,
Что весна придет
И в твои края.
Но скажи: когда
Это сбудется?
Ты молчишь, о Русь!
Спи, родимая!..

Русские слова странно звучали в этой комнате после звонко струившихся весь вечер арабских строф.

— Как называлась эта река, про которую написано стихотворение? — спросил один из присутствовавших.

— Сула!

— Я думал, Волга! А Сула такая же великая, как Волга?

— Нет, Сула — небольшая речка, но поэт ее взял как образ. На ее берегу он жил в деревне у своего украинского друга...

Другой поэт сказал:

— Старый Нуайме напоминает мне строки древнего Аль-Мутанабби, который говорит о льве: «Он ступает по земле горделиво и мягко, словно врач, ощупывающий больного. Откинутая назад грива венчает его голову короной. И кажется: зарычи он в гневе, эта корона упадет с его головы». Но я подымаю бокал за поэзию Нуайме и за всю поэзию! Я помню чьи-то строки, которые сейчас к месту:

О виночерпий, зажги огнем вина нашу чашу,
А ты, певец, запой, ибо все желания мира
Сейчас в нашей власти!

Мы выпили за поэзию. Все говорили разом. Во все времена так сидели за беседой поэты и ученые. Но вот встал один из разгоряченных беседой поэтов. Он напоминал уже бедуина, готового вскочить на верблюда и мчаться, размахивая копьем.

— Смотрите, братья, это несправедливо! Наш Нуайме, который так любит Россию, писал по-арабски и по-русски стихи о борьбе за ее свободу, писал о русских, несмотря на то, что был арабом. А пусть нам прочтут стихотворение, где бы русский поэт говорил о борьбе арабов за свободу! Арабский поэт верил в победу революции в России. Это мы только что слышали. А есть ли среди русских поэтов такие, что писали об арабах, об их борьбе за свободу?

Сказав эти значительные слова, он сел. Наступила некоторая растерянность. Стали вспоминать разные стихотворения, но все они принадлежали классикам и были, как лермонтовские «Три пальмы», великолепны, но далеки от призыва к борьбе.

Сколько мы ни старались, не могли вспомнить стихов русских поэтов на эту тему. Но вопрос нашего друга не мог остаться без ответа. Тогда я вынужден был сказать, — дру-

гого выхода не было: я вспомнил, у меня есть одно такое стихотворение. Но имейте терпение. Во-первых, я его все на память не помню. Во-вторых, к нему требуется некоторое пояснение. Это было давно, в двадцатых годах, одной бессонной ночью в моем родном городе на Неве, когда он назывался еще Петроградом. Той ночью звезды были особенно ярки, и, как по лестнице, можно было по ним подняться на небо. Я читал в эту ночь Коран и открыл его на странице, где говорилось: «Кто изъяснит тебе, что такое ночь Аль-Кадра? Ночь Аль-Кадра стоит больше, чем тысяча месяцев. В эту ночь ангелы сходят с неба, чтобы управлять всем существующим. И до появления зари царит в эту ночь мир».

В примечании к этой главе можно прочесть, что в эту ночь утверждаются и разрешаются дела вселенной на целый год. Я был молод, сон бежал от меня, а ночь была так хороша, и я думал о мировой революции и о том, как бы революционно разрешить дела вселенной, хотя бы на ближайший год, без помощи ангелов. Вот начать хотя бы с арабов. Я взял перо, раскрыл тетрадь и обратился в стихах к людям, облакам и зверям пустыни. Я говорил об унижении арабов, о том, как их угнетают сегодня, как их заставляют служить в войсках империалистов, и о том, что им надо очнуться и встать на битву. Я призывал их к этому. Я прочту то, что помню; вот эти стихи:

Слушай:
Зеленее леса ночь Аль-Кадра,
Кто в двери и в сердце мое постучал?
И встал я как муж и как воин, я встал и как брат,
Губами на губы и сталью на сталь отвечал...

— Это писал араб! — воскликнули окружающие, когда профессор перевел им мои строки. Я продолжал:

Близок срок...
Пальмы устали качать головой на восток,
Молятся травы, и львы не приходят к воде,
Не сто поцелуев, но истинно трижды сто
Я возьму у тебя при первой ночной звезде,
Чтобы в эту ночь Аль-Кадра
Моя жизнь вернулась ко мне,
И тому человеку сказал я: пора,
Которого нет сильней...

— Это арабские стихи! Самые настоящие! — закричали слушатели.

Я продолжал:

Уста мои — правда и уста мои — суд!
Завтра в путь отправляться мне.
Потому что погонщик я и верблюд,
И земля и небо над ней...

И завтра — меч.
Спи, мой цветок.
Сегодня мир — на земле и на воде,

Сегодня в ночь Аль-Кадра
Даже самый отверженный из людей
С пророками входит в рай!..

— Мы переведем эти стихи и напечатаем в Бейруте! — сказали арабы.

Я ответил:

— Мне все-таки надо кое-что пояснить. Сложность мыслей и густая образность меня тогда одолели. А я хотел всего только сказать, что арабы возьмут меч и будут сражаться за свободу. Все народы должны быть братьями и равновеликими в своих достижениях! Не знаю, почему в ту ночь мне попался Коран и почему я думал о судьбе арабов. Наш великий Пушкин однажды написал «Подражание Корану», не знаю почему. Сердце хочет идти тропой дружбы к тому народу, к которому лежит сердце. А почему именно в одну неожиданную ночь приходит это чувство, никто не скажет. Я соблазнился по-своему переписать суры Корана, потому что в наше время люди равны богам и ангелы и люди перемешались, а звезды светили в ту ночь ярче обычного...

— Мы тоже ждали веками только ангелов в ночь Аль-Кадра,— сказал один из поэтов.— Но потом сами штурмовали небо, и теперь лестница в наших руках, наше небо свободно, ангелы с нами, но трудно сохранить мир на земле. Врагов слишком много. Но мы желаем всем мира!

— Ты хорошо говоришь,— сказал его сосед,— как сам Виктор Гюго, помнишь его слова: поэт не может продви-

гаться один. Нужно, чтобы двигался человек. Итак, шаги человечества суть шаги искусства! И мы хотим шагать со всеми!..

— Ах! — вскричал один из молчаливо сидевших поэтов, и в голосе его прозвенели искры ярости.— Я...— Он стоял, потрясая кулаками: — Я, Маджид, ведущий флот обманувших меня разбойников в гавань мира, я говорю им: «Вот страна, которой вы хотели мирно достичь». А они, что они сделали! Я помню этих португальцев. Они обманом и злобой овладели всем. И тогда в Багдаде улицы поросли травой, нечего было больше возить на верблюдах. Они уничтожили наши корабли и крепости! Они закрыли наш мирный водный путь, они уничтожили нашу культуру. Я, Маджид, говорю сегодня: они мучают Черную Африку сегодня, как мучили нас когда-то! Мучают, как нас когда-то! Да! Да! Это так!..

Он начал кричать так сильно, что его посадили ближе к окну и уговорили успокоиться.

Вечер явно шел к концу. Он начался там, в конференц-зале министерства просвещения, и заканчивался в квадратном номере отличного отеля «Бристоль». Гости уходили по двое, по трое. Комната пустела. Мы решили прогуляться перед сном. Я и молодой советский арабист вышли с нашими последними гостями. Улица мадам Кюри была пустынна. Теплый ветер с моря дружески освежал наши разгоряченные щеки. Металлические листья пальм скрежетали чуть слышно.

Немного в стороне стояли двое. Нам показалось, что один поддерживает другого. Нам показалось, что это кто-то из наших гостей. Мы подошли поближе.

Да, это были два друга, один из которых кричал о том, что он Маджид. Сейчас он шатался, прислонясь к пальме.

— Что с ним? Ему плохо? Нам кажется или он плачет? В самом деле он плачет. Почему?

Араб, опекавший друга, взглянул на нас, узнал и торопливо ответил:

— Он плачет от обиды!

— Кто его обидел?

— Он говорит: зачем Маджид показал дорогу португальцам! Зачем он привел их корабли в Индию, он не может этого ему простить! Он говорит: Маджид сам раскаялся —

поздно. Он сделал страшное дело. И вот он не может ему простить... Ну, прости его, пожалуйста!

— Нет! Никогда не прощу! — закричал, качаясь с закрытыми глазами, прислонившийся к пальме.— Не прощаю!

С нами говорил его друг, старавшийся объяснить положение:

— Он не может успокоиться. Он плачет. Он очень чувствителен. Я говорю ему: забудь про Маджида. Это уже трудно поправить! Но он плачет, он говорит: это было начало колониализма. Ты говоришь, начало колониализма, но, послушай, он уже кончается. Нет, вы слышите, он говорит: все равно — это колониализм! Будь он проклят! Ничего, это пройдет. Он просто поэт, он слишком чувствителен. А сегодня так много говорили стихов и о стихах. А потом он выпил, ему не надо пить столько красного. Оно тяжелое!

Вдруг прислонившийся к пальме выпрямился и стал вглядываться в ожерелья огней, опоясывавшие улицы и дома, уходившие вверх и вниз от нашей площадки. Потом, повернувшись, как пляшущий дервиш, вокруг себя, он пошел, простерев руку вперед, как будто он нес знамя, и начал говорить хриплым голосом, глотая слезы:

— Бейрут — жемчужина Востока в медной оправе Запада. Он жемчужина в грязи, над которой гудит электричество. Коралл на берегу, где золото смешалось с песком, серебро — с илом...

— Это он из Амина Рейхани,— сказал молодой советский арабист.

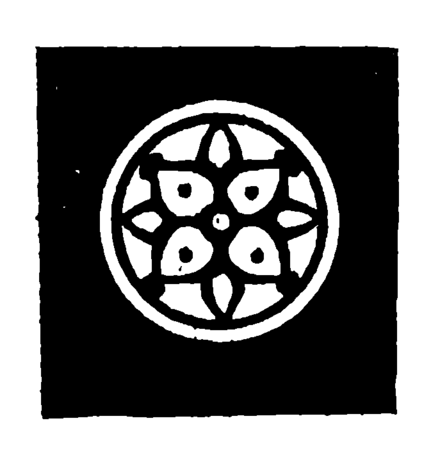
Но в это время два друга уже исчезли за поворотом. Сам не зная почему, я повторял слова Рейхани, смотря на ночной Бейрут, и мне все казалось сном.

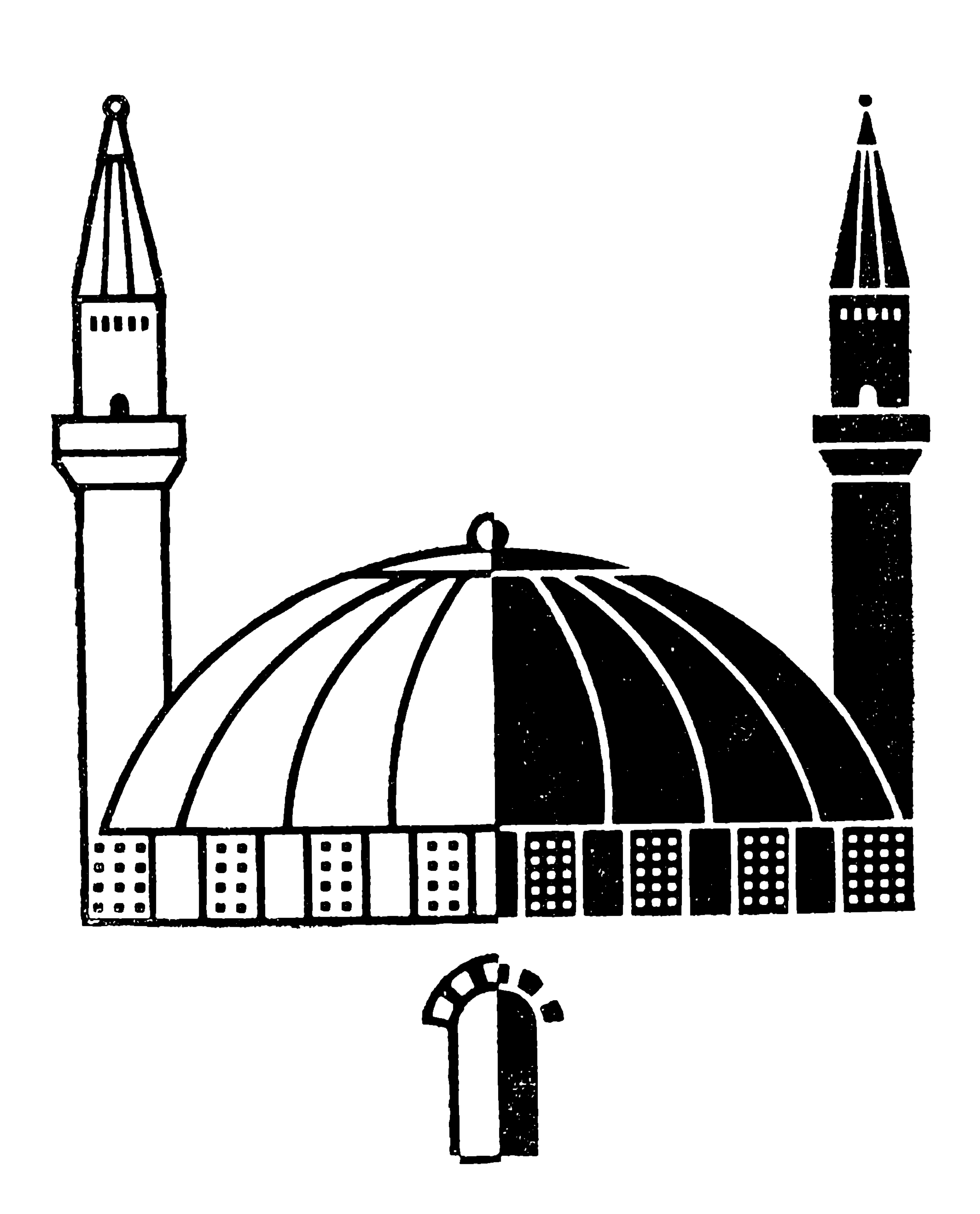
Как верно сказал Крачковский, мудрый шейх неумирающих слов, «Гантус из России», человек, которого здесь возвели в божественное достоинство во имя дружбы: «Не всегда ясны нам пути, по которым идет зарождение симпатии между людьми и народами».

Мне нравился этот город, этот поздний час, эти люди. Жизнь провела черту и соединила ночь на берегах Невы и ночь на берегах Средиземного моря в Бейруте. Может быть, для чего-то нужно было, чтобы стихотворение, написанное тридцать пять лет назад, нашло тех, кому было

адресовано, в такую же мартовскую ночь, в какую было написано.

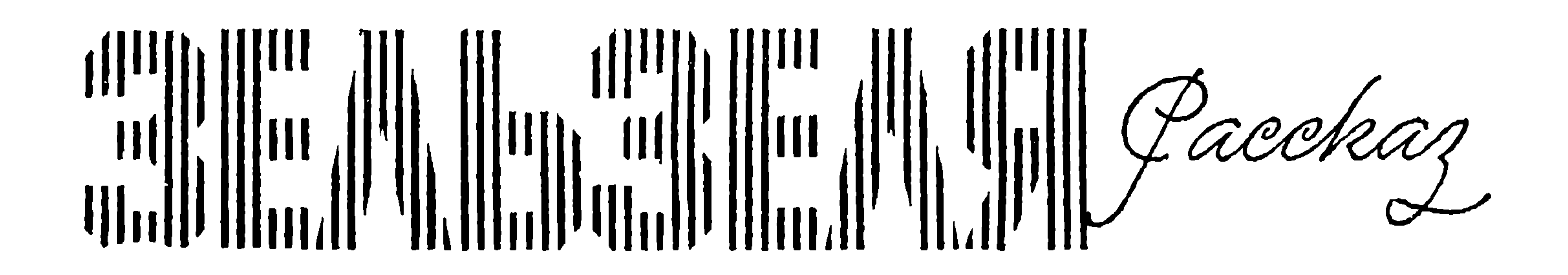
А может быть, этот сентиментальный поэт плакал сейчас настоящими слезами о том, что случилось четыреста пятьдесят с лишком лет тому назад на берегах Индии, когда действительно в роскошной колыбели, на награбленных шелках и алмазах, обильно забрызганных кровью, родилось чудовище колониализма, первым вестником которого был холодный, беспощадный, жадный до богатств и почестей, неповторимый Васко да Гама, обеспечивший себе бессмертие и проклятия великого лоцмана, четвертого льва моря, поэта и мудреца Маджида!





Звонкоголосая Сурия после задушевно спетых народных арабских песен начинает петь что-то очень знакомое. Фатих и Рафик выжидающе смотрят на меня. Но для советского человека нет никакого труда признать, что она поет «По долинам и по взгорьям». И затем, чуть передохнув, к моему удивлению,— «По военной дороге шел в грозе и в тревоге боевой восемнадцатый год». Ей подпевают и Фатих и Рафик. А потом все трое дружно грянули «Хороша страна моя родная».

Они пели так уверенно, с таким подъемом, что я мог только поражаться их музыкальности, и, когда они кончили, я спросил, кто делал перевод этих советских песен. Все сидевшие были студентами, все изучали русский язык, но говорил на нем свободно только Фатих. Они засмеялись, когда он перевел мой вопрос.



— Никакого переводчика нет,— пояснил Фатих.— Это только мотив советский, а слова арабские. Мы пели арабские песни, положенные на русскую музыку. Эти наши песни тоже о борьбе и свободе. Но мы поем и просто по-русски.

В комнате не было ни двухструнного ребаба, ни флейты, ни гитары, ни лютни — никакого музыкального инструмента. Сурия спела «Катюшу» так естественно, как будто девушка была местной и выходила на знакомый на берег Евфрата, и я выразил самое искреннее восхищение ее талантом.

— Она и танцует очень хорошо,— сказал Фатих.— Она участница, как говорят у вас, самодеятельности...

Сурия хороша чисто арабской красотой, глубокой, не бросающейся в глаза. Если бы ее сердечный друг Фатих был поэтом, он описал бы ее в самых изысканных стихах, где не забыл бы сравнить ее, как полагается по классическому образцу, и с газелью, и с пальмой, и с лилией. Но если оставить в стороне эти несомненно относящиеся к ней образы, то

ее нежные, смуглые щеки, крутые разлеты ее шелковых бровей, ее ласковые, спокойные, но с каким-то жарким отблеском глаза, сухо очерченные коралловые губы, корона черных волос, тонкая и гибкая фигура каким-то непонятным образом говорят и о ее законченной прелести, и о том, что в этом легком теле живет сильный характер и неукротимая воля, унаследованная от воинственных предков.

— Хватит петь,— говорит она и уходит.— Я сейчас сварю кофе.

Кофе! Грубо говоря, страны Востока можно разделить на кофейные и чайные. Резкая граница трудно определима, но, так же как в Афганистане решительно предпочитают чай, так в Сирии и Ливане нет жизни без кофе, без этого сладостного, бодрящего, горячего, пахнущего ванилью и кардамоном напитка. С утра до вечера здесь пьют кофе. И воду, чистую, прозрачную воду, которая так дорога в стране. Водой запивают кофе — это еще больше дает почувствовать густоту и пряность древнего арабского напитка. Нет дома, где бы вам не предложили чашку кофе, нет улицы, где бы не появился бродячий продавец со своими маленькими чашками, висящими на его поясе, и, когда Сурия приносит ароматный, дымящийся, бархатный кофе, я с удовольствием пью его мелкими глотками и не могу не рассказать друзьям, какой необыкновенный кофе я пил на днях у важного мусульманского духовного лица, у которого мы были с визитом.

Много интереснейших мест в Дамаске, но дом этого духовного деятеля своими особенностями напоминает уголок старой Альгамбры. Дворик выложен разноцветными плитками, посреди него — небольшой бассейн, фонтан с тонкими, высокими струйками, прозрачная сетка которых, как радуга, дрожит в жарком воздухе. Розовые кусты. Аркады. Он принял гостей не наверху, в официальном помещении, а внизу, в комнате, окна которой выходят на этот чудесный дворик и дают возможность любоваться игрой солнечных лучей.

Беседа была спокойной, дружественной. Слуга, весь в белом, принес на подносе совсем малюсенькие кофейные чашечки и поставил перед каждым. Беседа длилась. Человек в белом больше не приходил. Я заглянул сбоку в свою игрушечную чашечку — она была пуста. Неужели он забыл принести кофе? Как вежливый гость, я не выразил удивления. Потом я увидел, что гости-арабы и хозяин подносят эти чашечки к губам и, по-моему, делают вид, что пьют что-то из

пустой чашечки. Так поступали все по кругу, и я не мог не взять в руки свою чашечку. Я увидел, что на самом дне есть какой-то темно-коричневый ободок. Такой ободок остается в чашке после выпитого кофе. Но, однако, надо было попробовать, что представляет этот темно-коричневый поясок. Я слизнул его с маху и почувствовал во рту неслыханную горечь, как будто я проглотил добрую порцию чем-то сдобренной хины. Горечь наполнила мой рот, но скоро пропала. А через какой-то короткий промежуток времени со мной стало происходить что-то необыкновенное. Я вдруг почувствовал себя свежим, бодрым, легким. Дышалось даже как-то по-другому. Я испытывал необычайный прилив энергии. Как будто я провел отпуск в горах и у моря и вернулся совершенно освеженным. Несомненно, это сделал темно-коричневый ободок... Я не удержался, чтобы при прощании не спросить, что за кофе мы сейчас пили.

— Это был лучший геджасский кофе,— с гордостью ответили мне.

— А почему его было так мало, почему его не дают полную чашечку?

Тут отвечавший серьезно посмотрел на меня и сказал, чуть улыбнувшись:

— Если бы вы выпили этого кофе целую чашечку, вы бы умерли!

Вот, оказывается, какие бывают сорта кофе!

Сурия налила мне с краями новую чашечку кофе.

— Мой кофе безопасный, можете пить его сколько угодно полными чашечками, он не смертельный.

Рафик, шутник и острослов, сказал, смотря на Сурию:

— У нас в Сирии не только кофе, у нас есть много разного смертельного; поэты уверяют, что, например, красота тоже смертельна. К счастью, Сурия милостива и нас не убивает. В старину красавицы посылали своих избранников совершать какие-нибудь смертельные подвиги, чтобы убедиться в их доблести. Пожалуйста, милая Сурия, не посылай никуда в дальние края нашего Фатиха, пусть он, если надо, совершит подвиг где-нибудь неподалеку и поскорей, поскольку я горю нетерпением погулять на вашей свадьбе... Совершай скорей подвиг, дорогой Фатих!

— А какой подвиг можно совершить в наше время в Дамаске? — сказала, посмеиваясь, Сурия.— Фатих не летчик, не спортсмен, не ученый-физик. Он бедный студент, как все

мы. Он уже делал кое-что любопытное, но это его тайна. И я его не выдам...

— Хорошо! Я остановлю автомобиль на ходу, если он захочет наскочить на тебя, когда ты будешь переходить улицу Победы,— сказал Фатих.— Мы недавно,— он почему-то подмигнул мне,— совершили ряд подвигов, — помните, что с нами было?

— Подвиги, которые мы совершили с вами? Что-то не припомню таких!

— Ну как же, мы ехали ночью по пустыне в Хомс и потеряли дорогу. Кружились, кружились, то принимали фонари машин за огни деревень, а эти деревни убегали перед нами вдаль, то заезжали в поля и блуждали по канавам, то ехали вместо севера на юг, пока не оказались перед колючей проволокой и рвами, и, как ни старались их объехать, еще больше путались в проволоке, и тогда увидели мостик и на нем — кого бы вы думали? — империалистов. Куда же мы заехали? А заехали мы в нефтяной городок, на нефтеперекачивающую станцию при нефтепроводе. Англичане подумали, что мы хотим взорвать их нефтепровод, и очень насторожились. Вышли вооруженные и стали спрашивать: чего мы все время тут крутимся? Мы сказали, что заблудились и ищем дорогу на Хомс. Они поверили (видят, все арабы) и разрешили нам проехать через их тщательно охраняемую станцию как ни в чем не бывало. Если бы они знали, кто проехал: красные из Москвы!..

— Это не подвиг,— сказал разочарованно Рафик.— Давай что-нибудь другое...

— А вот тебе тогда еще: мы промчались четыреста километров в одну ночь по трудной дороге, когда махнули из Халеба в Дамаск без остановки.

— Это не подвиг! — сказал, отрицательно махая рукой, Рафик.— Просто хорошая машина и хороший шофер!

— Что значит хороший шофер! — вскричал Фатих, делая вид, что он рассердился.— Ты же не знаешь, на каких условиях взялся наш водитель за то, чтобы доставить нас в Дамаск в одну ночь...

— Что же, это были какие-то особые условия?

— Не особые, а ужаснейшие, невероятные. Он сказал, что он устал за день и обязательно уснет за рулем и за последствия отвечать не будет, так как все мы вместе перевернемся на каком-нибудь повороте или загремим с ходу в ущелье. Поэтому пусть ему всю ночь рассказывают какие-

нибудь веселые истории, чтобы он не заснул, а приходил от них в хорошее настроение, чтобы они вызывали у него смех и бодрость и чтобы сон бежал от его глаз.

— Машаллах! И вы согласились быть целую ночь Шехеразадами?

— Мы согласились. И рассказывали ему такие истории, что он не то что дремал, он чуть не бросал руль, хохоча как безумный, и пытался кататься от смеха в машине. И так было всю ночь, а на рассвете нас, бешено мчавшихся, задержал военный патруль, сделавший засаду на контрабандистов и принявший нас за бандитов.

— Это не подвиг,— тут уже вмешался я.— Действительно, мы с Фатихом рассказывали истории всю ночь. То я рассказывал, то Фатих, к тому же он все переводил нашему другу-шоферу, это было, конечно, трудно и утомительно, но все же это не подвиг. Я думаю, что у такого города, как Дамаск, есть свои особенности и мы еще услышим о подвиге Фатиха. Он молод и прекрасен, как и полагается в его годы... Знаете ли, что та ночь, когда мы ехали, вернее, мчались, как джинны, из Халеба в Дамаск, была обворожительна. Луна светила так, что видно было каждую складочку в горах, каждую травинку. Просто грешно было спать в такую ночь. Сегодня, видимо, будет хорошая погода. А что, если нам скоротать сегодняшний свободный вечер как-нибудь необычно? Пойдемте все вместе в какой-нибудь театр?

— У нас нет театров,— сказал печально Фатих.

— Как нет театров? Ни одного? Почему?

— Театры не получили развития, так как театральные представления запрещались религией...

— Но у вас же есть, я слышал, артисты?

— Артисты есть. Они играют в Египте, в кино. Там они снимаются в боевых фильмах с большим успехом. Посмотрим, что идет сегодня.— Просмотрев в газете объявления кинотеатров, он сказал: — О, рядом с нами как раз то, что нам нужно. Идет египетский фильм «История моей любви». Лучшие наши артисты играют в нем — Иман и Фарид аль Атраш. Я сейчас позвоню друзьям, и мы пойдем. Время еще есть...

Через полчаса мы вышли целой компанией на улицу, в вечерний Дамаск.

О Дамаск, весенний, зеленый и розовый! Ты сменил много своих обликов за долгие века своего земного существования. Ты можешь похвалиться и воротами, где совершилось

чудо, когда язычник Савл превратился в христианина Павла, и мечетью Омейядов, где во внутренней часовне, оставшейся в наследство исламу, хранится голова Иоанна Крестителя, и гробницей своего великого героя, Салах ад-Дина, и дворцом Кастр аль Казм, и многими другими историческими памятниками, вплоть до улицы Победы в честь новой, свободной Сирии.

Но, пережив многие трагедии и катастрофы, ты остаешься городом, где в садах, когда приходит весна, буйствуют облака цветущих персиковых и абрикосовых деревьев, старых и молодых яблонь, где буйствует молодежь, где на улицах смешиваются одежды старой Сирии и самой модной современности, где гудят машины и звенят колокольчики верблюдов и ишаков, где сияние электрических огней струится из зеркальных витрин и где при свечке искусники сидят над инкрустацией из перламутра, где на пышных улицах центра и в глинобитных домиках окраин идет своя жизнь.

Хорошо погрузиться в твои вечерние улицы, пройтись в этой пестрой толпе, где слышатся голоса всех возрастов, где так ярки взгляды молодых арабских девушек из-под прозрачной вуали, а то и просто без всякой вуали, так заманчивы огни кафе, что хочется сесть и сыграть партию в нарды с незнакомым дамаскинцем или взять наргиле, затянуться и сидеть, вглядываясь в небо, зеленовато-синее, в котором блестят все созвездия тысячи и одной ночи неожиданностей.

Дамаск — когда-то город ученых-богословов и воинственных всадников под зеленым знаменем — сегодня не боится закованных в броню людей, идущих с криками и звонами по улицам. Это только продавцы кофе и прохладительных напитков, уличные философы, сверкающие металлом водяного бака за спиной, сияющие металлическими кругами на груди и блестящей вереницей стаканов и чашечек, укрепленных на тяжелом поясе.

Сколько молодых людей в светлых рубашках и легких пиджаках, сколько девушек в шерстяных вязаных затейливых кофточках, в темных, скромных юбках направляются в этот час в кинотеатры, чтобы в прохладе больших залов погрузиться в переживания всех человеческих страстей, собранных со всего мира, которые пробегут перед ними на таинственном всевидящем экране!

Такие же человеческие страсти кипят в твоем городском волшебном котле, Дамаск! Ты живешь сложно, как малень-

кий Париж, и, может быть, очень сложно, но каждый попадающий в твои гостеприимные пределы не может не проникнуться твоей всегда новой прелестью, не может не оценить твоей жажды жизни, твоего влечения к современности, твоей преданности свободе!

И я жадно смотрел по сторонам, и меня очень занимали и люди, и дома, и разные красивые арабские вывески, затейливые изгибы арабских арабесок, бегущие по карнизам и по стенам. Мне переводил Фатих иные надписи и объявления. Злоязычный Рафик тут же со смехом делился с Фатихом каким-то анекдотом, отчего не мог сдержать смеха и серьезный Фатих. Шепотом он говорит мне, что сейчас Рафик рассказал ему, что случилось с одним иностранцем, который увидел на пустой стене на улице Сальхи, около стоянки машин, длинную, красиво нарисованную надпись. Он сказал: «Я тоже начинаю понимать немного по-арабски. Правда, здесь написано: разрешается стоянка машин?» Дружный хохот был ему ответом. Там было написано: «Последняя собака из собак тот, кто будет мочиться у этой стены!»

— Я не знал, что Рафик такой злой,— сказал я, погрозив ему.

— Нет,— ответил Фатих,— он говорит, что он не злой, а любит посмеяться, когда смешно. Он говорит еще, что теперь мы увидим подвиг Фатиха, потому что достать билеты для всей компании на фильм «История моей любви» не так просто.

Нас всего шесть человек, подошли еще друзья, и все-таки Фатих достал билеты, и мы вошли в такой кинотеатр, который мог быть украшением любого большого города на любом континенте.

Мы взяли билеты на балкон и вместе с густым потоком зрителей начали пробираться к своим местам. Мы поднялись по неширокой, но высокой лестнице и через узкую дверь прошли на балкон, повисший над нижним залом так высоко, что мы, сидевшие не в первом ряду, совершенно не видели тех, кто сидел под нами, ничего не видели перед собой, кроме большого серебристого экрана.

Свет погас. На экране качались лодки с косыми парусами. Ветер шевелил взлохмаченные кроны пальм, прямо из воды уходивших к бледному небу. Был разлив Нила. Нильские волны заливали низкие берега. Девушка из богатой семьи полулежала в томлении на широком диване и, страшно переживая, слушала голос выступавшего по радио знаменитого

певца, в которого она влюбилась всем своим молодым сердцем. Певец был действительно знаменит. Это был популярный в арабских странах сирийский певец Фарид аль Атраш. Артистка Иман, по фильму — Амира, очарованная пением, с каждым днем все больше влюблялась в певца. Дальше шли их переживания, выраженные в песнях и длинных ариях, каждая из которых занимала не менее десяти минут. Их звучные голоса победно звенели под высоким потолком кинотеатра. Зрители переживали и аплодировали и даже восторженно кричали. Фильм постепенно превращался в оперу. И хотя по Нилу плыли разноцветные яхты и показывались роскошные сады и виллы, главное было в пении, и рассказ о любви плыл на музыкальных волнах вверх по великой реке, так как действие переносилось из садов на реку, на яхту, и арии делались все длиннее. Я спросил Фатиха, сидевшего рядом, являются ли такие длинные арии особенностью выступающих артистов, на что он тихо ответил, что это особенность арабских певцов вообще и что я не слышал знаменитой Ум Кульсум, которая поет каждую песню почти целый час, и это очень нравится зрителям, потому что свидетельствует о силе голоса и таланта певицы. На экране сейчас поют еще коротко...

После этого разъяснения я погрузился как бы в поток мелодий, и этот поток нес меня какое-то время, качая и убаюкивая, через множество сцен, в которых любовь вырастала и двигалась к высшей точке, но в это время кто-то, необычайно сильный, начал трясти мой стул, взявшись за его спинку, и трясти с большой энергией.

«Хулиганство,— подумал я, но решил пока никак не отвечать.— Провокация!» Я даже не обернулся, ожидая, что будет дальше.

Тряска прекратилась так же внезапно, как началась, и несколько минут все было тихо. Затем точно невидимый и злобный великан встал сбоку в проходе и, взявшись за длинную палку, которая была продернута под всеми стульями нашего ряда, одним движением приподнял весь ряд и начал наклонять его налево.

Не успел я вскочить, как весь ряд поехал стремительно куда-то вниз и в сторону, и мы все повалились друг на друга.

Экран закачался, как будто стал парусом, виллы и яхты на нем сразу побледнели, потом исчезли совсем. Вместо них по экрану заходили желтые и зеленые полосы, ставшие кругами, вертевшимися все сильнее. Экран стал бледно-радуж-

ным и вдруг потух. Остались какие-то бродячие желтые и зеленые спирали.

Самое странное, что стоял какой-то полусвет, в котором все происходившее казалось нереальным. Под нами в нижнем зале вырастал большой глухой шум, неясный гул шел по всему зданию. Наши стулья вернулись на свое место. Мы глядели друг на друга в полном молчании. Но внизу под нами уже бушевала буря голосов. И у нас на балконе народ вскочил и побежал, спотыкаясь, наталкиваясь на стулья, к выходной двери. Она была маленькая, и там, внизу, образовалась толпа. Там возились, толкались, крича и охая, каждый хотел первым выбраться на лестницу.

И тут весь огромный кинотеатр поднялся, как корабль на большой волне, и начал клониться влево. Было полное ощущение, что мы в бурном море и попали в качку. Поражала легкость, с какой вздымалось такое тяжелое здание. Волна прошла, и кинотеатр медленно и плавно вернулся на свое место. Следующая волна приподняла его вверх, и он поднялся покорно вверх и снова опустился. Тут внизу закричали так, что крик был как будто рядом с нами. В ответ закричали и те, что барахтались у двери на нашем балконе. Кричали какое-то слово, которое сначала звучало как-то бесформенно. Потом уже можно было разобрать: кричали и внизу и вверху только одно — «Зельзеля! Зельзеля!».

Я еще почему-то в первое мгновение подумал, не знаю почему, что произошла драка и какому-то Зельзеля пришел конец. Это было глупо, но я так подумал. Я наклонился к Фатиху и спросил, что значит «зельзеля».

— Зельзеля — это землетрясение! — отвечал он. Его глаза блестели, но он сохранял, как и все мы, спокойствие. Только следил, как топталась толпа у двери. Мы все смотрели друг на друга, молча спрашивали: что будем делать?

Землетрясение! Значит, сейчас этот громадный свод расколется, дом последний раз плавно пойдет налево, свод упадет и накроет нас всех. Погибнуть в Дамаске, в кинотеатре, не досмотрев, чем кончится фильм «История моей любви»,— ничего нельзя было придумать нелепей.

В голову почему-то пришла история про рукопись одного шейха, хранящуюся у нас в Ленинграде, о которой мне рассказывали в свое время. Этот шейх остался в живых один из всего своего большого рода, потому что все погибли в одночасье, когда в Сирии землетрясением было разрушено сразу

тридцать пять городов и замков. Но это было, кажется, в двенадцатом веке, а у нас все же двадцатый. Ну и что из этого?

Толчки продолжались. Паника уже свирепствовала внизу, и сейчас она охватит наш балкон. Чего еще ждать? Как будто сейчас конец! И все!

И тут Фатих, наш несравненный, храбрый Фатих поднялся во весь рост, взбежал как можно выше по проходу и закричал туда, к будке, откуда еще так недавно тянулись лучи, оживляющие экран:

— Чего ждешь! Эй, там, в будке! Продолжай! Давай ленту! Крути фильм! Живей! Давай «Историю моей любви»! Давай!

Его голос как будто вывел окружающих из оцепенения. Со всех сторон подымались молодые люди и кричали:

— Эй, там, в будке, заснули! Давай фильм! Гони ленту! Давай! Давай!

Кинотеатр трясли толчки, от которых наши стулья ездили и содрогались, и казалось, что вот-вот воцарится полный хаос, как вдруг на экране что-то мелькнуло, засветилось, ожили зеленые и желтые круги, экран посветлел, и мы услышали голос Амиры — Иман, и он показался нам просто божественным.

А когда в ответ ей пронесся могучий плеск песни Фарида, остановились даже стоявшие у выхода, и кое-кто начал садиться на ближайшие места.

Фильм набирал утраченную скорость. И скоро мы увидели, как бегут моторные лодки, как рыбаки вытаскивают из Нила сети, как гоняют мячи на кортах роскошных вилл игроки в теннис, как красотка говорит, смеясь, по телефону и ее серьги полумесяцем так живо блестят и подпрыгивают. «История моей любви» шла, кажется, к счастливому концу.

Правда, ошеломленные дополнительными переживаниями, мы, вероятно, не смогли бы связно рассказать, как развивалось действие фильма, но то, что мы увидим его конец, было уже ясно. Фильм кончился замечательным дуэтом на десятой минуте, мы ждали такого же десятиминутного заключительного поцелуя, его не было.

Мы поднялись со своих мест, удивляясь, что стулья неподвижны и дом не шатает. Мы прошли по лестнице, как будто с нами не было ничего особенного. А что, если мы выйдем из кинотеатра и увидим, что благословенный Дамаск лежит в развалинах? Каждый думал свое.

Мы вышли на улицу, сами не веря, что опасность мино-

вала, что дома над тихо журчащей великой рекой Барадой целы, огни горят на улицах и в окнах, машины идут, люди стоят на остановке автобуса, регулировщики взмахивают белыми рукавами своих мундиров.

Но жители Дамаска не очень верили в то, что угроза прошла совсем. Многие выносили постели, ковры, подушки и всей семьей приготовлялись ночевать на траве, в скверах и в садах. Все вокруг говорили о землетрясении. Уже сообщали, где что обрушилось, где какие трещины появились в домах. Мы шли, оживленно делясь впечатлениями.

И здесь Рафик сказал без своей обычной иронии:

— Свидетельствую, что сегодня наш дорогой Фатих всетаки совершил подвиг!

— Фатих! Где, когда? Что такое? Какой подвиг?

— Паника вот-вот уже готова была вспыхнуть, и тогда нам никому бы несдобровать. А как он закричал: «Давай фильм! Гони, давай живей!» — все за ним подхватили. Точно он поднял знамя и всех повел на приступ! Конечно, оговорюсь, он совершил этот подвиг только ради прекрасной нашей сестренки Сурии. Конечно, уж никак не ради нас. Благодаря ему мы, слава аллаху, узнали, чем кончилась история любви, не правда ли...

Теперь он уже снова смеялся, и Сурия засмеялась ему в ответ:

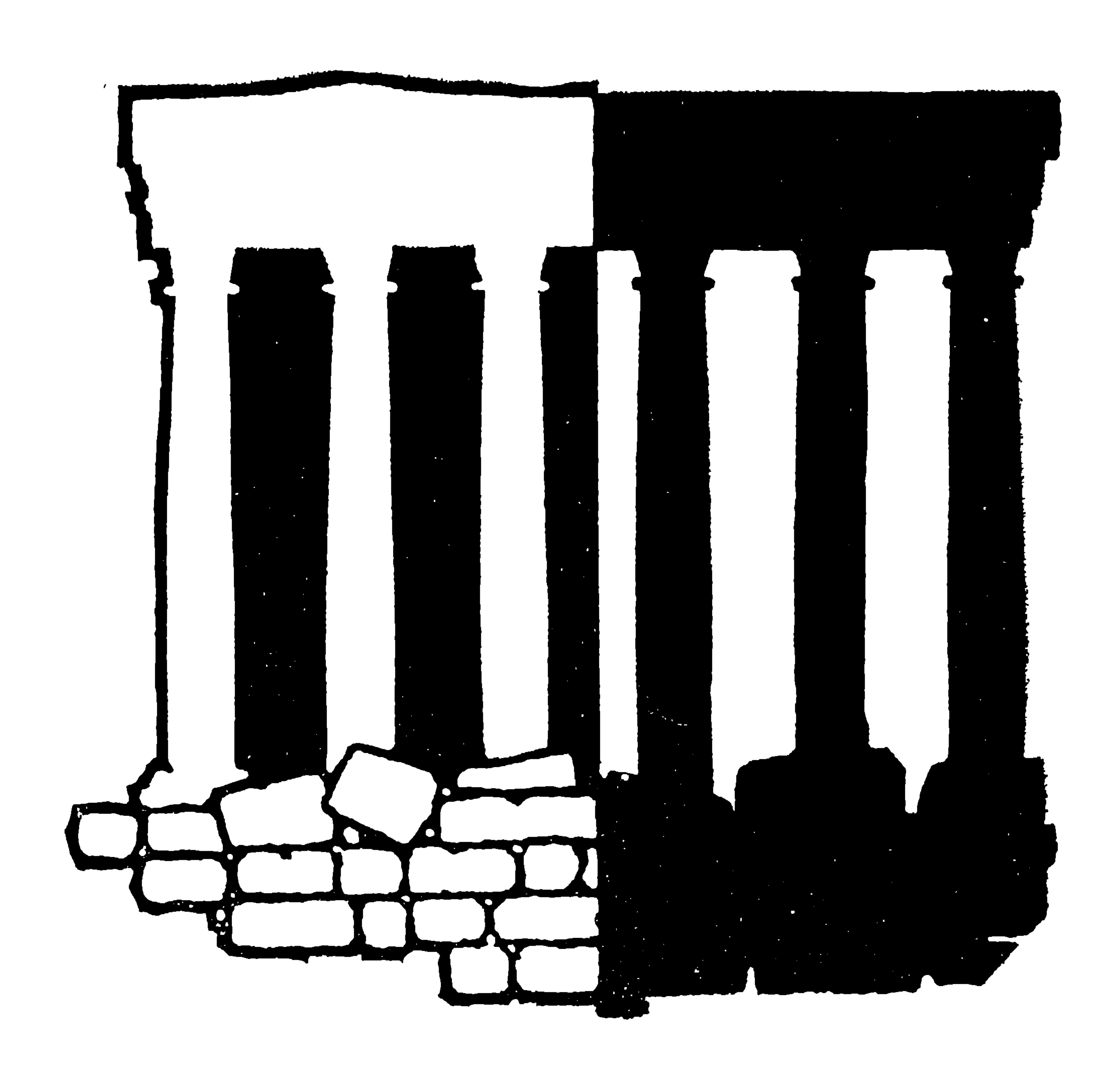
— Совсем не так, Рафик. Фатих — эгоист, он просто хотел досмотреть фильм, узнать, будут ли счастливы или нет Иман и Фарид аль Атраш!

— Но он хотел досмотреть вместе с тобой! — воскликнул неугомонный Рафик.— Молодец Фатих! За такого молодца стоит, видит аллах, выйти замуж. Настоящий комсомолец, а! Подумай, милая!

— Я, может быть, уже подумала,— ответила тихо Сурия, но тут ее перебил Сабри, скептик и журналист, который не мог признаться, что от него, журналиста, украли сенсацию: нет никаких серьезных разрушений. Поэтому он пренебрежительно сказал:

— Стоит вообще обращать внимание на это землетрясение. Подумаешь, тряхнуло...

Но он был неправ, этот Сабри! Если Дамаск только потрясло до основания, то в соседнем Ливане в этот час рухнуло шесть тысяч домов и шестьдесят тысяч людей остались без крова. А сколько вытащили из развалин убитых и раненых!

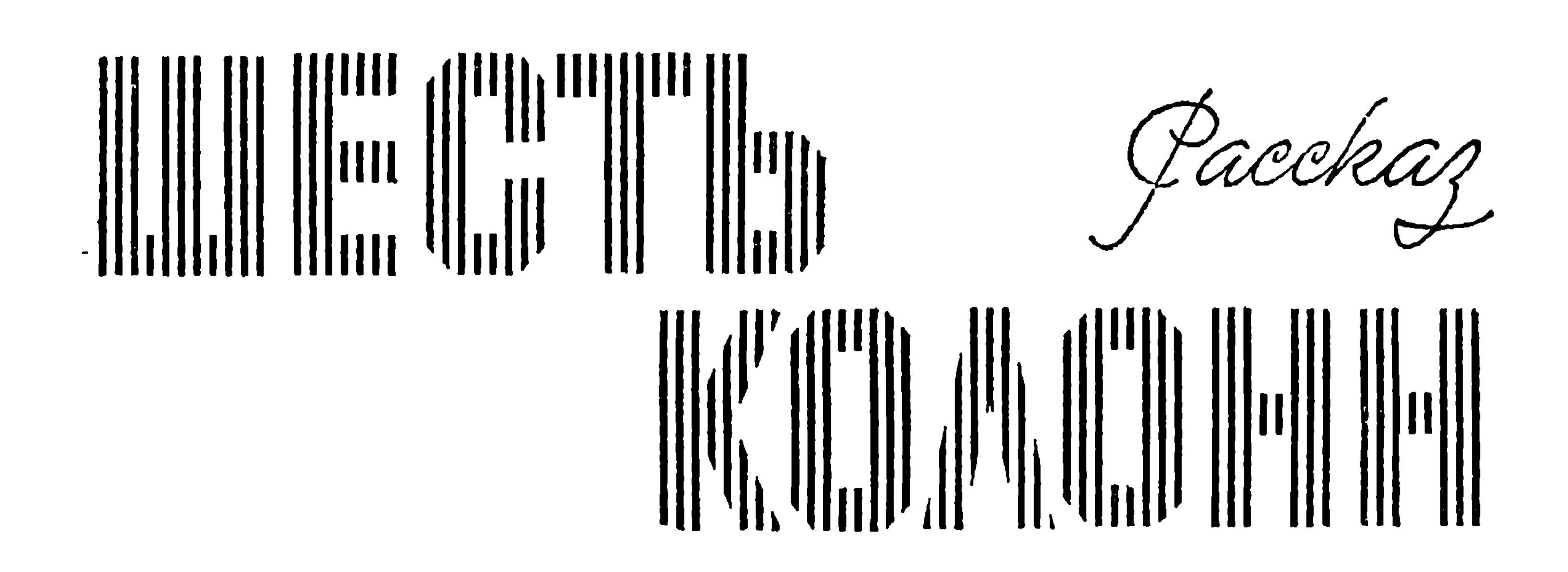


Выбрав удачное место, где были тень и прохлада, Арсений Георгиевич Латов устроился поудобнее и раскрыл свой легкий желтый этюдник.

Но прежде чем начать работу, он еще раз внимательно осмотрелся. Перед ним раскинулись развалины Баальбека, храмы древнего Гелиополиса — города Солнца.

До того как он увидел около маленького ливанского города эти великолепные развалины храмов, основание которых уходит в мифическую тьму — к Ваалу, к финикиянам и дальше,— он не имел о них никакого представления.

Потрясенный великими руинами, он бродил в них все утро, спотыкаясь о разбросанные всюду обломки. Он жалел, что с ним нет его спутников, археологов, которые предпочли



раскопки таинственного Угарита Гелиополису и уехали на север, а он остался, чтобы увидеть как следует Баальбек, и он его увидел.

В мягком свете весеннего солнечного утра Баальбек тонул в холодной свежести темно-зеленых садов, тополевых и ореховых рощ. Над ними — белесая, необъятная высь облаков, в прорывы которых, как густо-синее море, проступало небо.

Латов поднимался по непривычно узким ступеням храма Бахуса. Его ошеломил вид на окрестности, который открылся неожиданно из-под арки входа. Он долго стоял у боковой стены перед безумной колонной, сдвинутой и поднятой со своего основания и не упавшей, а прислонившейся к стене и так пребывавшей много веков в позе несдающегося бойца, покрытого глубокими ранами и шрамами, над поверженными и разбитыми своими собратьями.

Латов не мог не залюбоваться непередаваемой живопис-

ностью, мудрой легкостью маленького храма Венеры, стоящего несколько в стороне. Отсюда можно было видеть вдалеке хорошо различимые колонны-великаны великого храма.

Сейчас они возносились прямо перед Латовым — шесть знаменитых, всемирно известных, неповторимых колонн, высочайших в мире,— все, что осталось от некогда славного храма Юпитера, храма Солнца. Были они светло-коричневого цвета с золотистым оттенком, и не было ничего вокруг, что могло бы сравняться с ними по силе, по чистоте отделки, по богатству фриза и архитрава.

Латов, рисуя их, работал с особой радостью, с непонятной ему самому приподнятостью.

Переполненный впечатлениями, он уже сделал много набросков в своем дорожном альбоме. Он зарисовал и кусок оторвавшегося карниза, слетевшего вниз с двадцатиметровой высоты, увенчанного львиной головой с широко раскрытой пастью, с такими глубоко посаженными огромными глазами, которые, казалось, закрылись совсем недавно, с ушами могучего зверя, настороженными, слушающими тишину. Каменная грива тугими переплетениями как будто свалявшихся в тяжелые жгуты волос покоилась на удивительных каменных цветах.

Латов навсегда запомнил, как он пропустил свою руку сквозь сплетения гранитных водяных лилий, закрыл глаза. Пальцы его скользнули по влажному холодному стеблю и нашли цветок. Он был на ощупь как живой. Ему захотелось кричать от восторга. В другом месте он видел длинную мраморную лозу и с нежностью погладил виноградные листья, непонятно тонкие и теплые от солнца.

В повиснувших над входом в храм Бахуса глыбах горели жаркими вспышками остатки фресок.

Шесть колонн стояли последними часовыми на страже исчезнувшего мира. Они были непостижимы, как и та ни на что не похожая тысячетонная глыба, которая лежала недалеко в каменоломне, брошенная неизвестно почему мастерами, которые не успели превратить ее в колонну, не имеющую себе равных в мире, или в новую террасу, наподобие тех, на которых покоился храм Солнца.

Гиганты удручающих размеров, шесть колонн помнили неслыханные времена.

А сейчас за этими великанами прошлого видны были Латову пирамидальные тополя, старые ореховые деревья, высо-

кие сухие кипарисы, дальние поля и в дымке утреннего тумана сиреневые холмы и предгорья, а над ними фиолетово-синие горы, увенчанные густо-белыми снегами, еще не начавшими таять.

Было их, колонн великого храма Юпитера, пятьдесят четыре, а теперь остались эти шесть. И, как ни странно, от этих поврежденных, выщербленных колонн, от коринфских каменных завитков, от львиных, сильно выдвинутых, напряженных тел, как бы стремящихся покинуть фриз, от кусков фресок, сияющих искрящимся пурпуром и глазурью, от гигантских платформ, неизвестно какой силой, хитростью или колдовством, поставленных одна на другую,— от всего этого места разорения и величия веяло каким-то духом здоровья, и печаль мира казалась тут одухотворенной до предела.

Вместе с тем возникало необъяснимое волнение. То ли красота эта была полна светлого непонятного очарования, красота, разбитая и обезображенная людьми и временем; то ли все это жило и сегодня своей особой жизнью, пронеся через тысячелетия какую-то властную силу, вызывающую удивление. Древние мастера создали искусство вечное, как природа, вечное в своей неистребимости, говорящее каждым куском о великой цельности мира, уводящее от всего низменного и мелкого, тщедушного, маленького.

Латов, человек уже средних лет, большой, нескладный, широкоплечий, с легкой ранней лысиной, с голубыми глазами простодушного россиянина, честный работяга, талантливый график, умеющий изобразить и новый городской пейзаж, и пеструю старину московских переулков, и поля, по которым шагают, как марсиане, мачты бесконечной высоковольтной сети,— все то, что стало давно привычным, никогда не думал о поездке в далекие края Востока.

Ему предложили присоединиться к группе археологов в порядке творческой поездки, и он дал согласие. И вот теперь, после краткого пребывания в соседней Сирии, он сидел и рисовал шесть колонн Баальбека, и ему было даже странно, что он никогда не подозревал об их существовании. А теперь, когда он увидел могучие создания глубокой древности, он хотел представить себе мастеров, что трудились здесь каждый день, с утра до вечера, годами, представить, как под их руками оживали каменные глыбы, как они радовались своим творениям, как они таким же весенним утром сидели перед

созданными их гением колоннадами, перед которыми бледнели храмы Рима и Афин,— но воображение останавливалось. Представить это было невозможно.

Он вспомнил, что раз страстно влюбленного в высочайшие горы Рериха спросили: «Что значит ваше тяготение к Гималаям?» И он ответил: «Это — тяготение к величию, которое питает дух!» Так бы ответил и Латов, если бы его спросили, почему он так увлекся этими шестью колоннами. Это было такое же тяготение к величию, которое питает дух.

Колонны принадлежали к миру высокой мощи творчества, посягнувшего на власть такого тирана, как время. И они победили время, безжалостное и безумное в своем разрушении всего живущего.

И снова великое искусство, прорвавшись через века, предстало перед людьми, чтобы поразить их и обрадовать...

Так думал, работая в одиночестве, Латов. Он радовался тому, что никто ему не мешает, что ему выпал в жизни хороший, светлый, удаленный от всякой суеты день.

Маленькие, узкие, черноглазые ящерицы, как зеленые струйки, мелькали по камням или, притаясь, лежали, сливаясь с язычками травы, между расселин и трещин.

Но вдруг Латов нечаянно обернулся и увидел, что почти рядом, чуть выше его, на морщинистом желтом камне стоит человек, совершенно незнакомый. Сколько он так стоит? Почему подошел так неслышно? Кто он?

У него была большая голова, пухлое, загорелое лицо, тяжелый нос с едва заметной горбинкой, широкий, с двумя поперечными морщинами лоб, резкие складки у рта. Глаза были прикрыты круглыми, темными очками. На голове черный берет.

Одет он был с подчеркнутой франтоватостью — в широкий черный костюм, такой же важный, как и его хозяин. Трехцветный галстук, широкий и блестящий, как ручеек, стекал из-под высокого крахмального белоснежного воротника. Булавка с синим камнем сияла в многоцветии галстука.

Незнакомец как будто подчеркивал всем своим видом, что он персона очень значительная и официальная, что иначе одеться он не мог. Он стоял среди руин, как человек, попавший сюда по ошибке или из очень особых соображений.

У него было лицо не то актера, не то министра. Он был чисто выбрит, и Латову даже показалось, что от него пахнет тонкими, терпкими духами.

Заметив, что художник бросил работу и разглядывает его,

человек в черном спокойно слез с камня и, почти отвернувшись, показав этим, что он и не намерен вступать в разговор, боком обойдя художника, начал спускаться в так называемый главный двор бывшего храма Солнца.

С этой минуты Латов невольно следил за тем, куда направлял свои шаги неожиданный и чем-то неприятный незнакомец. Он видел, как тот прошел через двор храма и, поднявшись по лестнице, остановился около каких-то машин, прикрытых чехлами, перед группой людей в рабочих комбинезонах.

В руинах, в тишине солнечного тихого дня бродили уже редкие группы туристов, и до слуха Латова иногда доносилась громкая фраза гида, быстрая и резкая.

Латов снова принялся за работу. Время от времени он смотрел на незнакомца, на бродивших внизу людей, но, в сущности, они были ему совершенно не нужны. Он перестал обращать на них внимание.

И тут его окликнули:

— Добрый день, Арсений Георгиевич! Как работается?

Это уже был свой человек — сотрудник нашего посольства в Бейруте, Андрей Михайлович Куликов, человек многоопытный, много видевший на своем веку. С ним Латову было легко и свободно. Его можно было обо всем спрашивать. Он охотно отвечал, а рассказы его были и занимательны и поучительны. Когда археологи собирались в Угарит, к берегу моря — смотреть новые необыкновенные раскопки, он посоветовал Латову съездить в Баальбек. Выбрав свободный день, Куликов посадил Латова в свою «Победу», и они отправились в Баальбек. Но за сборами и делами они задержались, выехали поздно и приехали уже совсем вечером, так что в темноте Латов ничего не мог разглядеть. Зато уж с самого утра он вволю побродил среди развалин.

— Добро! — сказал Куликов, посмотрев на сделанный Латовым рисунок.— Место тут увлекательное.— Он сел рядом.— Вы ведь один из первых советских художников, рисующих Баальбек с натуры. Можете гордиться. Тут затевается вообще большое дело. В прошлом году, вот видите, расчистили площадку на месте храмового двора, перед храмом Солнца. В то же прошлое лето англичане ставили здесь шекспировский спектакль, а французы в нынешнем году хотят показать выступление парижской театральной труппы. И если ливанцы рекламу большую сделают — они мастера на рекламу,— конечно, туристы со всего света поедут. Внизу, в

Бейруте, жарко, а здесь летом прохладно, и к тому же новое развлечение. Ливанцы хотят свой национальный ансамбль организовать, самого Моисеева выписать, чтобы он помог образовать из их самодеятельности что-то подходящее. Арабские народные танцоры лихие, девушки красивые, танцуют замечательно. Может выйти ансамбль. В прошлом году спектакль приурочили к полнолунию. А в лунную ночь Баальбек — загляденье. Ну, и деньги государству пригодятся. Наставят стульев вон там, у площадки, и чем не театр! Я уверен, что привьется — будут ездить. Сейчас не сезон: ранняя весна, холодно еще, тут ведь вообще высоко, как у нас где-нибудь на Кавказе, свыше тысячи метров. Хотя в это время в прошлом году здесь снимали фильм «Хозяйка ливанского замка» по роману Бенуа. А теперь тоже тут съемки — вот посмотрите.— Куликов показал на человека в черном, который только недавно был рядом с Латовым. Теперь он стоял в окружении многих людей и что-то им говорил, показывая на шесть колонн.

Латов сказал Куликову:

— Вот этот, в черном костюме, подошел ко мне так неслышно, что я даже не заметил. Не знаю, сколько он стоял и смотрел, как я рисую, но, когда я оглянулся, он ни слова не сказал и ушел туда, вниз. Кто это?

— Это продюсер. Вам, конечно, известно, кто такой продюсер?

— Ну, это человек, который, грубо говоря, дает деньги на постановку фильма?

— Да, это так. Но бывает, что иные из продюсеров сами артисты. Они разбогатели на поставленных ими фильмах. Хорошо! Но этот, я бы сказал, артист другого рода. Зовут его Моссар. Происхождение туманное. Приехал посмотреть, как снимаются сцены для фильма, который он субсидирует. Да вы продолжайте, работайте, а я тут посижу и могу о нем рассказать кое-что, если вам это интересно.

— Пожалуйста, говорите, конечно интересно! Моей работе это никак не помешает.

— Так вот, этот Моссар — тип занятный, не простой там делец, а с философией, с особой, своей, конечно...

— Знаете, что меня с первого мгновения в нем поразило? — сказал Латов.— Он какой-то весь черный и подкрадывается к человеку. Это что, очень известная личность?

— Когда он первый раз приехал в Бейрут, его принимали художественные и финансовые круги. Я был на приемах

и много с ним разговаривал. Узнал о нем кое-что. Он очень богат, на чем разбогател — дело темное. Он кичлив, надменен, до нетерпимости упорен в своих мнениях. Лет ему, думаю, под шестьдесят, может, чуть больше. Говорит на многих языках и даже по-русски, и более чем сносно. Объясняет тем, что его всегда интересовала Россия. Хотел в юности стать дипломатом и обязательно поехать к нам. Сам он, говорит, родился в Австро-Венгрии, жил в Швейцарии. Всемирным гражданином себя называет...

— А что за фильм снимают на его деньги? И почему здесь?

— Представьте, фильм называется «Шесть колонн», в честь вон этих шести знаменитых... А дальше — дело сложное. Теперь ведь на Западе в кино закручивают такие сюжеты, что не сразу разберете, что к чему. Есть целые серии, посвященные вампирам или чудовищам, всяким ужасам, чудесам из мира таинственного, черной и белой магии. А то на экране и совсем непонятное, не разберете даже, когда, где и что происходит. До нашего отечества эти фильмы не доходят, а мы их здесь частенько видим. Вот и у нашего этого Моссара фильм такой, что сразу не разберешься. Вы слышали что-нибудь о явлении, называемом метампсихозом?..

— Слабо себе представляю... Что же это такое?

— Видите ли, это — учение о переселении душ: человек, скажем, помер, а его душа пошла гулять по свету. В общем, это мистика чистой воды и принадлежит, если не ошибаюсь, к буддийской религии. Освобожденная душа, значит, не знает пределов и находится вне времени. Очень древняя душа может свободно вселиться в современного человека. В этом фильме подобное происходит. Можно бы понять, если бы в юмористическом, комедийном жанре или в каком другом виде сатиры это было. А в этом фильме все всерьез. И посмеяться с виду как бы и нечему. Сам Моссар мне пресерьезно рассказывал свой фильм. Одна бедная девушка страдает головными болями и непонятными снами про неизвестную страну, с богами и колоннами. У нее припадки, и с ней происходят странные вещи. Близкие думают, что она притворяется, из лени все выдумывает, не хочет ни учиться, ни работать, рассеянна к тому же и, в общем, дурочка. А у нее, оказывается, ярко выраженные медиумические способности. Кроме того, стали замечать, что стоит ей протянуть за какой-нибудь вещью руку — и вещь сама двигается ей навстречу. Скажем, за чашкой она протягивает руку — чашка к ней, она с испу-

гом отдергивает руку — и чашка об пол. Много так вещей она побила.

Как-то случайно один знаток вопроса — доктор оккультизма — ее увидел и занялся ею. Оказалось, что в ней душа какой-то древней жрицы, знатной девушки. И пошла писать губерния! Доктору оккультных этих наук нужны деньги для опытов. Отыскал он очень интересующегося сенсациями молодого миллионера, прожигателя жизни и занимающегося всем, чем угодно, чтобы только не было скучно. Деньги он дал, с девушкой его познакомили. Он в нее влюбился. Еще бы — она, оказывается, жрица древности и собой хороша. Сенсация! Но она мучится своими видениями, как бы не в себе, и надо, говорит этот спекулянт, шарлатан белой и черной магии, дело довести до конца.

По его исследованиям выяснилось, что девушка — жрица храма Солнца в Гелиополисе, и надо ее привезти в храм Солнца, чтобы она вспомнила после разных магических действий свою прежнюю родину, и тут ее переключат на современный лад, и жрица станет просто барышней, с которой миллионер-молодец пойдет под венец. Вот сегодня вечером эту сцену заключительного обращения древней жрицы в нормальную современную девицу будут снимать на месте бывшего главного алтаря храма Юпитера.

Я встретил Моссара, когда он шел сюда, к своим актерам, и он пригласил меня вечером смотреть его съемку. Пойдем! А потом, попозже, поедем в Бейрут.

— То, что вы рассказали,— воскликнул Латов,— это же, честное слово, беспардонная чепуха и самый настоящий кошмар! Как это можно такое снимать и ставить в наше время!

Куликов усмехнулся:

— Снимают и не то. Им же все равно. Видел я недавно в Бейруте фильм «Прекрасная Елена». Вы думаете, там была Греция, что-нибудь эллинское? Там и прекрасная Елена, и король, и королева Трои, и все греки были англосаксами. Рыжие, здоровые, прямо сошли со страниц Джером Джерома или Марка Твена.

— Ну хорошо, пойдемте посмотрим, но я заранее предупреждаю: если это будет отвратительно, то я оставляю за собой право уйти, не дожидаясь перевоплощения жрицы, или как там называется это действие, когда она станет сегодняшней девицей...

Когда Латов закончил рисунок, они с Куликовым обошли расчищенную площадку перед ступенями храма Юпитера —

долго еще любовались на шесть колонн, рассуждая о том, каков был вид этого храма, когда путники прибывали караванами из пустыни в город-оазис, проходили через ворота, охранявшиеся римскими легионерами, ночевали в шестиугольном дворе, крепко спали после долгой дороги, а утром, вымывшись и приготовившись к лицезрению божества, тихо, почтительно следовали за провожатыми в огромные колоннады, окаймлявшие главный двор. Здесь путники смотрели на великолепные изваяния, которые стояли во всех нишах и простенках, а потом шли по высокой лестнице к лику главного божества, управлявшего делами смертных.

Латов и Куликов долго бродили среди мертвых стен. Куликов, улыбаясь, говорил:

— Смотрите, смотрите, переживайте,— когда вы еще сюда приедете!

— Да скорей всего никогда,— отвечал Латов,— но это все надо видеть хоть раз в жизни.

День разгулялся. Руины были торжественны и пустынны. Редкие группы туристов уже ушли. Только сотрудники киноэкспедиции копошились около своей аппаратуры, готовясь к вечерней съемке.

Потом они прошли городком, где из-за стенки базара мычали коровы, смотрели верблюды, пожевывая замшевыми губами, ревели ослы. Где-то пели петухи. Они видели продавцов всевозможных пород голубей.

Латов рассеянно смотрел на арабов в разноцветных куфиях и белых галабиях, в стареньких пиджаках, толпившихся на уличках, на беленькие домики с красноватыми шиферными крышами, на продавцов овощей и рыб. Он жил впечатлением виденного, попав неожиданно в мир невероятного искусства, имена мастеров которого затерялись во тьме времен.

Они обедали в маленьком, холодном, неуютном отеле. Вероятно, летом, когда солнце в долине пронизывает все светом и теплом, и эта большая комната становится привлекательной и радостной, но сейчас в ней было сумрачно и сыро.

Стол был уставлен тарелочками. Это собрание тарелочек с самым разнообразным содержимым называлось «мезé». Латов уже встречался с этой диковинной коллекцией кушаний. Смотря на все богатства миниатюрных блюд, он не мог не отметить изысканную красочность их. Розовые креветки со-

седили с темно-зелеными оливами. Серая фасоль, белый творог, фиолетово-зеленые фисташки, красная свекла, печеная коричневая рыба, колбаса разных цветов, баклажаны и огурцы, бананы и сладкие стручки, цветная капуста, разные маринады и, конечно, таббули — острая смесь, напоминающая жгучую абхазскую соль.

Тарелочек этих было много, и они сменялись все новыми, неизведанными образцами кушаний, как только пустели. Они, казалось, не могут иссякнуть.

Латов, смеясь, сказал:

— Мне кажется, что на кухне стоит очень хитрый дядя в большом белом колпаке и ежеминутно придумывает что-нибудь новое. Он окружен овощами, мясом, рыбой, всеми снадобьями, всеми приправами, и его вдохновение никогда не кончается...

Закуски, сменявшие друг друга с большой быстротой, были очень вкусными. Их запивали красным, терпким добрым вином — мюзаром. Попробовали арак, разбавляя его из зеленых бутылок «Севен-ап». Он мутнел, как мастика или абсент, был горьковат и пах аптекой.

Сначала они говорили о Москве, об общих знакомых, о новостях столицы, и Латов не ждал, что Куликов скажет между прочим, что ему часто снятся родные места, и он жаждет как можно скорее вернуться домой, и вся экзотика Востока ему давно наскучила. Он знал, что его собеседник, так любезно привезший его в Баальбек, серьезный и внимательный, всегда расположен больше молчать, чем говорить, но когда он начинал говорить о Ливане или вообще о Востоке, то его можно было слушать без конца, так убедительно в его рассказе оживали картины местной жизни. И слушавший убеждался, что перед ним настоящий знаток и тонкий наблюдатель. И действительно, Куликов провел годы на Востоке, изучал его неторопливо и вдумчиво. Его жизнь в арабских странах не была только служебной командировкой. Это было его призванием, его страстью. Поэтому Латов и сказал, смущаясь:

— Вы, Андрей Михайлович, видели, конечно, много приезжих из Москвы, которые, наверно, спрашивали вас все об одном и том же. Поэтому простите меня заранее. Что мне здесь бросилось в глаза? В Сирии и в Ливане так много памятников древности, так много развалин! Судя по всему, когда-то тут жили миллионы людей, не для пустыни же построена Пальмира или этот удивительный Баальбек! Какая

высокая культура, какие памятники, выдержавшие тысячелетия! Что случилось с этими странами? Я вижу, что здесь могли бы жить миллионы, десятки миллионов, а их нет. Вы можете на это ответить?

Куликов улыбнулся своей тонкой бледной улыбкой:

— Могу ответить. Вспомните, чего нам стоило одно татарское нашествие. Не осталось на Руси почти ни одного не пострадавшего города или селения. Новгород и Псков уцелели случайно. Не дошли татары из-за болот. Сколько было тогда развалин! И в них жили. Один Киев как пострадал! А сколько погибло людей! А это было только одно иго,— правда, целых двести лет.

А тут один завоеватель сменял другого. Проходили века сплошных битв и нашествий. Что сказать об одних византийцах,— кстати, громивших вовсю эти храмы, увозивших отсюда и камни и колонны в Константинополь. Арабы здесь строили из древних камней незатейливую крепость, византийцы — свою базилику. Двести лет крестовых походов, двести лет непрерывных войн. Крестоносцы с огнем и мечом проходили эти руины. Монголы осаждали город и жгли его, сам Тамерлан, стоя на высоте этих чуждых и враждебных ему платформ, смотрел с наслаждением, как огонь пожирает остатки сооружений. А жителей ведь тоже не жалели: кого уводили в плен, кого на месте кончали, кого убивали в сражениях. Запустели эти страны. От всего уцелела береговая узкая полоса с городами, потерявшими былое значение, но связанными с заморской торговлей. Города внутри страны жили еще большой жизнью. Но тут как раз приходили новые разрушители — землетрясения. Эти края и теперь трясутся ежегодно. Только в позапрошлом году подземные толчки разрушили на юге много селений, убили сотни людей. А в старину иные землетрясения сразу разрушали десятки городов и замков. Нашествия продолжались. После монголов пришли турки и кончили с достижениями прошлого, как мы сейчас говорим. Они поставили последнюю точку. Образцом их архитектуры был походный шатер, четыре копья по сторонам. Все, что осталось от арабской образованности и греческой и римской культуры, покрылось ночью безвременья. Никому эти древности больше не были нужны. Султанская Турция всегда боялась арабов и не очень стремилась к тому, чтобы эти края процветали.

— Я видел на полях у феллахов деревянную соху, мотыгу. Пашут на ослах,— сказал Латов.— Я даже зарисовал не-

которых крестьян — нищие, как церковные крысы, как говорили в старину.

— Тут всюду безземелье.— Куликов махнул рукой.— А что будешь делать? Наделы крошечные, нужда у крестьян отчаянная. В основном питаются оливками. А тут еще беженцы, которых некуда девать.

— Я не думал, что это так. Правда, я представлял Восток иначе,— сокрушенно сказал Латов.

Они помолчали.

— И надо всем,— сказал Латов,— эти шесть колонн. Если бы от нас, сегодня живущих, остались такие памятники, чтобы нашему умению, нашему искусству удивлялись люди через тысячу лет! Вот о чем я думал весь день. Сколько же нам надо сделать, чтобы создать — не колонны, нет, это и до нас за тысячу лет умели, а вот такое, чтобы одолело время и осталось прекрасным. От нашего железа, бетона и стекла, которые и сейчас глаз не радуют, едва ли что сохранится...

— Останется кое-что и от нас,— сказал Куликов.— Мы строим плотины, каналы, моря, города не на сто лет...

— Я думаю не о плотинах, морях и каналах. Я говорю о том, что будет создано нами такого, чем бы любовались люди будущего, как чем-то особенным, неповторимым, и говорили бы о том с восторгом и с сожалением, что вот такого они сами не умеют. Вот этим почти разрушенным Баальбеком любуются же люди, приезжая из всех стран мира! И удивляются, и даже не могут сказать, как подымали такие невероятные каменные платформы...

— Будущий век жить будет другими чудесами. Конечно, стекло на тысячу лет не сохранить. И разрушительные средства нашего времени тоже иные, от них уцелеет, в случае чего, мало. Но надо вам, художникам, создавать такие произведения, чтобы им удивлялись не через тысячу лет, а сейчас, современники, как при жизни этих богов им удивлялись приходившие на поклон.

— Все-таки как они умели работать! Просто чудо какое-то! Но посмотрите, кто к нам идет!

Куликов повернул голову и увидел, как прямо к их столу подходит подтянутый, весь в черном, с приглаженными белопенистыми волосами, уже без темных очков, широколобый, с какими-то холодными и как будто разными глазами сам почтенный продюсер Моссар.

Он шел уверенным и легким шагом, как будто заранее уговорился встретиться здесь с Куликовым и сейчас будет

просить извинения за опоздание. Он поклонился Латову, сказав по-русски:

— Я видел вас утром. Вы рисовали шесть колонн, не правда ли?

Моссар взял от соседнего столика стул и продолжал:

— Могу я присесть? Я уже обедал. Я так присяду. Выпью чашечку кофе. Будем пить рюмку коньяку...

Слуга принес кофе и коньяк. Куликов познакомил Моссара с Латовым.

— Это художник из Москвы.

— Первый раз здесь? — спросил Моссар.

— Первый,— сдержанно ответил Латов.

— Я вас понимаю. Я тоже когда-то был ваших лет. И колонн Баальбека когда-то было пятьдесят четыре, а теперь шесть. А потом и эти шесть упадут. Вероятно, это судьба всех колонн, народов, каждого отдельного человека. Вы приехали из далекой России. Я тоже приехал издалека. Мы все пилигримы, и все куда-то идем, и никто не скажет точно — куда. Ах, господа,— сказал он, пригубливая чашку кофе, запивая крошечным глотком коньяка,— мы даже не подозреваем, как устало человечество, как мы все устали. Мы видим, как устарело все прошлое. Надо от него освободиться — чем раньше, тем лучше. Мир должен пройти через ищущего, совершенно свободного человека, который не верит в будущее, а верит в сегодняшний день, и ему наплевать на все, что сделано до него, тем более что никакой связи с прошлым у него нет. Вы художник, разве вы не чувствуете, что искусство умирает, кроме кино, телевидения и радио...

Латов сделал протестующий знак и хотел что-то сказать, но Куликов поднял палец и остановил его. Моссар продолжал:

— Кино, телевидение и радио — это киты, на которых будет стоять все представление человека о мире, его окружающем. А все остальное пусть остается туристам! Любознательность пресыщенных техникой людей, свободные деньги и реклама гидов. Ах, первобытные камни, ах, древность, ах, тайны! Тайн нет...

— Подождите,— не выдержал Латов,— вы забыли про социальный прогресс, про то, что с всеобщим распространением знаний в людях будет развиваться и чувство прекрасного... Как можно забыть прошлое...

— Рост знаний! — усмехнулся Моссар.— Да, люди скоро на Луне будут добывать ее богатства, а тут, на Земле, мил-

лионы неграмотных будут все так же мечтать о лучшем, о том, как быть сытыми...

Половина человечества живет на голодном пайке. Вот и те, что строили этот Баальбек, нищие рабы, тоже мечтали о лучшем. И те, что впроголодь живут сегодня здесь, в Ливане, тоже мечтают... И так будет всегда!

Латов снова не удержался:

— Вы говорите очень печальные вещи, но зачем же вы тогда снимаете здесь фильм? Вы же верите в него и в то, что он будет иметь успех, что-то скажет людям, и они за это свои деньги отдадут вам...

Моссар зажег сигарету, вставил ее в какой-то вычурный черный мундштук, посмотрел с удивлением на взволнованное лицо Латова и не спеша ответил:

— Фильм — это дело, это — деньги. Есть фильмы умные и скучные, они умирают тут же, от перегрузки. Их не воспринимает зритель. Вы не хотите понять, что человечество устало — от войн, бедствий, революций, что оно живет в страхе. В страхе близкого уничтожения. Поэтому оно многое воспринимает по-своему...

— Я знаю содержание сценария вашего фильма. Это бред! — зло выкрикнул Латов.

Моссар не смутился. Его разноцветные глаза блеснули.

— Весь мир — бред. Человек одинок, он приветствует хаос, распад, чтобы почувствовать себя свободным от всего. В мире выпускаются тысячи фильмов. И вот они должны стремиться сделать человека забывшим все прошлое. Оттуда идут все беды, все кризисы. Все, что было, не стоит ничего. Надо идти вперед! Без страха, смеясь над прошлым и топча его. Все человечество, все люди сегодня любят видеть на экране кровь, ужас, невероятное. Их к этому приучили. Вы же снимали «Аэлиту»! Это тоже фантазия, и не очень впечатляющая, потому что испорчена политикой. Красноармеец на Марсе — это ваша затаенная мечта.

Кино — полусон. Человечество живет в полусне — оно не хочет ни заснуть, ни проснуться. И надо его держать в этом состоянии, потому что оно ему нравится. Людям невозможно стало понимать друг друга. Они разъединены, потому что техника, окружающая нас, бесчеловечна. Человек ничтожен перед созданиями из металла и сплавов, его поглощает, например, корабль-левиафан, бросает в свое чрево, рассекает с ним волны с невообразимой быстротой, опускается под воду, взлетает в яростные бездны космоса. Человек — песчинка.

Как страшен ночью современный город! Он весь как та электрическая машина, которая может считать и писать, может отвечать на все вопросы, вся вздрагивая от механического напряжения. Машины, одна другой ужасней по формам, идут по улицам, входят в дома и во сне преследуют людей в кошмарах. Обещают всё новые чудеса. Угроза атомного гриба убивает будущее. И одинокий человек в страхе закрывает лицо руками. В атомный век одиночество человека обязательно. От этого никуда не уйти. Но от этого рождается бесстрашие. Мы, одиночки, ничего не боимся. Мы рушим все преграды. Мы освобождаем психику человека от всего трагичного и уничтожаем его власть над ним.

Зачем рисовать эти колонны, которые уже ничего не говорят никому? Мы превращаем их, снимая в нашем фильме, в современную, пусть немного болезненную, но волнующую сказку, и они оживают и дают нам хорошие деньги. Это бизнес. Мы можем сказать, что мы превратили мертвый мир в живой, и это дает ему право жить в наших фильмах и служить нам и нашему бесстрашию. Никаких идей мы не вкладываем в эти колонны. Посмотрите, сейчас никто не выдвигает никаких ведущих в будущее идей. Все боятся коммунизма, дрожат перед возможной катастрофой и уходят в мрачные и безвыходные рассуждения. Мы даем выход — мы осмеиваем прошлое, не верим в будущее и не боимся настоящего.

— Простите меня,— воскликнул Латов,— такие фильмы, как ваш,— это не всемирный выход, а всемирная пошлость, всемирная безвкусица, это бессилие, а не сила! Кого он привлечет, ваш фильм?

— Вы еще молоды, как ваша страна,— сказал Моссар, зажигая спокойно новую сигарету.— Но если бы ваша страна купила мой фильм, если бы эти «Шесть колонн» показать у вас в Москве, очереди стояли бы несколько месяцев, и вы ничего не смогли бы поделать. Не отвечайте словами пропаганды! Это факт! Приходите сегодня вечером — это будет прекрасное зрелище... Что вы скажете, господин Куликов?

Куликов, слушавший молча самодовольного до наглости Моссара, сказал тихо и вполне незаинтересованно:

— Вы знаете мое мнение. Мы уже говорили с вами раньше об этом; мы придем сегодня вечером, обязательно придем. Нам очень любопытно увидеть своими глазами, как делаются мировые фильмы...

Моссара окликнула девушка, смуглая, большеглазая, с большими выгнутыми бровями, широкими розовыми губами,

в черном плаще и черных перчатках. Ожерелье из черных камней красовалось на длинной шее.

Моссар немедленно встал, бросив недокуренную сигарету.

— Каро! — воскликнул он.— Иду! — Он сказал «иду» по-русски, церемонно поклонился своим собеседникам и пошел к ожидавшей его девушке, сбрасывая пепел со своего черного безукоризненного костюма.

Когда они ушли, заговорил Куликов:

— Каков, а! Хорош! Проповедник хаоса! А! Ничего не боится. Обладатель нового секрета борьбы с коммунизмом! Денег много — вот откуда его бесстрашие.

— Слушайте, а ведь это, в общем, хитро придумано,— сказал Латов.— Человечество устало, он его утешает и развлекает. Он — и человечество! Да ему плевать на все усталое человечество! Видите, он его хочет развлечь такими картиночками, чтобы пощекотать нервы... метампсихозами!

— А почему, вы думаете, он так разговорился с нами, так обнажился? — спросил Куликов, прищурясь.

— Не знаю. Обнаглел: разговор с глазу на глаз... Показать, какой он бесстрашный...

— Нет, это он хотел, во-первых, вас уязвить: советский художник, передовое искусство, а рисует древние колонны, никому не нужные, какой же это завтрашний день! А во-вторых, продемонстрировать, что вот он-то человек будущего и такие фильмы снимает, что их будет смотреть все усталое человечество, а вот у вас не будет смелости показать их в Москве, а то все будут смотреть не ваши шесть колонн, а его шесть колонн и в очередь выстроятся. Вот в чем дело... Я говорю, конечно, условно...

— Вы шутите. При чем тут я! Я не собираюсь выставлять свои рисунки в Москве...

— Я пошутил, конечно, но он-то серьезно проповедовал свою философию. Я уже не первый раз это слышу...

Когда маленький розовокрыший на закате городок перед развалинами Баальбека погрузился в густой сумрак шафранового вечера, опустившегося на долину Бекаа, Латов и Куликов уже сидели на расчищенном от обломков большом храмовом дворе. Двор этот некогда с двух сторон украшали величавые галереи, в нишах красовались боги и богини, от них теперь не осталось и следа.

Сохранилась только лестница, ведущая к главному храму, и сейчас на площадке над лестницей, там, где когда-то сияли разукрашенные золотом, серебром, мрамором двери капища,

вспыхнули юпитеры, откуда-то проник луч прожектора, и началась та непонятная, почти таинственная возня, которая сопровождает каждую ночную киносъемку.

Глазам любопытных, а их оказалось не так мало на дворе, отведенном для зрителей, предстали сначала люди в самых разнообразных костюмах, шумно двигавшиеся во всех направлениях. Над этим шумом раздавались громкие приказания режиссера, крики осветителей, регулировавших свет, треск магниевых ламп, голоса женщин, свистки-сигналы; все это напоминало бестолочь базарной суеты.

Потом начался новый хаос — хаос самой съемки. На первом плане появилась та самая девушка, с которой Моссар ушел из ресторана. Она была в белых одеждах и полулежала на ложе, покрытом почему-то медвежьими и львиными шкурами, два светильника на высоких ножках освещали ее запрокинутое лицо, неестественно белое от света прожектора, за ней оживали какие-то мумии, призраками качались перед ней. Она слабо протягивала руки, как будто обращалась к кому-то с мольбой. Потом руки падали и лежали неподвижно, а она вся начинала дрожать мелкой дрожью, лицо искажалось гримасой боли, она стонала. И тут ее прерывал режиссер, подходил и поправлял ее позу и руки, удалялся во тьму, а перед ней возникал, по-видимому, специалист белой и черной магии. Он протягивал свои жилистые, почти черные, волосатые руки к ее белому лицу и производил всякие пассы, она погружалась в сон, откидывалась на бок, лицом к зрителям, и начинала прерывисто дышать, потом ее вздохи становились все тише, ее заклинатель сбрасывал свой сюртук, срывал галстук и продолжал пассы, вспотев от напряжения, выкатив большие, желтые, как у кошки, глаза. Наконец, отпрянув и вытирая пот со лба, с демонским видом, пятясь, исчезал. Лежавшая вдруг открывала глаза, обводила взором пространство, окружавшее ее, садилась на ложе и делала вид, что вспоминает что-то очень забытое. Тогда прожекторы вынимали из темноты как бы висящие в воздухе шесть колонн, и их неожиданный, ошеломляющий вид заставлял девушку вскрикивать. Но тут появлялся режиссер, махавший руками так, точно он хотел задушить вскочившую. Он сердился и поправлял ее. И снова и снова она вскакивала, и, когда вскочила в последний раз, так, как нужно, она огляделась, громко заплакала, потом радостно закричала и засмеялась. И тут забили невидимые барабаны, завыли зурны, задребезжали, загремели бубны, и перед девушкой явились существа, оде-

тые в довольно прозрачные рубашки, в золотых сандалиях и с красными маками в волосах. Героиня должна была воспринимать их как видение своей древней молодости. Девицы бурно плясали вокруг ложа какой-то вакхический танец, их освещали разноцветными лучами, они наступали на сидевшую и манили ее к себе.

И когда они постепенно, одна за другой, тоже исчезли, она сорвалась с ложа, бросилась за ними, звала их на непонятном языке, потом, огорченная и увлеченная воспоминанием, сбросила с себя верхнюю одежду и явилась в совершенно другом облике. На ней был лиф, переливающийся всеми цветами перламутровой раковины, широкий золоченый пояс, к которому были привешены большие древние медали и монеты. Боковые разрезы ее легкой, красной с синими украшениями-лентами юбки, осыпанной золотыми звездочками, давали ей возможность высоко выбрасывать ноги. Она изгибалась с завидной легкостью.

Она танцевала под дикую, оглушающую музыку обычный танец живота. Она вкладывала в него какую могла страсть, но ее танец был лишен гипнотизирующего сладострастия Востока. Это изгибалась, принимала соблазнительные позы, вращала бедрами, дрожала всем телом умелая, опытная европейская танцовщица. Она была просто молода и красива, она танцевала привычный ей танец, как много раз она исполняла его в каком-нибудь кабаре, где ей много хлопали полупьяные заезжие иностранцы, принимая ее за гурию, открывающую настоящие тайны Востока.

Но выскакивал снова режиссер, прерывал съемку, заставлял жрицу повторять отдельные моменты танца. В эти минуты она терялась, сердилась, зло смотрела по сторонам. По ходу действия к ней все время старался прорваться тот шалопай-миллионер, молодой красивый парень, которого удерживал профессор черной и белой магии. Это уже походило на комический фильм с плохими артистами, и тут снова все останавливалось. И снова под оглушающий грохот музыки она шла, извиваясь, показывая всеми движениями, что этот поздний вечер, и место, и колонны, холодно вздымающиеся над нею, не имеют между собой никакой связи, что эти люди, толпящиеся здесь, в развалинах древнего храма, жалки и искусственны со всеми своими придуманными картинками, и, как ни греми музыка, как ни танцуй танец живота, как ни притворяйся воплощением древней жрицы,— все это плохой маскарад, дешевый и оскорбительный.

Все чаще приходилось останавливать съемку. В такие минуты режиссер кричал, во весь голос кричал профессор черной и белой магии, в бессилии кусала губы, чуть не плача, бедная жрица. Ее заставили снова лечь на ложе и смотреть на шесть колонн, высоко подняв голову к высокому, почти черному небу, потом впасть в задумчивость, рассматривать с интересом сброшенные ею одежды жрицы.

Тут наступил решающий момент: на смену азиатскому оркестру грянул самый современный джаз, и перед ней заскользили шесть или семь герлс, уже не скрывающих своего заокеанского происхождения. Их тонкие, длинные ноги сначала демонстрировали что-то вроде бешеного канкана, потом они поутихли и затанцевали танец под названием «рок-н-ролл», который тогда только начинал свой триумфальный путь.

Они разделывали сумасшедшие фигуры танца с большим азартом. Трудно было уследить за их ногами и руками. И странный танец — нечто среднее между пляской святого Витта и топтанием пьяной обезьяны — так подействовал на героиню, что она, сидя на львиных и медвежьих шкурах, начала содрогаться, подражая девицам,— заходили ее руки и ноги, задергалась голова, и она вскочила и бросилась в вихрь непонятного обольщения, которое ей, тысячелетней жрице, предлагал наш двадцатый век. Она должна была войти в эту грохочущую сегодняшнюю ночь, избавиться от прошлого, пройдя через безумие танцевального вихря, приобщавшее ее к тому передовому образу жизни, который гордо носит имя заокеанского.

Тут, видя, как она мужественно старается превзойти своих подружек-герлс в изобретении новых и новых невиданных фигур, из рук шарлатана-профессора вырвался молодой красавец миллионер и начал с ней отплясывать так неистово, так фигурно, так закрутительно, что среди нечаянных зрителей послышались возгласы восхищения.

Но несмотря на то, что герлс уже не могли устоять против фантастического калейдоскопа движений, которое рождала вернувшаяся из мира древности в мир двадцатого века жрица, а молодец-миллионер отплясывал так, что невозможно было уследить за всеми его жестами и мгновенными позами, за его руками и ногами, все же режиссер останавливал танцующих, менял ритм джаза, требовал большей выразительности и еще большей энергии.

И снова взвихривались на месте миллионер и жрица. По сценарию она должна была влюбиться в него по первому танцу. Она хочет научиться танцевать, как он. Он учит ее новым фигурам. Все превращается в разноцветный сумбур, в котором вертятся яркие, как павлины, герлс, крутится черный фрак смуглого юноши, сверкающий лиф девушки, вовлеченной в ритм, достойный нашего времени.

И она сдается. Весь прошлый, фантастический мир слетает с нее, больше нет никакой древности, никакого Востока, есть современные влюбленные молодые люди. Она делает последний прыжок и падает в объятия молодого человека.

Снова режиссер недоволен этой сценой. Ее повторяют еще и еще. Наконец раздается свисток. Герлс убегают, что-то крича. Молодые люди стоят, обнявшись, но тут, к удивлению Латова и Куликова, выйдя вместе с режиссером, тяжелый, черный Моссар властно разъединяет молодых людей, берет под руку тяжело дышащую, усталую жрицу и исчезает с ней, оставив молодого миллионера наедине с режиссером, с которым молодой человек вступает в какой-то бурный разговор.

Это уже не относится к сценарию. Музыка давно смолкла. Свет меркнет. Еще какое-то время прожектор освещает движущиеся фигуры около машин и аппаратов, фигуры, которые теперь кажутся тенями кошмара. Сразу появляется народ, и над всем бредом происходящего снова возникают, как великаны, пришедшие издалека посмотреть на игры карликов, шесть колонн, светлотелых, неправдоподобных.

Свет погас. Больше не было ни колонн, ни кривляющихся герлс, ни танца живота, ни лихо пляшущего миллионера. Вокруг была ласковая, но прохладная тьма весенней ночи.

Латов и Куликов шли к гостинице, обмениваясь впечатлениями. Во все время съемки они не разговаривали. Зрелище, раскрывшееся перед ними, было настолько нереальным, что местами походило на кошмар.

— Я на месте арабов убил бы Моссара, который приволок сюда весь этот табор, весь этот кабак... и даже не поленился притащить сюда герлс и джаз. Откуда он взял его?

— Ну, в бейрутских кабаре сколько угодно такого товара,— ответил Куликов.— А вы обратили внимание, что этот играющий миллионера выплясывает, как профессионал, да еще какой профессионал! На экране будут смотреть. Он, по-видимому, привезен издалека. Такого я что-то не встречал в Бейруте.

— Понимаете,—как-то смущенно сказал Латов,— я чув-

ствую, что все это вздор и все очень плохо, но мне понравилась девушка. У нее местами такая естественная растерянность, как будто ей все не по сердцу, но ведь ничего не поделаешь. Надо зарабатывать деньги, я понимаю. Она красивая, но какая-то измученная, и танец живота не ей танцевать. Очень уж грубо у нее получается оттого, что она не чувствует восточного колорита. Она танцует как-то механически. Она не здешних мест. Ручаюсь. Откуда-то ее привез этот работорговец...

— Это кого же вы так называете?

— Да все того же Моссара. Он, наверное, если не живым товаром, то какой-нибудь контрабандой торгует — наркотиками, что ли... Тут торгуют наркотиками?

— Гашиш продают. Тайно, разумеется. Здесь дело обыкновенное, как и всюду на Востоке,— отвечал Куликов.

— Что обыкновенное?

— Да то, что Моссар и тем и другим может заниматься. А своей жрице в кавычках он явно покровительствует. Она, вероятно, его любовница. И весь секрет. Как он ее оторвал от молодого человека? Без стеснения.

— Да, я тоже обратил внимание.

— А что вы скажете вообще обо всем, что видели?

— Что скажу? Я уже сказал, что я бы убил мерзкого Моссара. У меня просто на языке какой-то горький осадок. То, что мы видели, не имеет имени. Это тоже гашиш, а может, и хуже. Все так отвратительно, что я, право, не понимаю, почему таким господам позволяют оскорблять древние памятники... Ну, к черту весь этот базар! Что мы будем делать?

— Отдохнем немного, соберемся и поедем. Ночь на перевале будет холодная. По дороге заедем куда-нибудь перекусить, погреться. В Бейруте будет уже поздно!

Они ехали к перевалу. Прохлада Баальбека сменилась резкими порывами холодного ветра. Слякотью понесло с гор, в темноте подступивших к дороге вплотную. По стеклу машины застучал дождь. Во мгле впереди ничего не было видно, кроме полос дождя. Ехали с большой осторожностью.

Что-то белесое начало облеплять стекла. Латов вгляделся. Шел мокрый снег. Его хлопья мягко падали на дорогу, извивавшуюся по склону. Сразу стало очень холодно, неприютно,

одиноко. Почему-то вспомнился виденный где-то шалаш беженца-араба. Черный войлочный навес, драные тряпки. Дети, роющиеся в песке. Худые курицы, сидевшие, прижавшись к камням. Женщина в черном, разводившая костер, с хрипом дувшая на огонь...

От этого раскрытого всем ветрам жалкого человеческого жилища веяло такой безысходностью, такой обреченностью, что при одном воспоминании об этом Латова охватила темная тоска. Чужие холодные скалы и мокрый снег, летевший навстречу машине, пустынная, каменная, древняя горная ночь порождали такие же холодные, хмурые мысли, которые таяли, как эти большие серые хлопья на стекле. Латов стал дремать. Ему захотелось света, человеческого движения, голосов, тепла.

Куликов вел машину молча, вглядываясь в аспидный сумрак дороги, освещенной бледным светом фар, дороги, крутившей бесконечные повороты, перед которыми он аккуратно сигналил, сбавляя ход.

Вдруг он сказал:

— Вы спите, Арсений Георгиевич?

Латов очнулся и пробормотал, что так, на минуту закрыл глаза: утомляет эта бесцветная, белесая дорога, и к тому же очень холодно.

— А вы знаете,— почти весело, громко сказал Куликов,— что эта страна могла бы быть частью Российской империи...

— Что вы, помилуйте! — отвечал, совсем проснувшись, Латов.— Как это могло быть? Где мы, где она...

— Вот в том-то и все дело,— сказал Куликов.— Русский флот во времена Екатерины Второй был полным хозяином в этой части Средиземного моря. Русские моряки даже Бейрут взяли у турок. Они оказывали военную помощь восставшим против султана друзам. Друзы хотели, чтобы их приняли в подданство России. Но Екатерина ответила на это так: «Оказывать помощь ливанцам надо, в подданство не брать, потому что защитить их трудно, и в случае неудачи выйдет, что турки принадлежащую Русской империи землю себе забрали...» Вы знали об этом?

— Нет! Вам не холодно, Андрей Михайлович? — спросил Латов.— Что-то я озяб, сам не знаю почему...

— Тут высоко, а будем еще выше, на перевале, но мы сейчас сделаем остановку. Еще минут десять — все будет в порядке.

...Ресторан для утешения путников был расположен у самой дороги. Его ярко светившие окна не нуждались в рекламе. Он был давно и заслуженно известен. Целый табун разноцветных машин стоял перед входом.

В большом зале было многолюдно, стоял смешанный, неразборчивый говор многих гостей, сидевших за столиками и поглощавших с аппетитом богатые дары ливанской кухни. Между столиками скользили бесшумные, молчаливые официанты с подносами, уставленными бутылками и тарелками.

Было тепло, вкусно пахло какими-то острыми соусами, винной пробкой, сигарным дымом.

Латов и Куликов, как только вошли в зал, сразу же огляделись и, найдя в стороне свободный столик, все же чуть задержались, потому что недалеко от себя увидели компанию, при виде которой они невольно подумали, стоит ли садиться так близко от нее. Но потом сели так, чтобы Куликов был спиной к людям, шумно пившим и звеневшим бокалами почти рядом.

Но, сев и заказав коньяк и закуску, они все же нет-нет да и поглядывали в ту сторону, и Латов сказал тихо через стол:

— По-моему, у них разговор не очень веселый...

— По-моему, тоже,— отвечал Куликов.— Посмотрите на того, который играл, вернее, танцевал сегодня миллионера.

Смуглый молодой человек с глазами сумасшедшего цыгана глядел куда-то в сторону и, только когда его окликали, приподымал свой бокал и чокался с полным равнодушием со своими соседями.

Девушка, игравшая жрицу, пила большими глотками шампанское, что-то напевала и не спускала глаз со смуглого своего визави. Рыжий, точно в клоунском парике, режиссер смешил старого актера, игравшего в фильме профессора черной и белой магии. И слушавший их большой, тяжелоплечий Моссар то бросал злой взгляд на молодого танцора, то улыбался девушке, почти оскалив рот, то громко, неестественно хохотал, ударяя по столу большой ладонью.

Иногда за столом разговор прекращался, но сейчас же все начинали говорить разом, звенеть бокалами и тарелками, точно они боялись молчания, и опять вспыхивало веселье, девушка смеялась искренне и как-то растерянно, грохотал бас Моссара, хриплый голос режиссера перекры-

вал тонкий вскрик быстро хмелевшего шарлатана-профессора. Что-то говорил молодой человек, но что — нельзя было разобрать.

Куликов и Латов молча пили коньяк, молча ели мясо, приготовленное как люля-кебаб; местное название кушанья Латов тут же забыл. Он согрелся, и ему даже нравилось сидеть среди множества разнообразных людей, спасающихся здесь от одиночества, холода и ночи.

— У меня есть два желания,— сказал он,— я очень благодарен вам, что мы сюда заехали. А желания такие. Первое: чтобы эта компания нас не заметила и чтобы этот продюсер не подошел к нам. Я наговорю ему дерзости... до скандала дойду.

— Он нас не видит,— сказал Куликов,— я сижу к нему спиной, а с вами он уже познакомился, и я не думаю, что вы доставили ему удовольствие. А второе ваше желание?..

— А второе мое желание даже трудно объяснить. Я хочу зарисовать этого Моссара, на память...— Он порылся в карманах.— Ах, черт возьми, я оставил блокнот в машине. Сейчас за ним сбегаю, через минуту буду здесь. Нет, меня не надо провожать. Я помню, где стоит машина.

Осторожно, чтоб не привлекать внимания, он прошел к выходу. Дверей было несколько, он открыл самую левую боковую и вышел на лестницу. Отдельные снежинки садились на его плечи и тут же таяли. Он спустился по лестнице на дорогу. Там, где стояла машина, был полумрак, но он нашел ее сразу по флажку, прикрепленному на радиаторе.

Он открыл дверцу и забрался в машину. Сел и начал искать на заднем сиденье куда-то завалившийся свой блокнот. В машине было тихо, почти уютно, освещенные двери ресторана, силуэты людей, мелькавшие за занавесками, казались такими далекими и чужими, как та моссаровская компания в ярко освещенном зале с ее раздражающим гомоном и смехом.

Он нашел блокнот и сидел, прислонившись к стенке, закрыв глаза. Через минуту он приоткрыл их и увидел нечто неожиданное. Двери, ведшие в ресторан с улицы, открывались часто, потому что официанты для скорости предпочитали проносить блюда, прямо пробегая из двери кухни в дверь ресторана, с улицы подымаясь наискось по лестнице, и он

уже видел не одного с салфеткой на руке и с тарелками на подносе, пробегавшего в ресторан.

И сейчас из ресторана выбежал человек в серой куртке, с пустым подносом и салфеткой. Он сбежал с лестницы и, вместо того чтобы нырнуть в кухонную дверь, остановился перед машиной и оглянулся. Никого не было вокруг. Он не мог видеть сидевшего в темноте Латова. Он быстро наклонился к флажку с серпом и молотом, расправил его и, не успел Латов пошевелиться, дважды прижал его к губам и, поцеловав, помедлил, а потом не торопясь пошел к двери, открыл ее привычным движением и исчез.

Латов сидел в оцепенении. Он все еще видел перед собой человека, так любовно целующего красный кусочек материи. В этой дороге перед перевалом, в ночном ресторане, наполненном странствующими гуляками, в неожиданном жесте неизвестного было что-то тревожащее, странное, как те шесть колонн, что остались там, позади, в гордом безмолвии пустыни.

Тут ему пришло в голову, что сейчас из кухни снова появится тот странный официант и он сумеет разглядеть его лицо. Он ждал, но дверь на кухню не открывалась. Никто не появился. Тогда он так же, боковой дверью, вернулся в зал, прошел к столу и, сев, сразу вынул блокнот и карандаш.

— Не мог сразу найти,— сказал он Куликову, приступая к работе,— куда-то блокнот завалился.

Куликов налил ему коньяку. Латов с удовольствием выпил и, отыскав глазами Моссара, начал быстро набрасывать его черты. Латов не хотел делать этого открыто, поэтому он бросал как бы равнодушные взгляды в сторону того стола, и карандаш схватывал все новые и новые подробности. Но окончить рисунок он не смог.

Совершенно неожиданно для него Моссар поднялся, и вся компания, теснясь и шумя, двинулась к выходу. Моссар не смотрел по сторонам. Он гнал перед собой, как козу, девушку с большими, неестественно изогнутыми бровями, и она, не оборачиваясь, спешила к двери. Трое остальных, наталкиваясь друг на друга, следовали за Моссаром.

Моссар был мрачен и раздражен. Когда дверь за ними закрылась, Куликов увидел, что Латов растерянно положил карандаш.

— Жаль, удрала от вас натура. А такую не каждый день увидишь.

— Я нарисую по памяти. С наслаждением его припомню. Такой шарж можно сделать, что давай бог, бог сатиры...

Подошел официант убрать посуду. Латов вглядывался в его ничего не говорящее лицо и думал: «А может, это и есть тот, кто целовал флажок? А может, и не он». Латов с каким-то острым вниманием смотрел теперь на официантов и в каждом искал сходство с тем, особенным. Но все они были одинаково расторопны, одинаково одеты, одинаковы в своих выражениях бесстрастных лиц. Нет, никогда ему не найти того человека. Да и зачем его искать? И наконец понял, что, как ни смотри, он даже не может отличить их одного от другого.

Они еще посидели за кофе, потом не торопясь оставили гостеприимный приют и вышли к машине.

На дворе была отчаянная погода. Ветер опять бросал в лицо мокрый снег пополам с дождем. Машина рванулась и как бы в остервенении начала набирать скорость и высоту, проваливаясь в море мрака и холода.

Но, как ни странно, теперь, после ужина и коньяка, не клонило в сон, наоборот, появилась какая-то энергия мысли и как-то стало весело на душе. Но мысли кружили, как эта ночная дорога, и Латову показалось, что «его» официант похож на древнего христианина, жившего среди язычников, но уже приветствовавшего новый век. Началась новая эра, но старые боги еще стоят, хотя их храмы шатаются и падают.

И может быть, от их величия остались только шесть колонн, и они будут стоять, когда даже все стены небоскребов рухнут. «То, что я видел,— размышлял Латов,— во всяком случае, удивительно...»

Машина шла в клочьях тумана, которые становились шире и гуще, и наконец молочная стена закрыла дорогу и скалы. Гудя на поворотах, Куликов медленно одолевал вершину перевала.

Латов не хотел отвлекать его разговором на этом трудном и рискованном участке дороги. Его мысли были далеко от окружающего. Ему начало казаться в том полусне раздумья, в котором он пребывал, что все уже было давно. Были и открытия, подобные нашим, и такие, о которых мы не имеем понятия. Тяжести весом в сорок тонн переносили легко с места на место. И люди

никогда не были одиноки. Врет все этот Моссар. В древности люди имели удивительные таланты и знания в области астрономии, в области техники, имели «тайные знания».

Многие формы человеческого общества уже были на земле. И теперь идет борьба за государство Солнца... как говорил Кампанелла. Храм Солнца там, позади; шесть колонн — свидетели того, как и сегодня преследуют коммунистов, как тогда, почти две тысячи лет назад, преследовали христиан... Преследуют и терзают в разных странах... Мысли его смешались.

Он не заметил, как уснул. Проснулся он как будто в другой стране. О тумане не было и помина. За время, пока он спал, машина сбежала с перевала и, крутясь на витках приморского шоссе, мчалась к Бейруту, и вокруг уже темнели спящие сады и виллы, приютившиеся на склонах. На зеленовато-голубом небе блестел серп молодого месяца. Было тихо, и в этой тишине неожиданно громко раздался голос Куликова:

— Ну, вот и поспали, дорогой, скоро Бейрут, и кто-то стоит посреди дороги и просит остановиться... Смотрите...

Вглядываясь в сумрак дороги, впереди, у поворота, Латов увидел темную фигуру, которая стояла действительно посредине дороги и махала руками. Машина замедлила ход.

Человек шел навстречу машине, время от времени поднимая руку, как бы боясь, что она все же не остановится. Он был один, и это не внушало никакого беспокойства. Куликов остановил машину, открыл дверцу и вышел на шоссе. Вышел и Латов. Они спокойно смотрели, как приближается высокий силуэт в плаще.

Он показался им знакомым. Когда он подошел совсем близко, они его узнали. Это был актер, игравший сумасбродного миллионера.

Он сначала показал в сторону, на низкие кусты в придорожной выемке, откуда выглядывала черная квадратная машина, слабо блестевшая отлакированными боками. При свете фар Куликов узнал машину Моссара. Там, видимо, был он сам со всей компанией, ужинавшей в ресторане за перевалом. Куликов слушал молодого человека. Он говорил по-английски.

— Большая просьба. Мне нужно срочно быть в Бейруте. Вы едете в Бейрут?

— Да, мы едем туда!

— Мне обязательно нужно быть в Бейруте. У нас испортилась машина. Шофер чинит. Все могут ждать. Но я не могу ждать, пока он починит. Я не могу ждать. Я должен быть в Бейруте во что бы то ни стало. Я жду звонка из Женевы.

— Разве это так уж важно — звонок из Женевы?

— Очень, очень важно. Поймите меня, от него зависит моя жизнь.

— Ваша жизнь?

— Да! Вы меня не знаете. Меня зовут Каэтани, если вам нужно мое имя.

Куликов сказал: «Одну минуту» — и перевел просьбу Каэтани Латову:

— Он просит взять его в Бейрут. Говорит, что испортилась машина и что все могут ждать починки, но ему должны позвонить из Женевы, от этого звонка зависит его жизнь.

— Возьмем его, Андрей Михайлович,— сразу, не думая, сказал Латов.— Я верю ему. Возьмем! Спасем человеческую жизнь!

Куликов повернулся к Каэтани.

— Садитесь,— сказал он, и молодой человек, откидывая полы синего плаща, влез в машину и сел рядом с Куликовым.

Теперь машина шла, как по катку, наклоненному к морю. Горы темными шерстистыми громадами вставали над ней. Огни разбросанных по горам домиков остро вспыхивали вверху и внизу по сторонам дороги.

— Как съемки? — спросил Куликов неожиданного спутника.

Тот курил сигарету за сигаретой, и вопрос Куликова застал его врасплох.

— Не знаю,— ответил он.

— Как! Мы только что видели вас в таком танце, который настоящий шедевр,— чуть иронически сказал Куликов,— вы замечательный, первоклассный танцор...

— Да,— ответил Каэтани,— где же вы меня видели?

— В Баальбеке, на вечерней съемке, где вы танцевали с древней жрицей...

— С древней жрицей? — Он удивленно повернул голову.

— Ну, с девушкой, которая пробуждается ото сна. Ее, кажется, зовут в жизни Каро.

— Вы видели и Каро! — воскликнул молодой человек.— Значит, вы все знаете?

— Я ничего не знаю,— сказал Куликов,— может быть, вы нам что-то поясните. Вы сами из Бейрута?

— Нет,— сказал тихо молодой человек,— это неважно, сейчас уже ничто не важно...

— О чем вы с ним говорите, Андрей Михайлович? — спросил Латов.

— Он не говорит, а скорей заговаривается,— ответил Куликов,— с ним происходит что-то странное. То ли он здорово хватил, то ли это что-то психическое. Он говорит как во сне...

— Сейчас будет Бейрут. Я сойду где-нибудь на улице, я вам скажу...

— Пожалуйста, мне все равно. Это вы торопитесь, мы — нет. Вы что-то хотите сказать...

— Нет, я потом, немного погодя, скажу вам, а сейчас я хочу только спросить: вы англичане?

— Нет!

— Но вы не греки и не французы?

— Нет, мы русские, из Москвы...

— Я так и думал, что вы русские, потому что англичане не остановились бы и не взяли бы меня с первого слова. Это хорошо.

— Что хорошо?

— Я скажу немного погодя.

Россыпь огней ночного Бейрута уже зыбилась совсем рядом. И за ней, за этой неоглядной россыпью, виднелось нечто сине-бархатное и необъятное. Иногда на краю этого пространства вспыхивало что-то белое, как вспышка магния, и пропадало во мраке.

Подобно пене этих ночных волн, еще кое-где блестели и меркли световые рекламы, неоновые огни отелей и магазинов.

В одной из тенистых маленьких улиц Каэтани попросил его высадить. Но прежде чем уйти в ночь, он сказал дрогнувшим голосом:

— Простите меня, я обманул вас, но я должен был так поступить. Меня вынудили обстоятельства.

Куликов пожал плечами: что ж, бывает и так.

— Может быть, вам нужна помощь еще в чем-нибудь?

— Нет, благодарю. Я не жду звонка из Женевы. У меня нет никого в Женеве. Я все уже решил. Если я не убил его там,— он махнул рукой на горы,— это еще не значит, что я не готовлю ему гроб в Бейруте...

— Вы хотите кого-то убить? — спросил Куликов.— А стоит ли? Подумайте, стоит ли?

Лицо Каэтани исказила гримаса.

— Я думал, я бы с удовольствием это сделал, но и помимо меня его ждет гроб в Бейруте!

И вдруг он отрывисто приподнял шляпу совершенно театральным движением:

— Прощайте! Еще раз благодарю вас и вашего приятеля. Вы не знаете, что вы для меня сделали в эту ночь...

Он шагнул в тень высокой стены, из-за которой смотрели кипарисы, и исчез. Даже шагов его не было слышно.

Куликов передал весь разговор Латову. И Латов спросил недоумевающе:

— Кого он хотел убить?

— А знаете кого? Видимо, Моссара. По-моему, я догадался правильно. Но почему он сказал еще про гроб, который ждет в Бейруте?!.. Черт его знает, вероятно, я не так понял...

Куликов завез усталого, со слипающимися веками Латова в гостиницу, зашел в его номер, посидел еще с полчаса, пока художник устраивался, поговорил о странной ночной встрече на дороге и поехал домой, думая уже совершенно о другом — о делах, которые его ждут завтра с утра в этом шумном, разноцветном, деловом городе.

Бейрут был полон предпраздничной пасхальной суматохи. Пестрая толчея в лавках, на арабском базаре, в дорогих магазинах европейских фирм, в маленьких лавчонках, торгующих всем, что требуется ливанцу среднего достатка, оглушала свежего человека и слепила глаза.

На улицах и площадях стоял тот же гам, звон и крик. Причудливо раскрашенные автомобили всех марок поминутно останавливались толпой, неистово гудели, стараясь преодолеть заторы, и вызывали остановку всего

движения. Пешеходы пробирались между ними с ловкостью канатоходцев. Грузовики со свирепым ревом устремлялись вперед. Велосипедисты пробовали проскочить сбоку тяжеловозов. Резко громыхали мотоциклы, тесня мотороллеры.

Кругом стоял стон от самых различных возгласов, выкрикиваний газетчиков, шумных, гортанных зазываний лавочников, расхваливающих свой товар, продавцов воды, сладостей, фруктов.

Над всем лязгом и грохотом плыл гулкий серебристый перезвон. Колокола маронитских церквей заглушали голос муэдзина. На улицу вырывался в раскрытые двери католического собора тяжелый, раскатистый голос органа.

Густая толпа то облепляла тротуары, то втекала в лавки, то заполняла площади, над которыми равнодушно свисали широкие жестяные листья пальм.

Казалось, в этом большом городе на берегу моря, куда все страны мира свезли свои товары, люди занимаются только продажей и покупкой, какое-то опьянение владеет ими и ведет их из магазина в магазин, из лавки в лавку, на базар и в порт, где разгружаются корабли всех стран. По вечерам зажигались такие многочисленные, такие разнообразные рисунки реклам, которые говорили обо всем сразу, вертелись и меняли цвета, подымались в высоту и сползали до тротуара, повисая над красочными плакатами, цветными афишами, ошеломлявшими и кричавшими, спорившими с электрической рекламой, так что начинало казаться, что все это нарочно, что это только зрелище, а не обычная жизнь.

Реклама кабаре и кинотеатров кричала о самых ярких программах, о певцах, танцовщицах, акробатах, фокусниках, о самых мировых сенсационных фильмах. Со стен смотрел нарумяненный Юлий Цезарь с лавровым венком на голове, как простой легионер обнимающий растрепанную красотку, рядом реклама представляла распростертую на прибрежном песке, едва прикрытую лунным светом героиню фильма «Жемчужина южных морей»; нахальная Лола Монтес в роскошном платье, с хлыстом в руках изображала «королеву скандалов», как гласила подпись под ней. В кинотеатре «Адонис» шел фильм специально к празднику пасхи, изделие католической церкви — «Жизнь господа нашего Иисуса Христа». На рекламном плакате Христос в коричневой изо-

дранной хламиде, изнемогая, тащил тяжеленный крест, и пот капал с его лба, кровавый пот мученика в терновом венце.

Над этим плакатом была повешена афиша с достаточно обнаженной танцовщицей. Афиша была нарочно повешена так, чтобы полуголая девушка, хохоча, попирала своей ножкой в золотой туфельке голову Христа. И никто не обращал на это внимания.

Все двигались мимо со скоростью вечно спешащих куда-то и опаздывающих людей всех стран и всех вероисповеданий. На этом месте жили и торговали, так же спешили, приготовляли корабли и товары в дальнее плавание тысячи лет назад финикияне, а сегодня даже муэдзин не кричал с минарета, а за него работало радио, и на стершихся пластинках звучало нечто отдаленно напоминающее призыв к молитве.

Латов утонул в этих людских потоках, увлекавших его то туда, где дымили трубы трикотажных, кожевенных, табачных фабрик, то в узкие переулки, то в многоголосые ряды базара, то в кафе, где можно было минуту передохнуть от спешки и тесноты. Он много зарисовывал, сменяя один за другим дорожные блокноты. Иногда он садился перед каким-нибудь менялой с лицом древнего жреца, который принимал и выдавал мятые ассигнации самых разных стран, со строгим лицом приносящего жертву богу торговли, или на ходу, стоя рисовал араба библейского типа, с классической белой хаттой, схваченной черными шнурами экаля, в ременных кляшах на ногах, в белой аба на широких плечах, чересчур широких для его тонкой, скелетообразной фигуры.

Иногда в его блокнот попадала красотка в синих тонких брючках, в рубашке с черными треугольниками и желтыми полосами, с волосами, перехваченными лентой на затылке, падающими короткой гривой, с блестящими, золотыми клипсами в ушах.

Латов, когда его смаривал шум улиц, усталый шел в свой номер, опускал жалюзи, бросался на кровать и спал сном здорового и крепкого человека. Время шло незаметно. Увлеченный живыми картинами весеннего Бейрута, он уже начал забывать про Моссара и про его страхолюдный фильм, как вдруг ему позвонил по телефону Куликов и сказал, что заедет за ним и отвезет в одно хорошее место, где они вместе пообедают.

Куликов пришел в назначенный час и повез его в гостиницу с рестораном, построенную у самого моря. Латов рассказал Куликову о своих блужданиях по городу, об оглушительной жизни, о богатстве красок Бейрута и о том, что он наблюдал не только парадную сторону быта, обращенную к иностранцам, но и увидел, как живут, трудятся, отдыхают простые труженики, обыкновенные жители, любители посидеть в скромных кафе, за душистым наргиле, поиграть в нарды, побеседовать с соседом.

Для них соблазны дорогих магазинов так же запретны, как азартные игры в закрытых клубах, кутежи в кабаре, яхты и автомобили, могущие умчать счастливцев в море и в горы, к пышным горным ресторанам и виллам. Но они живой, веселый и добродушный народ, они ему понравились своей отзывчивостью и простотой.

Обедали они не торопясь, но у Куликова был такой вид, точно он приберегал что-то такое, чем хотел поразить собеседника под конец встречи. Это чувствовал Латов и не хотел торопить собеседника, ждал, что придет минута — и Куликов откроется.

Эта минута наступила, когда они стали пить кофе и, насытившись, исчерпав все темы, замолчали, засмотревшись, как на дальнем просторе белеют паруса какой-то шхуны, ныряющей в голубых волнах, словно клочок бумаги, несомый ветром.

Тогда Куликов сказал, прищурившись, как он умел:

— Знаете, кого я встретил сегодня утром?

— Не могу догадаться,— сознался Латов.

— Каэтани,— сказал с расстановкой Куликов,— нашего ночного спутника. Затащил меня в кафе и, как он говорит, должен был открыться во всем...

— О! — воскликнул Латов.— Он убил Моссара?

— Да нет, никакого Моссара Каэтани не убивал, но правда, он загнал его в гроб...

Куликов засмеялся.

— Что значит — в гроб! Значит, тогда, ночью, речь действительно шла о гробе?

— Да, о гробе. Но Каэтани уже выдал мне всю историю. Он давно выступал в кабаре с Каро. Это его старая любовь, как он уверяет. Они много натерпелись в жизни, пока встретились, блуждая, ища заработка. Выступали как танцоры

Каэтани и Каро. Возможно, все имена эти не настоящие, но они выступали под этими именами в ночных кабаре, на эстрадах. Моссар увидел их в Танжере. Он — а у них тогда дела шли неважно — уговорил их участвовать в его фильме «Шесть колонн». Но Каэтани, согласившись на это, не знал настоящей сути. Он не рассмотрел коварства старого дьявола, того, что вместе с его согласием сниматься Моссар купил себе Каро целиком. Уж как и чем соблазнил ее, я не писатель, сказать не могу, но это так. И, чуть не плача, Каэтани говорил мне, что он жил, как дурак, обманутый дурак. Вот его рассказ.

«В один мрачный день,— говорил он,— мне все стало ясно. Моссар — любовник Каро. Я не мог больше терпеть этого. Его присутствие приводило меня в такую ярость, что я уже с трудом себя сдерживал. Я ведь не играл миллионера в фильме. Я был только дублером артиста, игравшего этого американца. Тот не мог танцевать, как я, и я заменял его в танце. Даже в фильме я был жалким подражанием богача. Это придумал Моссар для моего унижения. Я решил его убить в ту ночь. Мы очень горячие люди, сицилийцы. Вы меня спасли, не выдуманный звонок из Женевы, а вы спасли мою жизнь. Но тут же у меня явился замысел мести. Я знал, что этот безжалостный, холодный, мрачный человек, жадный до денег, имеет одну слабость — об этом он признался Каро, и она рассказала мне,— он суеверен, как последняя базарная торговка, как последний торговец краденым. Он боится примет и содрогается от всего, что так или иначе угрожает ему, хотя он смеется открыто надо всем.

И вот я решил, успокоившись, отложить кинжал, который было уже занес над ним. В тот вечер в ресторане мы крупно поговорили, в машине, в дороге, он оскорбительно отозвался обо мне. Я вспылил. Тогда он остановил машину и сказал:

— Убирайся.

Не знаю, что произошло бы дальше, но Каро уговорила его, умолила подождать попутную машину.

— Этой попутной машиной оказалась ваша,— сказал он.— Вот так вы меня спасли. И я приехал в Бейрут. Но, не спав остаток ночи, я утром отыскал Моссара. Он не хотел принимать меня и говорить со мной, но я сказал, что я отыскал его не для того, чтобы продолжать ссору. Он подумал, что я пришел просить прощения и

приносить извинения за вчерашний скандал. Он принял меня.

Я молчал сначала. Он издевался надо мной, говорил о том, что он хорошо знает горячий и быстро остывающий характер южан, о том, как он понимает жизнь, и если есть дураки, то их надо учить или уничтожать. Тут я вспомнил, что мне кто-то рассказывал про него, что он разбогател на темных делах, на сделках с итальянскими фашистами, усмехнулся и ничего ему не сказал.

Он продолжал:

— Если ты дурак, то правильно сообразил, что со мной лучше говорить мирно. А если ты такой храбрый, то попробуй бороться со мной. Я посмотрю, как это ты будешь со мной бороться!..

— Я не хочу с вами бороться,— сказал я,— вы и так скоро умрете, вы знаете это?

Он посерел и сжал кулак.

— Ты меня убьешь, что ли?

— Нет! Вы не спешите. Вы все равно умрете здесь! Вас убьют здесь! И убью не я!

— За что меня убьют? И кто?

— Не знаю кто, а за что... За вашу подлость, за то, что вы грязный негодяй...

Он усмехнулся мне в лицо.

— Не понимаю,— сказал он.— Эти слова — пустые слова. А где доказательства?

— Вы хотите доказательств? Пойдите в здешний музей...

— Я плюю на все музеи, пусть туда ходят такие бродяги, как ты.

— А вот подите, я вам советую, и вы увидите гроб с вашей физиономией. Пустой гроб. Он ждет вас. Приготовлен давно. Но вы были далеко. И он ждал и дождался. Теперь вы здесь, никуда не уйдете. Он ждал вас целую вечность. Час настал!

— Что такое, что за чушь! Ты сошел с ума! — воскликнул он.

— Я не сошел с ума. С ума сойдете вы. Идите и смотрите, и будьте вы прокляты!

Он побледнел, но сдержался. А я сказал еще:

— И Каро тоже не будет больше сниматься у вас.

Он сидел молча, потом сказал:

— Хорошо, поговорим после. Дай мне подумать. Приходи завтра.

Я знал, что он пойдет в музей. И увидит те гробницы, в которых нет ни одного покойника, я не знаю, куда они девались. Но на каждом каменном гробе изображение того, чей гроб. Эти головы просто удивительно похожи на сегодняшних людей. Я даже испугался сначала. И одна голова — это голова Моссара. Оказывается, он немедленно побежал в музей. И увидел гроб и свою голову. Он был так поражен, что ему там же стало худо. Я рассчитал верно. Его охватил суеверный ужас. Подлец дрожал, рассказали мне, как собака.

Когда я пришел на другой день в назначенное время, мне дали конверт с деньгами в расчет за съемки.

— Я хочу его видеть,— сказал я,— чтобы сказать на прощание два слова.

— Его нельзя видеть,— ответили мне,— его нет. Он улетел!

Оказывается, он бежал на самолете, летевшем из Бейрута в Париж. Но он бежал не один. Он увез Каро. Как он обманул ее — я не знаю. Как уговорил, чем купил — не знаю. Но он испугался своего гроба. Может, он в самом деле жил в древнее время. Ведь мы снимались в фильме, где тоже переселение душ. Он, может, и в древности был такой же подлец.

— Подождите, — сказал я, — а как же фильм и съемки?

— Я узнал у режиссера. Они переносятся на Кипр. Там тоже есть руины, как и тут. Есть, говорят, и свои шесть или семь колонн. Ну, если семь, одну снимать не будут. Я этого не знаю точно...»

Вот что я от него узнал! Что вы скажете, дорогой мастер, почтенный изобразитель современности Арсений Георгиевич?

— Скажу, что это удивительная история, и мы с вами не могли даже думать, что она так обернется...

— Все-таки этот бесстрашный обратился в бегство. Боится потустороннего мира. Прошлого нет, а прошлое и ухватило его за ногу. А этот Каэтани — он сказал, что пока устроился в одном из здешних кабаре и ему доставит удовольствие видеть нас, раз нам понравилось, как он танцует. После этого он сказал, что поклялся себе докончить Моссара, и пойдет по его следам, и найдет способ отобрать у него

Каро. Вот какая приключилась история. Будет что рассказывать дома, когда вернетесь. Ваши товарищи приезжают завтра вечером. Завтра утром можем пойти в музей, если хотите...

— Хочу,— сказал Латов,— только пойдем пораньше, пока еще не жарко.

В больших, просторных, прохладных залах нового музея почти не было посетителей. Несколько туристов с гидом стояли, почтительно согнув головы, и рассматривали изображение богини Астарты, похожей на крестьянку, надевшую к празднику новое платье. Туристы удивлялись простому изображению богини, обладавшей столь необузданными страстями и призывавшей к любовным неистовствам.

Какой-то сильно задумавшийся ученый стоял перед саркофагом древнефиникийского правителя Ахирама и записывал в маленькую книжечку свои соображения.

Научные сотрудники музея переставляли экспонаты в витрине в глубине зала. Латов и Куликов мельком разглядывали фигурки каменных человечков с удлиненными шапками, напоминающими уборы древних магов, фигурки с таинственными узорами на теле, сосуды всех форм, надписи на плитах и камнях, статуэтки, ожерелья, кольца, копья, барельефы, где разные божества принимали дары, где цари изображались как всевластные боги, распоряжающиеся судьбами простых смертных, где монеты и печати говорили о суете сует, бывшей в мире несколько тысячелетий назад. Они спешили в поисках тех гробов, ради которых пришли.

Но Латов все же остановился перед громадной рельефной картиной древнего мира, потому что она поразила его размахом и начертанными на ней дорогами, связывавшими в седую старину культурные центры тогдашнего мира. От голубого простора Средиземноморья, от финикийских приморских Тира, Библоса, Берита, Сидона, от Гелиополиса шли пути на Балх, Персеполь, на Памир, на Хараппу, Маханджедаро, Хастинанутра, через индийские долины и дальше в Паган и Нанькай.

Потом они увидели хорошо исполненных зверей на фреске древнего храма, увидели Орфея, окруженного зверями и птицами. В глубине зала перед ними предстал четко и точно

сделанный макет храмов Гелиополиса. Он живо воскресил в памяти день, когда Латов бродил между развалинами. Теперь он видел, пусть в уменьшенном объеме, храм Солнца, каким он когда-то был. Еще раз подивился он искусству мастеров, создателей совершеннейшей архитектуры, затмившей сооружения всех известных тогда городов земли.

И, наконец, перед ними в длинный ряд выстроились каменные гробы-саркофаги. Они выглядели так, точно их вчера закончили работой и принесли в музей. Века, пролетевшие над ними, не оставили никакого следа. Большие тяжелые гробы были пусты. Латов и Куликов смотрели на головы, высеченные в изголовьях. Действительно, они были удивительно современны.

Нелепая мысль пришла в голову Латова: «А вдруг я узнаю какого-нибудь знакомого?»

Он вглядывался в эти каменные лица. Кого они изображали? Артистов, общественных деятелей, ученых, жрецов, художников, властителей?..

Тот, кто делал их, видимо, старался сохранить полное сходство, он не льстил, а изображал то, что есть, вплоть до бородавок, до уродливых ушей, заплывших жиром щек, кривых носов.

Властное лицо, может быть, сенатора, упитанное и самодовольное, оказалось рядом с сухим, желчным, злым портретом философа с плотно сжатыми губами. А этот похож на артиста...

Сосредоточенные, вялые, суровые и нежные лица как бы обращались из своего загадочного далека: отгадай, кто мы?

Латов и Куликов шли вдоль длинного ряда, и каждый хотел первым сделать открытие. Но они остановились враз перед гробницей, которую искали. Они стояли в большом удивлении и даже в некоторой растерянности.

— А ведь похож,— сказал Куликов,— черт знает что, но похож!

— Я понимаю, почему Моссар испугался. При его суеверии! Бывает же такое! — воскликнул Латов.— Нет, посмотрите, просто здорово! Будто кто с него делал копию. И даже морщинки у губ и на лбу. И лоб его, и подбородок. Вот это совпадение! И тогда, оказывается, были Моссары...

— Я видел раньше эти гробы,— сказал Куликов,— и поинтересовался, чьи они...

— И что же оказалось?

— Этих гробов здесь двадцать пять. Часть их была раскопана до первой мировой войны, часть — во время войны. Кто в них должен был быть похоронен — неизвестно. Нет ни одной надписи. Есть такое объяснение: в те времена богатые люди заказывали себе гробницы загодя, чтобы хороший скульптор сделал не торопясь их последний портрет. Гробы уже с оконченными головами убирали на склад до дня, когда они понадобятся клиентам. Как видите, все гробы пустые, они остались невостребованными. Это говорит или о внезапном нападении врагов, когда и господа-заказчики и мастера — делатели гробов были застигнуты врасплох и уничтожены и уже не могли думать о спокойном погребении, или сильное землетрясение кончило все сразу — и город и жителей — и засыпало мастерскую. У нашего итальянца меткий глаз: он правильно заметил, что Моссара уже ждет гроб. Похож, черт! Он теперь в эту сторону со своим суеверием больше не подастся. Бесстрашие бесстрашием, а удрал в одну минуту. Говорил: плюю на прошлое, а боится, каналья, и прошлого и будущего...

Они расстались у выхода из музея, и Латов долго бродил один. Он не торопясь шел и думал о том, как завтра он улетит из этой страны, в которой был так мало и так много пережил; он думал о том, как они полетят через Париж и он обязательно сбегает на парижские бульвары, которые стоят в дымке апрельской листвы, на Сену, заглянет в Лувр, увидит сокровища живописи и скульптуры; потом будет полет домой, Москва, его встретят жена, близкие, друзья, и он будет рассказывать странную историю, случившуюся в развалинах храма Солнца, рассказывать долго, подробно, ничего не пропуская. Одни будут восторженно слушать и ахать, а другие — подсмеиваться, говорить, что он все это выдумал или что все это ему рассказали, а потом он поедет за город любоваться первыми весенними зорями, бродить по сосновому бору, видеть прилетевших грачей, и постепенно забудется эта дальняя поездка, и уйдет в туман все это странное, чужое, случайно вставшее перед его глазами.

В большой задумчивости он, сам не зная как, вышел к морю. И когда он увидел его, необъятное, несравнимое, колыхающееся, как будто шумно дышащее, живое, нежное и

тревожное, он сел на берегу, и по его волосам пробежал свежий ветер, как будто этот простор послал ему привет издалека, погладил по голове.

Это море звали Средиземным. На его берегах жили многие народы. От иных не сохранилось даже имен. Возвышались и рушились царства, приходили и уходили, как песок морской, поколения, изменялся вид его берегов, а оно оставалось таким же, каким увидел его кормчий первого корабля много тысячелетий тому назад.

Море было у самого берега бледно-зеленого цвета, но в этом прозрачном изумруде играли синие и белые искры. Уходя все дальше от берегов, синь и зелень темнели, и расстилались уже ярко-фиолетовые пространства, над которыми сверкала серебряная ослепительная полоса горизонта.

Слева в море сбегал гористый берег, над которым клубились белопенные сборища облаков. Едва-едва на берегу можно было разглядеть белые домики, над которыми все выше и выше вставали горы, темно-зеленые и вишнево-дымные, выцветшие, пустые, с коричневыми выступами.

Берег казался застывшим и сонным. Море колыхало большие легкие прозрачные волны. Латов увидел, как на бледно-зеленой площадке моря засиял как бы голубой шарф, брошенный Нереидой.

Ко всему тому это еще было море, напоенное весной. Тысячи лет оно радовалось весне и приветствовало тех, кто доверялся его большим, влекущим вдаль волнам. Земля была когда-то юной и веселой, и зеленые кедровые леса спускались, как дикари в зеленых шкурах, к пене прилива. Все дышало предчувствием новых дорог, новых чувств, новых открытий. Валились тяжелые кедры и становились кораблями, которые плыли в новые походы в неизведанные края, и перед этим люди приносили жертвы тем богам, чьи одинокие статуи стояли теперь, омертвев, в стенах того зала, где рядом с ними белеет макет Баальбека.

Латов сидел у самого моря и тихо следил, как к его ногам приходят изумрудно-голубые волны и как шумно хотят рассказать ему о той стране, откуда они пришли.

Там, вдали, показывая коричневую бугристую спину, среди вздымающихся бездн показывался темный, с блестящими, осыпанными пеной рогами бык — бог, укравший Европу и

уносивший ее в неизведанные края, стан Нереиды, игравшей с голубым шарфом, тени парусов древних кораблей, уходивших за подвигами...

Паруса таяли. Облачные завесы спускались все ниже, закрывая верхние ярусы гор.

Латов сидел долго во власти непонятных, смутных мыслей, почти сновидений.

И вдруг как бы из пены морской поднялись и встали перед ним шесть золотистых сказочных колонн. И он понял, что они навсегда останутся в его сердце и в его памяти.

Он сидел на темном балконе, в широком, низком кресле с откинутой назад головой. Сильные, влажные руки неподвижно лежали на коленях.

Спинка кресла была из бамбука, и сквозь легкую ткань рубашки и куртки он чувствовал всю жесткость ее шершавых плетений.

Душная, тяжелая ночь раскинулась над ним, над затихшими улицами и домами, в которых погасли поздние огни, над вековыми акациями, тамариндами, пальмами знакомого ему с самой ранней юности, священного для каждого бирманца города Мандалая.

Стояла такая звонкая, черная тишина, точно он был один в этой большой, неприютной, пустынной гостинице. Да, он снова здесь.

Его знают по всей стране, от угрюмых ущелий пени-

стого Чиндвина, голых Качинских гор до рисовых полей Великой Дельты, до зеленого архипелага Моргуи с его сотнями больших и малых островов. И все называют его просто — Сеяджи, что значит «великий учитель, великий старец».

Было у него имя, полученное при рождении, потом было у него другое имя, которым он подписывал все свои произведения, создавшие ему славу народного писателя: стихи и поэмы, пьесы, сатиры, рассказы, роман, где ритмическая проза перебивалась стихами. Но имя Сеяджи как бы увенчивало все труды его жизни, и он принял его и привык к нему.

Где бы он ни появлялся, всюду радовались ему, встречали его с поклонами, говорили с ним почтительно и сердечно. Так было и сегодня в Мандалае. Днем он видел великое множество людей, а сейчас ночь пришла разделить его бессонницу, его одиночество.

Неуклюже крутился под потолком фён, бесцельно рассе-

кавший неодолимую духоту. В это время года жаркая, влажная, сверкавшая мириадами раскаленных звездных осколков ночь была настоящим мучением для местных жителей, не говоря уже о заезжих иностранцах. Они могли поминутно бросаться под душ, или заворачиваться в мокрые простыни, или глотать ледяное виски, принимать разное снотворное — ничто не могло им помочь.

Они могли раздеться догола, лечь прямо на циновки, на каменный пол, и все равно они вскакивали, обливаясь горячим потом. Если же с отчаяния они пробовали завернуться с головой в одеяла, то тут же чувствовали, что их тела начинают рассыпаться кусками тяжелого пепла, как будто их заживо сжигают в крематории.

Мандалайская ночь беспощадна. Темным жаром пышет каждый угол комнаты, горячий зной стекает с неподвижных, покрытых черной листвой деревьев, влажность плавает в воздухе, который не дает ни глотка прохлады.

Сейджи с детства привык к таким ночам, к иссушающей темноте. Он сидел прямо, откинув голову назад, и смотрел в ночь печальными, усталыми глазами.

Его лицо блестело от пота, и он вытирал его время от времени большим клетчатым платком. Ему было трудно дышать. Годы брали свое. Последнее время его часто посещала бессонница. И сегодня такая ночь — сна не будет.

Он расстегнул ворот двубортной легкой оранжевой куртки. Под ней влажная и неприятно липкая белая рубашка. Под пальцами ломко шуршали новые серые с зелеными полосами лонджи. Он скинул сандалии. Его любимая палка с инкрустациями поблескивала из угла узорчатыми украшениями.

Он сидел, тяжело дыша. Морщины на его блестящем от пота бронзовом лице были резко обозначены. Седые усы точно вспенились, повлажнев. Он смотрел на большое, темное, темнее ночи, дерево. Оно вставало, расплываясь в темноте у балкона, как будто ждало, когда можно будет заговорить с великим старцем о своей долгой жизни.

Фён визгливо гонял под потолком горячие волны. Слегка шевелилась, смутно белела раскрытая противомоскитная сетка над кроватью. Сейджи смотрел в ночь, и на ее лаки-

рованном черном экране перед ним плыли, дробясь, мелькали картины, обрывки долгого, только что прошедшего дня.

Он прилетел в Мандалай на старом, дребезжащем, как телега, самолете, который еще залетал передохнуть в Хехо, прежде чем доставить Сеяджи на место. Уже на аэродроме его окружили тысячи людей. Тут перемешались и горожане и приехавшие увидеть его крестьяне из окрестностей. Многие махали голубыми флажками. Дети в национальных костюмах били в барабаны, играли на трубах, пели. Улыбающиеся золотощекие девушки в белоснежных блузках, в розовых, синих, красных праздничных, расшитых всеми узорами юбках, с лучшими ожерельями на смуглых шеях, с цветами в руках кричали ему нараспев приветствия, провозглашали лозунги, подносили цветы.

Потом его посадили в большую черную машину, в которую накидали много белых и розовых цветов. Она медленно двинулась. За ней следовал целый поезд машин. Впереди шел «джип» с голубым флажком мира. Сидящие в нем непрерывно возвещали о том, кто следует за ними.

Улицы города шумели, как в дни храмового праздника. Незаметно наступил вечер. Засияло много огней. Собрание назначено было в старом, прославленном монастыре. Вокруг Сеяджи теснились монахи. Их оранжевые одеяния вспыхивали, как гигантские цветы. Звучали гонги, призывавшие на собрание. Где-то гудели барабаны.

Зал не мог вместить всех желающих видеть и слышать Сеяджи. Стояли во дворах монастыря, во всех переходах, на улице. Всюду были репродукторы. Стульев в зале не хватило. Люди расположились на полу, в проходах, даже сзади сидящих в президиуме. Было тесно и душно. Ни один человек не ушел. Сеяджи взглянул на первый ряд. В новых, гладких, как будто накрахмаленных желтых одеждах сидели совсем молоденькие монахи, почти мальчики. Он улыбнулся им, вспомнил — сам был таким. Сухие, похожие на высушенных стрекоз старухи курили свои толстые зелено-серые сигары. Клочья дыма плавали в воздухе, как от чудовищных курильниц.

Читали разные приветствия, стихи, речи. Потом попросили Сеяджи, чтобы он сказал свое слово. Он всегда высту-

пал охотно, сильно. И сейчас почувствовал себя как в далекие прошлые времена, говорил долго, пускал шпильки в тех, кто сидит там, наверху, в Рангуне, и занимается не тем, чем нужно.

Все там у них уходит на пререкания, на взаимные упреки, на бесплодные рассуждения, а надо идти дальше по пути полного освобождения народа, чтобы он имел жилище и землю, чтобы он не голодал, чтобы ему хорошо жилось. А вы, монахи, когда-то здесь, в этом монастыре, на этом месте, поднимали народное знамя, помогали народу, вставали против англичан. Помните те годы? Вы звали народ к восстанию против захватчиков из-за моря — против самураев! Вы умели говорить, а теперь почему молчите?! Где ваши слова, где ваши дела? Эх вы, монахи!

Он мог бы еще долго говорить. Он громил спекулянтов и власть имущих, смешил людей резкими народными анекдотами, вспомнил, как в свое время написал острые стихи про одного министра, который уж так заискивал, так подлаживался к англичанам, что очень походил на обезьяну, целый день носившуюся по лесу как сумасшедшая с дерева на дерево и оравшую все одно и то же. Порезав о ветку то, что является украшением каждого обезьяньего самца, она взвилась и заорала уже по-другому. Таков был этот министр, на которого сегодня похож кое-кто...

Народ смеялся и шумно кричал от восторга. Сеяджи был в ударе. Вспомнились те времена, когда речи его звали бирманцев к действию, но сейчас он стал говорить о том, как нуждаются люди, чтобы был мир, призывал к бдительности против империалистов, которые, как притаившиеся хищники, следят за внутренними распрями в Бирме, а потом, глядишь, сговорятся и набросятся, чтобы снова разорвать страну на куски...

Он понял, что надо кончать, и, помахав залу рукой, сел. Потом пели монахи, речи иссякли. Все пошли из зала. Девушки опять поднесли Сеяджи цветы — сладко пахли в маленьких горшочках нежные орхидеи, ярче их блестели глаза девушек. Все пестрое общество достигло гостиницы, где начался ужин. Много ели и пили, и опять вставали разные почтенные люди, и говорили речи, и подымали сладкой водой тосты за Сеяджи, за гостей, за мир.

Танцевали местные балерины, со всеми тонкостями соблюдая классические правила, но Сеяджи особо понравился выступавший после красоток замечательный жонглер. Это был мастер игры в чинлон. Он так ловко перекидывал сплетенный из прутьев бамбука мяч, что можно было забыть все, следя за его невообразимыми движениями. Удивительно управлялся с мячом этот молодец! Мяч то взлетал к потолку, то исчезал в зале, то снова прыгал в руке искусника. Сеяджи и сам когда-то неплохо играл в чинлон, но этот человек — колдун своего дела!

Сеяджи устал от дорог, от долгого дня, от этих бесконечно повторяющихся торжеств. Но что он мог сделать, если все хотели отметить его восьмидесятилетие!

Подумать только — он живет на свете уже целых восемьдесят лет!

Разве видели те, кто его чествует, то, что видел он?

В такую бессонную ночь невольно спускаешься в подвалы памяти, блуждаешь по близким и дальним годам, ворошишь воспоминания, ставшие легендами. Сколько он видел, сколько пережил в одном этом старом Мандалае!

Вон сверкает в ночи видная с балкона белая полоска воды. С детства знаком ему широкий, глубокий ров, заросший сегодня камышом, кувшинками, травой. Ров обходит остров, на котором жили когда-то могущественные владыки Бирмы.

Сюда, за высокие красно-белые стены с зубцами и бойницами, вход простым смертным был запрещен. Тут был особый мир роскоши, наслаждений и красоты. На золотом троне сидел повелитель, в Лилейном павильоне с золочеными колоннами жила королева. Кругом стояли сказочные каменные и деревянные павильоны, над ними возносил золотой шпиль главный дворец. Выгнутые мосты с узорными крышами вели из города в этот спрятанный от жизни уголок.

Сегодня можно пройти между поредевших деревьев пустынного парка, постоять над прудами, покрытыми тиной и лотосами, увидеть груды щебня и мусора на террасе, где пустота забвения и горячая пыль.

Японские и английские бомбы начисто смели с лица земли прекрасные дворцы и пагоды, которые давно уже не знали королей. Может быть, только он, Сеяджи, единственный, кто хорошо помнит те далекие дни семьдесят лет назад, когда ему было десять лет и он бродил, охваченный тревогой,

вместе с мандалайцами возле стен и мостов и видел, какое смятение царит вокруг. Видел солдат в красных мундирах, тащивших, именно тащивших, так ему тогда казалось, по мосту спотыкавшегося последнего короля Бирмы — неудачливого Тзи-бау.

Он хорошо помнит солдат, бегавших с факелами, стрелявших и вопивших, грабивших дворцы острова. Потом иные из них пьяные валялись на площади, в пыли, иные хватали кричавших, как птицы, девушек прямо на улице. Он видел разбросанную на лужайках сломанную мебель, старые книги, истоптанные тяжелыми солдатскими сапогами.

В руках солдат блестели золотые статуэтки, осыпанные драгоценными камнями, вышитые шелками наряды, дорогие кувшины и чашки из дворцовых комнат. Стояла завеса дыма и пыли. Множество голодных, исхудалых собак бродило повсюду. Еще он помнит маленькие костры у домов. Вокруг них толпились возбужденные мандалайцы. Английские солдаты волокли по улицам тела расстрелянных бирманцев, которых они называли почему-то разбойниками. А это были люди, которые сопротивлялись захватчикам.

Но все же больше всего запомнилась ему та толпа красномундирников, которая гнала последнего короля из дворца к пароходу на берег Иравади. Люди говорили разное: одни — что король был добрым к простому народу, а что все плохое делала его жена, властная и злая женщина, другие поносили короля за разорение страны, за жестокости и бессмысленные казни. Мальчик же видел одно: вот так кончается власть земных всесильных владык, на смену которым приходят заморские владыки в красных мундирах и черных сюртуках.

Но прошли времена, и старый, умудренный всем опытом долгой жизни Сеяджи стал свидетелем того, как эти новые владыки в пробковых шлемах, надменные и жестокие англичане, тоже обратились в бегство, и это бегство было самым обыкновенным зрелищем. Они бросали свои бунгалоу, свои банки, резиденции, хватали грузовики, нагружали их всем, что попадется под руку, выстраивались в очередь на самолеты, грузились на пароходы, набивали вагоны железной дороги, уезжали даже на мотоциклах и велосипедах. Так кончалась их власть, длившаяся более полувека...

Их сменили новые владыки, маленькие, мрачные желтолицые люди в хаки, на знаменах которых было восходящее солнце. Низкорослый, широкоплечий генерал, прославившийся тем, что он положил начало японскому завоеванию Китая, гордо провозгласил эру «великого восточноазиатского совместного процветания» и поздравил бирманцев с тем, что Бирма входит в сферу этого процветания. Пусть народ Бирмы радуется...

Затем начались те же грабежи и убийства, какие были и при англичанах. Страна стала жить во власти тиранов, безжалостных, коварных и жадных. Они грабили так, точно у них дома ничего не было. Они вывозили все продукты, все станки и машины, все научное оборудование, изделия народных мастеров, материи, мебель, посуду — все, что опи находили в домах, в лавках, в музеях.

Англичане, отступая, взрывали нефтяные скважины, взрывали мосты и дороги, топили корабли, портили машины, чтобы они не достались японцам, забывали, что это — народное имущество и оно принадлежит не англичанам, а бирманцам. Японцы и англичане бомбили города и селения. Города горели, как бамбук, падали древние сооружения, в развалины превращались создания великих мастеров. Бирманцы брали оружие и уходили в джунгли, чтобы бороться с новыми угнетателями. Как жалел Сеяджи, что он стар и не может держать в руках оружие!..

Но пришел конец и «великой восточноазиатской эре совместного процветания». Гордый генерал со злыми глазами и коварной, сладкой улыбкой, сидевший, как на троне, в Мандалае, в один мрачный для него день обнаружил, что армия, которая должна была под его руководством завоевать Индию, вдребезги разбита, развалилась, превратилась в толпы бегущих от возмездия зарвавшихся завоевателей. И гордый самурай исчез так поспешно, как будто его никогда и не было в Бирме.

Из лесов выходили бирманские партизаны и отбивали транспорты риса у бегущих самураев, спешивших поскорее оставить страну, которую они ограбили и усеяли трупами мирных жителей.

Так видел Сеяджи их всех — властителей, по очереди обращенных в бегство! Когда будут убегать последние — не чужие — свои угнетатели: помещики, ростовщики, спекулянты, когда народ будет совсем свободен? Если бы

дожить до этого великого дня! Может быть, наградой за все твои труды, за всю жизнь будет это зрелище! Надо дожить! Надо проверить себя на грани лет — подходят трудные годы, вот и в эту душную ночь не так дышится, как прежде.

...В этой ночной тьме рождаются горячие, неведомые волны, точно прибой давно отшумевших страстей и сомнений ударяет в сердце. Видения Мандалая проходят по ночному экрану.

Вот сейчас Сеяджи всматривается в какой-то золотистый блеск, уходящий в синюю полутьму. Перед ним возникает тот золоченый, с неземным спокойствием Будда знаменитого монастыря, в котором было собрание. Он поклонился ему, проходя в зал, как господину этого дома, как скромный гость высокому хозяину.

И сейчас же он увидел себя погруженным в зной не мандалайской ночи, а широкого, блистающего полдня. В тени исполинского баньяна, захватившего полполяны рощей своих многочисленных стволов, под навесом густой темно-зеленой бесчисленной, как народ, листвы сидел человек, при одном взгляде на которого было видно, что он отказался от всего земного.

Он сидел в священной позе молитвенного раздумья, глубокого, как самогипноз, говорившего всякому, что перед ним ищущий пути. Он разгадывает тайну земных страданий, он уже равнодушен ко всем соблазнам, никакие страсти не поколеблют его каменного сосредоточения, он ждет встречи и слияния с Великим Просветленным, чтобы понять последнюю мудрость мира.

Он сидел совершенно голый, и контраст этого высохшего, аскетического тела и роскошной силы цветущего, сияющего пышной зеленью баньяна был так разителен, что Сеяджи — он был тогда молод и впечатлителен — не мог не остановиться, пораженный многими мыслями.

Да, есть и такой способ совершенствования. Он сам носил оранжевую тогу, читал священные книги, думал, как постичь совершенство мудрости, он знал, что такое Трипитака — Три корзины учений, где записана мудрость самого Гаутамы Будды.

Но здесь, на поляне, пели птицы, цветы, наклоняемые слабым ветерком, точно танцевали в восторге, славя расцвет красок, силу жизни, переливающуюся в самом малом расте-

нии, в пыльце крыльев бабочек и в тяжелых, могучих одеждах великанов леса.

Мир гудел всеми звуками, окружая аскета с потухшими глазами, глухого ко всему разнообразию жизни. Пусть он достиг нирваны, но его душа умерла для радости. А ведь сам Гаутама любил людей, и разве он в силу этой любви не оставил людям плот, на котором он переплыл поток страданий? Вот он, выбор между мертвым последним отъединением от людей и жизнью, полной борьбы, страданий и человеческой радости. Для Сейджи не было этого выбора. И он поспешно оставил цветущую поляну с мрачным украшением в виде отшельника, отрекшегося от жизни, и пришел в деревню, увидел рисовые поля, крестьян, стоящих в темной теплой воде, и обрадовался труженикам, которых можно было назвать настоящими кормильцами родной страны.

Сейджи хорошо помнит и другой день, когда он шел с крестьянами, выжигавшими джунгли под новое поле. Он шел ранним утром, пока еще была прохлада. Тропа вилась по скату холма над ручьем, вырывшим свое ложе глубоко внизу. С тропы были хорошо видны джунгли, и старый крестьянин остановил его и сказал шепотом: «Смотри!» Он посмотрел. На той стороне ручья, в небольшой ложбинке, между кустами акации, перевитыми лианами, на густой траве спал, раскинувшись, как большая сытая кошка, полосатый зверь. Он спал крепким сном, уверенный в своей безопасности, солнце играло на его лоснящейся спине, как будто гладило, любуясь красотой хищника. Крестьяне прошли тихо поверху, по тропе, все время оглядываясь на тот берег, где лежал тигр. Потом один из них сказал: «Господин леса отдыхает! Не будем его будить».

Золоченый, тихий, мудрый Гаутама Будда, Великий Просветленный, был господином мира, полосатый спящий тигр был господином леса. А разве эти спокойные, уверенные в себе, неутомимые, скромные труженики — крестьяне, лесорубы, рыбаки, ремесленники, люди разного труда, — разве они не господа жизни? Они господа!

Такин — это господин! А тогда называли такинами только англичан! Сейджи стал одним из учредителей того общества, участники которого стали звать себя «такинами», а общество они назвали «До Бама асиайоун» — Бирма для бирманцев! Мы — бирманцы, мы — такины!

Как давно это было, как давно! Тот баньян, под которым сидел отшельник, наверное, уже захватил всю поляну своими воздушными корнями, тот отшельник уже давно растворился в вечной нирване, тигр прожил свой звериный век, а Сейджи в бессонную ночь в Мандалае сидит в широком, низком кресле и ест какие-то чудные лепешки, приготовленные для него его другом — знатоком трав и цветов. Эти лепешки, как бетель, дают прохладу, освежают сухой рот и не имеют красного красителя, который надо отплевывать ежеминутно.

Совсем не трудно не спать целую ночь, когда тело погружено в молчание, а воображение сменяет, работая вместо сна, одно воспоминание другим. А между тем эта бесконечная ночь, мучающая все живое духотой и влажностью, все же движется по заданному ей пути, и уже не так далеко до зари.

Его чествовали вчера в Мандалае, потому что он был живой историей страны. Он был писателем, которого называют основателем современной бирманской литературы. Он был патриотом. Чувство национального достоинства он сделал всеобщим достоянием.

Дух революции всегда жил в нем. В день Сопротивления, в весенний мартовский день 1945 года, он был счастлив, когда решили поднять всеобщее народное восстание против японских империалистов. Теперь уже выросли деревья на той лужайке у Шведагона, где было принято это решение.

Потом он стал борцом за мир. Он увидел далекие, неизвестные ему страны, большие города, где собирались люди разных народов, чтобы поднять свой голос против атомных вооружений, призвать людей всего мира на борьбу с угрозой новой войны.

Сейджи видел Европу, ходил по ее древним площадям и улицам. Больше всего ему понравились красные звезды над Кремлем. Он смотрел на них вечером, и они казались ему большими, сильными птицами с красными крыльями. Ему нравилось в Москве; он хотел, чтобы и Бирма вступила на путь социализма, единственный нужный ей путь; ему нравилось, что советские люди провозгласили труд хозяином жизни! Он стоял на берегу Волги, и она напоминала ему родную Иравади, только на берегах русской реки не было пальм и пагод. Он был в далеком Пекине, летал над самы-

ми высокими горами мира и всегда думал о Бирме и ее будущем.

Как и всем народам, ей нужен мир, а в ней тлеют угли гражданской войны.

Он сам писал, негодуя, об этой драме людей, которые по разным причинам ушли в джунгли, не хотят ни о чем слышать; с ними так трудно разговаривать, а надо всем вместе жить и работать для родины.

Много еще в мире бездомных, голодных тоже достаточно, развалин после войны осталось немало. А он сам — есть ли у него на старости лет спокойный приют?

Однажды в Рангуне друзья хотели проводить его с собрания домой. Они были не бирманцы, они были из одной хорошей страны. И он сам, не зная почему, вдруг сказал: «Домой? У меня нет дома...» Они удивились искренне, решив, что он шутит, и он пояснил: «Мой дом — это поле битвы! Я сражаюсь с зятем, мне не нравятся его убеждения!»

У него небольшой, скромный дом в Рангуне. Когда на его улице натягивают экран и показывают фильмы, машинам не проехать, и мальчишки останавливают их и, только узнав, что едут к Сейджи, пропускают их дальше, но к самому дому все равно не подъехать. Но не в этом дело...

Дело в том, что ему восемьдесят лет! Жизнь прошла! Великие дела, великие труды, от которых болят старые кости. И великое одиночество. Все позади! «Мы идем от одного обольщения к другому,— сказал Просветленный.— За новыми разочарованиями встает новый соблазн!» Мудрый Гаутама прав и неправ!

Если есть очарование старости, он испытал его. Это радость того священного баньяна, что стоял на цветущей поляне его молодости, сознавая свою силу и превосходство над всяким ложным движением. Это и мудрость познания мира. Он знает все, что не знают молодые поколения. Он видел то, он испытал то, чего они не видели, не испытали. Есть у него разочарования, есть, но...

И есть соблазн все оставить и как-нибудь вот такой бессонной ночью встать, взять свою палку как дорожный посох и уйти, уйти из дома, из города и пойти в ночь как странник по стране.

Идти через всю страну не спеша, вставая с солнцем, ложась с темнотой. Всюду каждый день видеть людей и говорить с ними о жизни. Раствориться в народе, как в годы юности. Видеть, как трудятся на полях, как играют дети у порога своих родных домов, что стоят на сваях, видеть матерей, кормящих младенцев в тени семейного дерева, говорить с деревьями, с ручьями, с облаками, несущими влагу полям...

Выезжать с рыбаками в море, разговаривать с нефтяниками из Магве, с учителями, призванными просвещать молодежь, с горцами-лесорубами, знающими тайны лесов, с пастухами, пасти с ними овец под сенью шанских сосен или пробираться в лесах Акьяба, видеться с друзьями, старыми монахами, участниками Сопротивления, пойти в самые дебри джунглей и говорить с теми упорными людьми разных взглядов на жизнь, что ведут бессмысленное существование, опасное и непонятное, с этими одичавшими от долгой жизни в глуши... Да, все это было бы замечательно!

После дня, проведенного в дороге, хорошо заночевать в деревне, среди простых друзей, есть любимый карри, острый, пряный нгапи и рис, отваренный в рыбьем бульоне, сладостный таджантхамин, пить чай с солью и сахаром и спать на бамбуковой циновке под высокой луной.

Вот уж эта бессонная ночь Мандалая! Сколько чудесных видений ты приводишь в своей завораживающей тишине! Но, может быть, уже поздно думать о новых дорогах, когда кончается главная дорога? Может быть, уже итог жизни где-то рядом? И смерть совсем близко и наслаждается мечтами старика, который с таким трудом дышит и собирает последние силы... Смерть — это тоже бессонница, тоже ночь!

А может быть, в нем говорит смертельная усталость? Ночь Мандалая, ты можешь сказать, что такое жизнь? Ты отвечаешь, как поэт поэту, как мудрец мудрецу: «Это священный поток Иравади, вечно стремящийся с гор через ущелья, долины и равнину в море. Солнце сменяет мрак, встает новый день, новые волны приходят с севера, от снежных вершин, новые лодки, новые люди в лодках проплывут в вечных берегах, и снова настанет ночь, и каждую зарю встречает новая река, потому что Иравади обновляется непрерывно».

И он проплыл берега, которые ему положено проплыть, и к ним уже не вернуться больше. Его лодка идет в Великую Дельту и оттуда в широкое, нескончаемое море вечности.

И только запах земли, как яркий, ни с чем не сравнимый запах цветка гонго, душный как эта ночь, будет с ним до конца.

И бесстрастная улыбка золоченого Будды, господина мира, там, на горе, в храме, куда ведут девятьсот ступеней, которые он не раз одолевал. Там есть скульптурные композиции, которые изображают жизнь человека с рождения до смерти. Там есть и Будда с кинжалом над спящей женщиной. Там есть женщина с ребенком. И все они подвластны закону исчезновения, и юные и старые. Там есть и Дух со своим войском, призванный охранять храм, но японские солдаты отбили всем его воинам головы, чтобы остаться в победителях. Но и тех японских свирепых солдат больше нет, как нет и женщины с ребенком и спящей женщины. Их жизни проплыли, как лодки по Иравади к морю.

Может быть, сегодняшняя ночь последняя и для него... Ведь смерть может стоять за этим черным, как облако, деревом. И смерть — это тоже бессонница, тоже ночь!

Но иногда она приходит только посмотреть на человека. И отступает, посмеиваясь. Она умеет шутить.

Раз в жизни он испытал это. Он ехал в поезде из венгерского города Будапешта в Советский Союз. С ним ехали в вагоне его соотечественники и представители разных азиатских стран. Вагон трясло и качало из стороны в сторону. Он был один в купе, и ему было совсем плохо. Помимо того, что он безумно устал, он, видимо, простудился, европейское лето хуже бирманской зимы (хотя трудно в Бирме установить времена года). Ну, все равно... Он спал урывками, просыпался, его знобило. Сны носились, как бред, и не были вполне снами. Это были, как сегодня, видения прошлого. Ему казалось, что он просто никуда не доедет, умрет в дороге. Он с трудом закутался в плед и впал в забытье. Время остановилось.

И вот после долгого, тревожного сна он почувствовал, что вагон вместе с ним медленно, как бы подчиняясь неведомой силе, поднимается в воздух, плывет вверх, точно вдруг стал вертолетом.

Но, как известно, с вагонами ничего подобного происходить не может.

Он сначала не отдавал себе отчета, как человек, подчиняющийся неизбежности совершающегося. Ясно, что это явление неземного порядка и, может быть, касается только его одного.

Он сначала хотел сопротивляться, но вдруг мысль, что это и есть смерть, смутила его сознание, и он покорно отдался этой мысли и лежал с закрытыми глазами, удивляясь только своему спокойствию и непрерывному, чуть скрипящему движению вагона, устремляющегося вверх. Какая-то странная тишина!

Может быть, все ощущения теперь касаются только его и вовсе это не вагон поднимается в небо, а его душа свободно уже витает, а жалкое тело не понимает, что происходит акт великого процесса природы, который каждый может ощутить только раз в жизни...

Появилась необыкновенная ясность происходящего, ничего не меняющая в его телесном облике, даже боль и усталость прошли. Но тут какой-то резкий толчок заставил его сесть на диван, и он, не отдавая себе отчета, поднялся, опираясь на вагонный столик, последним, судорожным движением опустил раму и высунулся из окна.

В открытых окнах медленно поднимающегося вверх вагона виднелись лица его друзей из Бирмы, Индии, Цейлона, и на этих лицах, мужских и женских, были написаны все чувства — от настоящего испуга до простого удивления. И они смотрели на него, как будто ждали, что он объяснит им, что происходит.

Он видел вдалеке какие-то сараи, постройки с красными крышами, телеграфные столбы, дорогу, бегущую неизвестно куда.

Тут слева раздался тихий, но искренний смех, удивительно четко прозвучавший в тишине раннего утра. Он взглянул, еще ничего не понимая. На маленькой пустой деревянной платформе стоял аккуратный, в высоком белом тюрбане и в черном сюртуке, так хорошо знакомый ему индийский писатель и ученый из Амритсара и смеялся тихим, хитрым смехом.

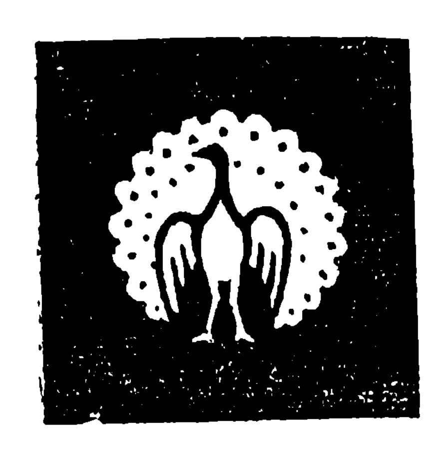
Вагон действительно медленно поднимался вверх, но ему было видно, почему это происходит. Никакого чуда не было.

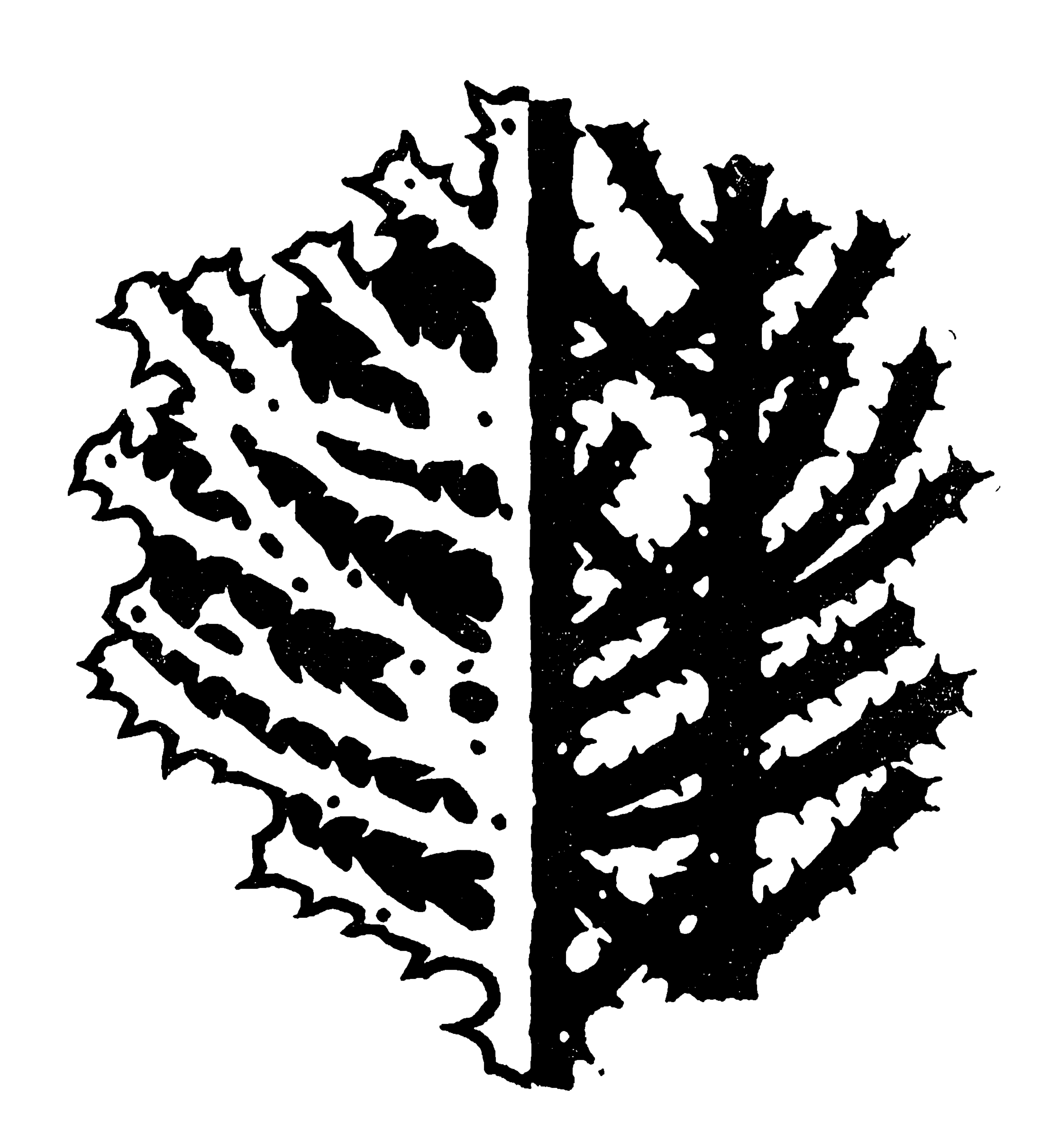
Вагон отцепили от поезда и отвели на запасный путь, по-

тому что надо было менять вагонную тележку. Кран приподнял вагон медленно вверх, и железнодорожники начали ставить его на новые катки, чтобы он мог идти по широкой колее прямо в Москву. Остальной состав поезда дальше пограничной станции не шел. Пассажиры пересаживались в другой поезд. Вот и все...

Сеяджи засмеялся и сейчас, вспомнив то венгерское утро. Глаза Сеяджи закрыты, но все равно сна не будет. Он съест все лепешки, которые заменяют бетель, приносят освежение, снимают усталость. Можно вспоминать до утра.

Что только не вспомнится в бессонную ночь в старом Мандалае! Особенно когда тебе уже исполнилось восемьдесят лет. Подумать только — восемьдесят лет!



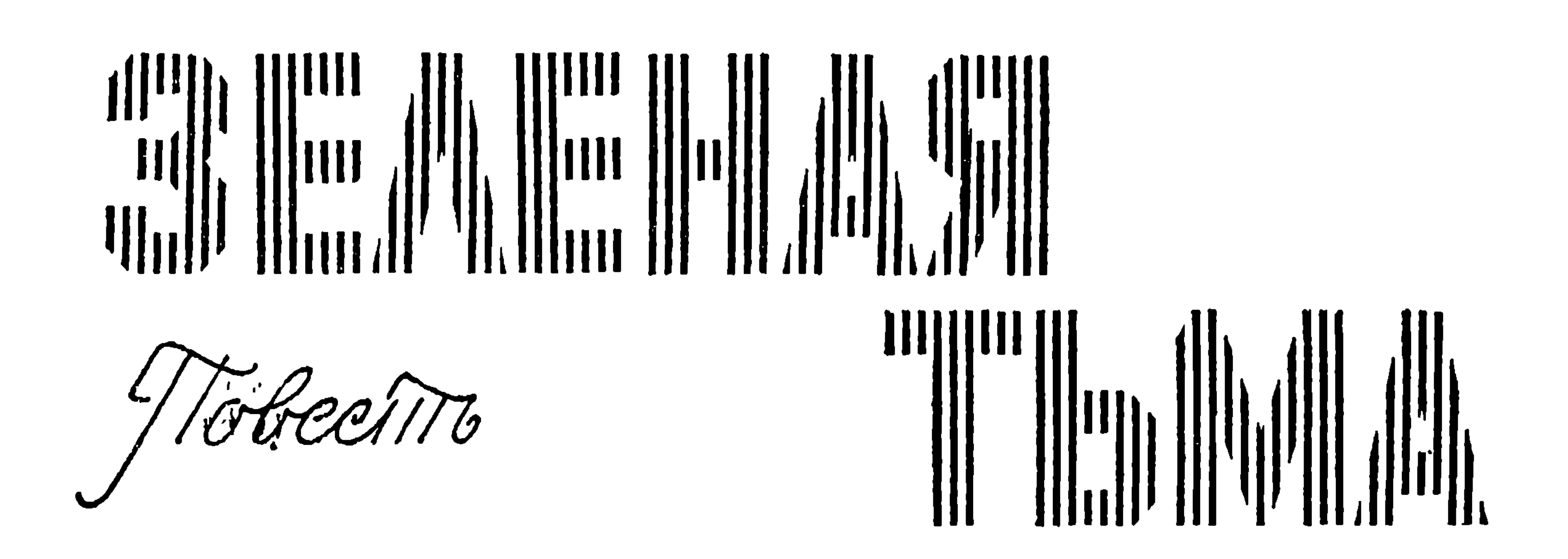


— Гереро? Ты спрашиваешь про гереро? Ты сейчас о них узнаешь!

Старый отставной генерал инженерной службы специального африканского корпуса Ганс фон Дитрих, в грубой, давно отслужившей свой срок охотничьей серой куртке, пошел, хромая, задевая тяжелые кресла, в угол своего кабинета.

Пошарив за большим шкафом, он вернулся к письменному столу, шутливо потрясая ветхим черным копьем с пыльным, тусклым наконечником. В другой руке он держал продолговатый узкий щит, цветные узоры которого стерлись от времени, и он казался игрушечным и бутафорским.

— Вот гереро! — сказал он, ставя копье в корзину для



бумаг, прислонив его к стенке и выставив щит перед столом.— Ты будешь смеяться, а в те времена тысячи чернокожих воинов, вооруженных вот такими копьями, сражались против наших войск и были не таким легким противником. Они, правда, не мазали наконечники копий и стрел ядом, но метко пускали стрелы и метали копья со всей яростью одержимых. Видишь ли, им не нравилось, что немецкие поселенцы стали возделывать лежавшие без всякого проку роскошные африканские земли. Они ввязались в непосильную войну, и эта война длилась долго, целые годы, пока мы не приняли серьезных мер...

— И что с ними стало? — спросил Отто вежливо и равнодушно, потому что ему было совершенно все равно, какая судьба постигла несчастных гереро, вздумавших потягаться с императорскими войсками.

Ганс фон Дитрих пренебрежительно махнул рукой:

— От них осталось воспоминание и земли, которые мы,

немцы, сделали цветущими и которые у нас потом незаконно, грабительски отобрали англичане. Им сегодня потомки наших гереро и готтентотов доставляют большие неприятности. Так им и надо! Просто странно слышать, что есть люди, которые хотят уверить мир, что африканцы что-то могут сказать человечеству. Это смешно! Но богатства, которыми обладает там земля, и посейчас неслыханны. Мне, как ты знаешь, в юности удалось побывать у дяди Рихарда в гостях, и я был в полном восторге от того, что увидел. Там было все, чем тропическая природа может одарить человека: слоновая кость, каучук, фрукты, пальмовое масло, кожи, золото, алмазы, разные руды. Немецкие колонисты завели образцовое хозяйство...

— Там, наверное, вы имели, дядя, много романтических приключений?

— Приключений? Было кое-что, было... Я много странствовал, охотился на слонов, на жирафов, на крокодилов. Однажды я, сознаюсь тебе, испытал настоящий страх. Я бежал от раненого черного буйвола, и он преследовал меня со всем упрямством дикаря, уже пораженного насмерть. Я бежал, задыхаясь, успел только вскарабкаться на кирпичную стенку фермы и даже не имел сил перепрыгнуть на ту сторону ограды. Я лежал на стене, а буйвол бил рогами в стену ниже меня, и я до сих пор помню его косматый затылок и глаза, похожие на два кровавых шара. Его добили охотники, а если бы я не добежал до этой спасительной стены, я бы не говорил сейчас с тобой... Африка — это Африка...

— Дорогой дядя, я ведь еду не в Африку, а в Азию, я еду в Бирму по вашему совету, по вашей протекции. И кроме того, времена сильно изменились...

Ганс фон Дитрих печально вздохнул и, нахмурясь, оглядел шкафы, где покоились большие устаревшие тома в черных переплетах и связки карт, которые больше не пригодятся в жизни. Отто скучающе смотрел на выцветшие, пожухлые картины, изображавшие битвы прошлого, где рядом с Вейсенбургом были Форбах и Сен-Прива, на истертые ковры, чучело ссохшегося крокодила, рога антилопы, мебель, сделанную почти сто лет назад. От всего этого веяло пыльной тоской, скукой и безвыходностью. И сам дядя в своей сильно потертой куртке, с седыми, коротко подстриженными усами походил на замшелого гнома, стерегущего пещеру устарев-

ших кладов, не имеющих никакой ценности в глазах молодого поколения.

Ганс фон Дитрих вздохнул еще раз и, усевшись поглубже в кресло, заговорил, как ему казалось, о самом главном. Эти рассуждения Отто слышал не впервые, но все равно сегодня надо слушать особенно внимательно, потому что завтра он все-таки улетает в Бирму, и не стоит обижать старика перед самым отъездом.

— Дорогой Отто, я не раз уже говорил с тобой на эту тему. Молодые люди всегда иных мыслей, чем их отцы и матери. Да и, кроме того, вы, молодые, принадлежите к особому поколению. Вы мальчиками видели трагическое падение Германской империи, когда в крови, в дыму, в развалинах, казалось, исчезает все и больше нет никаких опор, кроме отчаяния и бессильной ярости. Вы могли вырасти людьми, почти лишенными всех свойственных настоящему немецкому человеку чувств, потому что оккупанты — враги нашего отечества — могли воспользоваться нашей тогдашней слабостью и внушить вам презрение и неуважение к родной истории, к родным традициям. Но этого не произошло. Сами враги поняли, что мы сильный народ, который возродится при любых обстоятельствах. И мы возродились. Мы снова богаты и сильны. Почему я заговорил об Африке? Потому что ты, Отто, сегодня в Азии будешь тем, кем был я в свои молодые годы в Африке. Ты продолжишь дело твоих предков — дело создания Германской колониальной империи. Это требует новых форм, новых подходов. Всюду, на всех материках мы будем оказывать помощь только что освобожденным странам, прогнавшим колонизаторов — англичан, французов, голландцев, странам, начинающим развиваться самостоятельно. Мы в их глазах не колонизаторы, и мы должны быть друзьями, советниками, помощниками, совладельцами предприятий, людьми, необходимыми в экономической жизни страны, а потом и в политической. Все-таки без нас этим древним, уставшим, давно истратившим всю энергию, выродившимся народам не встать на ноги. Мы им должны помочь. Ты, Отто, один из тех, на кого выпала эта почетная честь. Я направляю тебя в крепкие руки своих старых друзей, уже много сделавших для развития нашего влияния в Бирме. И ты не должен забывать, что ты приходишь в страну, где не доверяют белому человеку, потому что он слишком долго проявлял свою нетерпимость и силу, только силу. Ты являешься представителем народа европейского, но не имеющего колоний, никого не угнетаю-

щего. Но это не значит, что ты должен быть запанибрата с желтым человеком. Нет, ты должен оставаться гордым, властным представителем Великой Германии и никогда не должен забывать, насколько ты выше этих новых наших азиатских «друзей». На тебя возложена высокая миссия, и я уверен, что ты будешь достоин нашей старой боевой фамилии...

Отто вытянул руки по швам и стоял, как молодой командир, получающий приказ от высокого начальства.

Дядя, не скрывая довольной улыбки, любовался его спортивной выправкой.

— Я буду помнить все, что вы сказали. Мой немецкий дух никогда меня не покинет...

— Так, так! — сказал дядя Ганс и вдруг с несвойственной ему легкостью схватил копье и метнул его в дальний угол. Копье пролетело через комнату и, ударившись в ковер, повисло, раскачиваясь. Он засмеялся и закричал, как в казарме: — Вот так надо действовать — сильно и верно! Так всегда действовали Дитрихи!

— И Мюллеры,— добавил Отто.

— Браво, племянник! — воскликнул дядя Ганс и, меняя тон, подошел к Отто, положил ему на плечи руки и сказал тихо, смотря в его светло-голубые глаза своими зеленовато-серыми: — Сегодня ты справляешь проводы? У кого?

— Мы соберемся у Курта...

— У Курта фон Крейзена?

— Да!

— Это хорошо. Это настоящая немецкая семья. Надеюсь, там будет весело. А потом в дорогу! Бирма — это все-таки не так близко. Это даже очень, очень далеко... Много дальше нашей Африки!

Отто Мюллер вернулся домой поздно. Голова его гудела от выпитого, от переживаний, от разноцветного сумбура, который царил на вечере, от шумной компании, от мысли, что он распрощался надолго с добрыми приятелями, со знакомыми, с Хильдегардой.

Курт фон Крейзен посадил в свою машину совершенно пьяного Эриха с его рыжеволосой сестрой Гизелой, за которой открыто ухаживал целый вечер, ее подругу, разбитную Анну, смешливую Хильдегарду и Отто. Курт — настоящий товарищ. Он и Отто — старые друзья, еще с юности. И сегодня Отто пригласил всех, кто близок к ним: и Людвига, и Георга, и Эриха, и Карла, не забыл и Вилли. Это настоящие парни добрых семейств. И таковы же девушки — Ирма, Анна,

Фрида, Элла, поискать — лучше не найдешь. Хотя родители Курта невеселые и чопорные старики, но любят свою молодежь и дают ей свободу повеселиться без всяких ограничений. Богатые эти фон Крейзены, непонятно только, почему они после войны стали жить еще богаче. Дядя говорит, что у них родственники в Америке, а оттуда сейчас идут большие деньги, которые янки вкладывают в германские предприятия. Может быть, и так. У Отто нет богатых родственников в Америке, и потому он едет зарабатывать деньги и делать карьеру в какую-то неизвестную далекую страну, о которой кто-то рассказывал ему ужасы... Кто же это рассказывал? А, Хильдегарда! Так много пили и танцевали, так много курили и рассказывали всякие истории, что можно спутать. Да еще после такой выпивки. Ведь там было и виски, и коньяк, старый французский коньяк, и шампанское, а потом девушки попросили рейнского, и оно появилось, как в американском фильме. Ничего, Отто тоже разбогатеет, и тогда он вернется из этой Бирмы и покажет им всем, что значит завоевывать новые земли. Хорошая девушка Луиза, сестра Курта! Она устроила так, что можно было пройти в ее комнату, и там они сидели с Хильдегардой, удрав от всех.

Гости уже плохо соображали, кто с кем куда ушел и где находится, иные сидели прямо на полу перед камином, иные пробовали новые американские танцы, которые показывал вернувшийся из Нью-Йорка от своих американских родственников, красовавшийся в новом костюме, сегодня особенно самодовольный Курт.

С Хильдегардой они условились окончательно, что поженятся сейчас же, как только он вернется. Ему нравилось, что она веселая, с розовыми губами и розовыми щеками, с острыми огоньками в глазах, простая, не такая, как все. И они хорошо проводили время в комнате Луизы. Они целовались так много, что Отто стало казаться, что у него губы сделались плоскими. Он сказал об этом Хильдегарде, и она испуганно прошептала:

— Как, и у меня тоже стали плоскими?

Но это была шутка. Да, Хильдегарда очень мила. Конечно, с ней нельзя обходиться, как с теми девушками, податливыми подружками, которых было всегда достаточно в студенческие времена. Да к тому же они находились в почти аристократическом доме. Здесь особый мир, и нельзя нарушать законов этого мира.

— Я буду ждать твоего возвращения. Но ты помни, что

я тебя жду, всегда помни,— сказала Хильдегарда, обнимая его за шею, щекоча своим легким локоном и шепча в ухо: — Там, говорят, много, много драгоценных камней. Мои любимые камни — лунный камень, рубин и опал. И еще изумруд...

— Я привезу их тебе, я не забуду: лунный камень, опал и еще изумруд...

— И еще рубин,— так же тихо сказала она, целуя его в висок,— и еще не бегай за туземными танцовщицами. Там, говорят, они танцуют такие танцы, что мужчины сходят с ума. Ты не должен иметь с ними дело. Там странные нравы... Это очень опасно...

— Опасно? — Он засмеялся.— О чем ты хочешь сказать?

— Ты знаешь, я прочитала в одной книге, я забыла, кто ее написал, такую историю. Она может касаться и тебя...

— Что же это за история?

— Один юноша вот так же поехал на Восток, куда и ты едешь. И там познакомился с одним пожилым, богатым человеком. Этот туземный деспот очень подружился с ним и показал ему красавицу, свою наложницу, жившую у него в доме. Молодой человек с первого взгляда влюбился в нее...

— Дешевая выдумка,— сказал Отто,— подумаешь!..

— В книге говорится, что это подлинная история. Красотка отвечала взаимностью, и они полюбили друг друга и встречались, когда хотели. Старый деспот делал вид, что ничего не замечает. А когда они однажды были вместе, забыв всякую осторожность, он приказал схватить их, и страшные слуги, черные или коричневые, я не помню, раздели их и, подумай, голых положили друг на друга...

— Что ты говоришь, Хильдегарда! Это какие-то арабские сказки...

— Слушай, их привязали к плоту, так что они не могли пошевелиться, и пустили плот по реке, а в ней кишели крокодилы. И крокодилы их разорвали на куски... Я потом не могла спать всю ночь. Мне снились крокодилы и ты...

— При чем тут я?

— Мне казалось, что тебя рвут крокодилы, и это было так ужасно!

— Охота тебе читать всякие книжки для развращенных школьниц! Мы уже вышли из этого возраста.

— Нет, Отто миленький, я не хочу, чтобы тебя съели крокодилы, но ты не будешь влюбляться в танцовщицу, и ты мне еще привезешь что-нибудь — сумочку, например, из крокодиловой кожи...

Нет, в самом деле в Хильдегарде есть что-то наивное и детское. В ней нет никакой распущенности современных девиц. Она нравится дяде Гансу. Она спортсменка, она из хорошей семьи. А когда он вернется? Этого он сказать не может... Он и не сказал о сроке своего возвращения Хильдегарде. Она будет ждать, она так хороша была с ним, и милая Луиза не выдала их. Хорошо жить на свете! Еще лучше быть богатым... Я им буду. Я, как дядя, пущу копье: «Вот так надо действовать!» Здорово он это сказал!..

Когда Отто Мюллер, пробравшись по узкому проходу среди теснившихся пассажиров, сел наконец на свое место, у круглого, похожего на иллюминатор окна, он почувствовал, что действительно устал от сборов, от необычных переживаний, от вчерашних проводов. Да и сейчас он выпил на прощание с приятелями больше, чем надо.

Лицо его было кирпично-розового цвета. Казалось, что если он заговорит, то будет говорить одни дерзости. Он озирался тусклыми глазами. В тяжелом тесном кресле было неудобно сидеть. Белый пробковый колониальный шлем, который все время держал под мышкой, обращая на себя всеобщее внимание, он небрежно положил вместе со шляпой на высокую полку над головой. Ему было душно и неуютно.

Поэтому он обрадовался, когда самолет, как ему полагалось, вышел на старт, как бы набрал духу, взревел всеми своими моторами и двинулся по гладкой дорожке, набирая скорость; потом оторвался от земли, как будто повис в воздухе, но сразу же деревья внизу, как и огни на земле, побежали в стороны — стало понятно, что он в полете. На вопрос аккуратной и такой свежей, точно она пришла из ванны, девушки в синем, с сияющими глазами и нарисованной улыбкой Отто Мюллер сказал: «Мне дайте коньяку!»

Стюардесса, чем-то неуловимо напоминавшая Хильдегарду, принесла маленький стаканчик коньяку, и он пожалел, что она не может присесть напротив. И просить ее об этом не стоит. Он выпил коньяк, засунул стаканчик в широкий карман, который обнаружил на спинке кресла прямо перед собой. Из кармана торчали рекламные проспекты и кусок подноса. Вдруг ему вспомнилось нечто смешное, и он пришел в веселое настроение.

Ну и дурак этот метрдотель, что подошел к ним с таким надменным видом, как индюк, когда он и его приятели

заняли места за свободным столиком и сняли с него какой-то флаг, полосатый, кто его знает! Курт спросил, куда его девать. «Под стол»,— сказал Отто и сунул его к ножке.

И тут подошел этот мрачный идол и сказал таким тоном, точно проглотил нож:

— Вы знаете, что это стол КЛМ?

— Что это такое? — спросил Отто. Он знал, но ему хотелось позлить рутинера.

— Это голландская авиакомпания КЛМ. Это всем известно! А вы сняли голландский флаг!

— Ну и что? — сказал нахально, глядя ему в переносицу, Отто.— Видели, братцы: подумаешь — голландский флаг! А мы немцы! И мы у себя дома. Где хотим, там сидим! Все!

И они так заржали, что метрдотель, постояв в молчании, удалился в раздумье, но Отто видел: удалился, чуть улыбаясь, вспоминая что-то, о чем он давно забыл. Вспомнил, каналья!

Неудобно просить еще коньяку. Наверное, эта девушка снова подойдет, потому что ее обязанность — ухаживать за пассажирами первого класса. Так и есть. Он пьет, не глядя ни на кого. А что ему глядеть на них! В первый раз в жизни он летит на Восток. Вот почему этот белый тропический шлем ему пригодится. Дядя подарил его в последний момент.

— Я носил такой же в Африке,— сказал старый Ганс фон Дитрих.

Он закрывает глаза, и перед ним с невероятной быстротой начинают беспорядочно проноситься картины недавних дней. Как будто сидит перед телевизором. Он видит дядю в старом мундире без погон, с сигарой в зубах, грозно потрясающего в воздухе кулаком, слышит его речь о том, что он, Отто Мюллер, должен отправиться на Восток, в далекую Бирму. Там дядины друзья — старые военные специалисты — работают уже давно, и они займутся его воспитанием. Нечего сидеть дома. Он, дядя, старый ветеран, сражавшийся в великой пустыне, соратник Роммеля, он знает, что теперь другие времена. Надо все начинать сначала. Надо строить новый рейх по-другому. Смешной дядя, становится похож на попугая, выкрикивая давно известные Отто слова о великой миссии и о том, что надо с немецким терпением и твердостью приниматься за овладение Востоком мирным путем.

Это уже нравится Отто. Не надо больше воевать. Боевые друзья дяди переменили профессию. Они, как он говорит,

всюду. Они мирно трудятся на всех материках, особенно их много в Южной Америке. Но Отто не смеет забывать, что он носитель германского идеала, должен всегда помнить, что немец выше всякого другого европейца. И азиатов он будет учить высокой немецкой культуре и технике.

Вот почему Отто и летит в неизвестную ему Бирму. Он, конечно, читал об этой стране разные книги. Но он специалист по бетону, и там, где дороги и новые сооружения — мосты, плотины, он кое-что может сказать. Тем более что там его ждут большие специалисты. А уж что касается цветнокожих, то помочь им, конечно, за их деньги, за хорошие деньги, он может.

Но чувство его превосходства над всеми азиатами остается при нем. Он бросает быстрый взгляд на пассажиров огромного воздушного корабля, невесть где пробирающегося сейчас над облаками.

Вот он видит трех людей средних лет, чем-то удивительно похожих друг на друга. Они тоже сели в Дюссельдорфе и тоже, он видел, выпивали в компании в ресторане перед отлетом. Но они делают вид, что они серьезные люди, не то что он. Они даже не смотрят в его сторону, хотя он знает, что они немцы. Он тоже имеет глаза — у них вынуты из портфелей какие-то медицинские журналы, они углубились в них.

Сзади Отто сидят, рассматривая иллюстрированные журналы, муж с женой, потом сидит какой-то восточный тип. Спит, накрывшись газетой, смуглый старик. Дремлют еще несколько человек, откинув спинки своих кресел. Интересно, черт возьми, лететь первый раз в такие неведомые дали! Не надо было пить после коньяка пиво, а потом опять коньяк!

«Мир будет немецким» — это снова вспомнился дядя: у него уменье так резко говорить, что невольно запоминаешь. Уж он последние дни старался изо всех сил. «В Европе американцы не могут ничего сделать без нас. А в Азии без нас они тоже никуда не сунутся. Народы Азии любят немцев, потому что втайне боятся нас. Запомни это, Отто...»

Он прислушивается к тихому говору немецких врачей. Они, оказывается, летят в Гонконг. Зачем? Черт их знает! Они тоже старательно жрут все, что им подает стюардесса, и пьют виски. Читают медицинские журналы. Говорят, наверно, об эпидемиях.

Он откидывается на спинку кресла. Самолет, пронзая густую синь наступившего вечера, как по невидимому катку,

скатывается в разбегающиеся разноцветные дорожки женевского аэродрома. Некоторые пассажиры выходят в Женеве. Стоянка небольшая. Отто не пошел дальше площадки с самолетом. Он прохаживался и дышал весенним, еще холодным, даже морозным воздухом. Над аэродромом проносились порывы ветра с просвечивающих в тумане гор.

Когда самолет начал взлет, иные пассажиры дремали. Было не так поздно, но многие устали за день, кое-кто начал полет еще с утра от Стокгольма, от Осло. И одна за другой гасли лампы в первом классе, и зажигались маленькие лампочки, чтобы пассажиры могли читать книги и газеты, не беспокоя дремлющих соседей. Какой-то даже уют наполнил длинную кабину, в которой так много разных людей устраивалось поудобнее, чтобы скоротать время. Тут не вагон, где можно выйти в коридор и смотреть на пробегающие мимо вечерние пейзажи, видеть огоньки мирных домиков и фары машин, бегущих по дорогам на холмах. Тут не корабль, где можно ходить взад и вперед по палубе и смотреть на вздыбленную пустыню океана, на широкое небо с мерцающими в вышине звездами, названий которых никто не знает, и от этого они становятся еще таинственней. И лучше, конечно, не думать о том, что этот длинный корабль висит в безмерном пространстве и под ним где-то замерла темная земля. А если бы кто-нибудь из пассажиров взглянул в окно-иллюминатор, то увидел бы с удивлением, как внизу несколько раз повернулась Женева квадратами разноцветных, с жемчужными отливами огней. Это самолет делал круги, набирая высоту, и снова и снова падал, как бы проваливаясь в бездну, чтобы опять дать новый скачок вверх, пока наконец не одолел разорванные зубцы и снежные барьеры Альп и не начал погружаться в бархатную тьму Ломбардской равнины.

И стало тихо в самолете, потому что почти все пассажиры, выпив и закусив, отведав всех бутылок воздушного погреба, начали дремать.

Отто оглядывался на самый дальний отсек, где не затихал веселый разговор и слышался даже звон стаканов.

Там помещались севшие в Женеве два американца и американка. Они, по-видимому, вовсе не хотели спать, и вдоволь не наговорились на земле, и не выпили еще всего того, что хотелось им выпить. Их разговор, отдельные возгласы проносились по всему первому классу, и девушка в синей форменной одежде бросала туда, в хвост самолета, грустные взгляды, но подойти к ним не могла, потому что это были заоке-

анские пассажиры, которые, кто их знает, привыкли у себя дома к иным порядкам, чем в Европе, и делать им замечания неудобно.

До Отто тоже доносились эти слишком громкие возгласы и звон, но он решил не начинать свой путь со скандала в воздухе. Наоборот, когда ему стало ясно, кто это нарушает тишину самолета, он даже усмехнулся: когда-нибудь и мы будем так галдеть, и никто не посмеет сделать замечание. Были-де такие времена. Спросите у дяди — он порасскажет кое-что о кабачках Рима или отелях Сицилии... Где этот Рим сейчас, далеко ли?.. А впрочем, черт с ним!

Если бы он посмотрел сейчас в окно, то увидел бы, как самолет, держа путь к аэродрому, который южнее города, прошел огни Рима, и они еще долго светились за крылом.

В римском аэропорту было холодно, пустынно и сыро. Вместе с толпой пассажиров Отто Мюллер вошел в пустой ночной аэровокзал. При виде внезапно появившихся путешественников ожили неподвижные, как манекены, пожилые итальянки, дремавшие за прилавком. Быстрыми жестами снимали они с полок нехитрые игрушки, заводили их, и перед усталыми, сонными иностранцами начинали танцевать маленькие дамы и кавалеры на крошечной гондоле, порхая под серебристый звон мелодии, звучащей рядом в домике типа шале, откуда раскланивались горцы в шляпах с петушиным пером. Отовсюду слышались тонкие звуки и легкий скрип кружащихся в танце кукол. Тут же на прилавке появились бумажники из коричневой кожи с видами Рима и Неаполя, кольца с геммами, длинные ожерелья из красновато-мутного коралла, много всякой блестящей, радужной мишуры, которую лениво рассматривали прилетевшие, примерялись к ценам, торговались, смеялись, шутили с продавщицами. В руках мелькали часы, чашки с античными сюжетами, пейзажами Священного города, сумочки, брелоки, альбомы открыток. Пассажиры охотно рассматривали все это дешевое и дорогое, что предлагалось их вниманию, говорили между собой, подолгу стояли у прилавка и ничего не покупали.

Отто Мюллер невольно следил за своими земляками, врачами, летящими в Гонконг. Он видел, как к одному из них, высокому, широкоплечему, подошла бледная немка, они сразу заговорили, она взяла его под руку и увела на крайнюю скамейку. Там они сели рядом, она прижалась к нему, и они начали шептаться так быстро, что было странно видеть их в этом полночном, веющем скукой, тоской и сыростью

аэровокзале. Их можно было рисовать, как символ неизбежных прощаний. Отто Мюллер, проходя взад и вперед между колонн большого вокзального зала, невольно следил за ними. Немка быстро вынула из сумочки какую-то цепочку. На ней висело что-то вроде медальона. Она передала эту вещь высокому доктору, и у него на лице появилось выражение растерянности, удивления и грусти. Но он взял медальон, и они опять начали шептаться.

Когда веселый, как бес, и неизвестно чему радующийся итальянец в ловко подогнанной форме объявил, что можно идти к самолету, у выхода на поле появилась такая красивая, свежая, молодая итальянка, отбиравшая транзитные карточки, что все оживились и старались как можно медленнее пройти этот контроль, сразу разогнавший ночную скуку и полусонную суету вокзала. Высокий врач почти нес на плече свою немку. Она уже плакала не стесняясь и утирала слезы большим платком.

Отто Мюллер, стоя над прилавком, испытал странное чувство. Ему хотелось сломать заводную игрушку-куклу, изображавшую тонкую балерину с веером, танцевавшую на черепаховой гондоле, украшенной перламутровыми разводами. Почему она не понравилась ему, эта балерина, он бы не мог сказать, но он возненавидел и ее веер, и музыку, сопровождавшую металлические повороты балерины. Он уже хотел протянуть руку, чтобы взять игрушку, но тут раздался голос развеселого итальянца, приглашавшего в самолет, продавщица привычным движением сняла куклу с прилавка, и она дотанцевала свой танец на полке между бронзовой Дианой с колчаном за плечом и калабрийским пастухом с волынкой.

Но едва шумная процессия, растянувшаяся от лестницы с бравыми, скучающими не то полицейскими, не то таможенниками до автоцистерны, остановившейся перед черным в сумраке крылом самолета, хотела приблизиться к высокому трапу, как кто-то невидимый задержал ее и остановил на полпути.

Выяснилось, что по какой-то причине самолет может подняться только через пятнадцать минут, и всех попросили обратно в аэровокзал. Та же стройная, нимало не смущавшаяся под пристальными взглядами красавица контролерша снова всем раздавала контрольные карточки. Опять предстали перед глазами пассажиров прилавки с игрушками и вещами, но на этот раз продавщицы не обратили внимания

на вошедших, и только продавщица открыток прервала беседу с полицейским и вся обратилась в слух, потому что к ней снова обращался немолодой чилиец, говоривший на смеси испанского и итальянского, уже успевший приобрести у нее двадцать открыток с видами Италии. И теперь она, пользуясь своим быстролетным успехом, спешно подбирала ему третий десяток открыток, отрывисто отвечая на его не совсем понятные любезности.

Прямо на Отто набежала та бледная немка, что встречала доктора. Она обозналась, отшатнулась от Отто, но он видел весь переход чувств на ее бледном лице — переход от отчаяния и слез к буйной радости. Она снова тащила врача в самый дальний угол и, сияющая, шептала что-то такое, что должен был слышать только он один, как будто бы за эти десять минут произошло нечто необычайно важное для них обоих. Он слушал ее серьезно, не останавливал потока ее беспорядочных, быстрых слов.

Отто Мюллер испытывал в эти минуты, шагая по аэровокзалу, только чувство презрения. Он презирал итальянцев, которые не умеют вовремя отправить самолет, продают какую-то старую дрянь, да еще ночью, когда обмануть сонных людей ничего не стоит, всучив этот танцующий и прочий хлам, презирал врача, который на глазах у иностранцев устраивает непристойный, расслабляющий сентиментальных дураков спектакль, изображая любовную драму, презирал женщину, притащившуюся к самолету с ребенком, презирал толстых, типичных колонизаторов, которые намеревались лететь с ним на одном самолете, презирал этот сырой, ночной воздух... Вон еще один толстяк, но это японец, богач, наверное; вот еще японская пара — молодые супруги с мальчиком и девочкой.

Самолет взлетел с опозданием на полчаса. Отто Мюллер выпил еще два стаканчика коньяку, чашку кофе и стал смотреть через круглое окно на мигающий где-то в пустыне неба огонек. Но это был фонарик на конце крыла, и, глядя на его то потухающий в тумане, то снова зажигающийся огонек, Отто, как бы загипнотизированный им, вдруг крепко и почти сразу уснул.

Самолет же продолжал держать свой путь через море, которое в невидимом провале ощущалось только искрами маяков, вспыхивающих в какой-то несусветной дальности, да тяжелым белым перегибом пены, сразу же исчезавшим за тонкими облачками, которые прорезал воздушный корабль.

В самолете все спали и тогда, когда потянуло с берега ветром утренней пустыни и начали проплывать внизу желтые, бледные куски пустынных песков и зеленые полосы посевов и полей. Метелки пальм над каналами уже говорили, что самолет идет над Египтом.

Стало совсем светло. Каирский аэродром встретил неожиданной прохладой, и снова толпа пассажиров потянулась в аэровокзал, где их уже ждал очередной завтрак. Отто Мюллер стоял на африканской земле, на которой когда-то дядя, судя по его рассказам, испытал столько удивительных боевых приключений. Он водил Отто даже смотреть фильм «Лис пустыни», где так расхвален его старый начальник Роммель, человек таинственной судьбы, знавший, как надо воевать в пустыне.

Отто оглянулся в ту сторону, где остался его родной город Дюссельдорф. Он уже казался очень далеким, а путь еще только начинался. Отто смотрел несколько недоумевающе на борт самолета, на котором был изображен громадный, нахально жизнерадостный кенгуру.

— Это самолет из Австралии,— увидя его удивление, сказал один из врачей, летящих на Дальний Восток.

В ресторане сидели и пассажиры этого австралийского самолета. Это были высокие, как эвкалипты, и не похожие ни на кого австралийцы. Их женщины, одетые без всяких претензий в простые блузки, держали на коленях маленьких детей, и те, укачанные долгим перелетом, спали вниз головами. Их родители не обращали на это никакого внимания.

Между столами ходили длинные, как столбы, официанты, похожие, как подумал Отто Мюллер, на безработных евнухов, в нечистых хламидах, подпоясанные широкими красными поясами. Они разносили кофе, воду, яичницу и поджаренные кусочки хлеба.

Отто наскоро поел, выпил свою чашку кофе и вышел на лестницу, ведущую к аэродромному полю. Тут же стояла с газетой девушка в синем, тонкая, строгая, подтянутая дочь Скандинавии, такая радостная, с розовыми фарфоровыми щеками, с чистыми, ясными глазами и чуть тонко тронутыми помадой губами. Теперь она еще больше напоминала Хильдегарду. Она сразу посмотрела на Отто так, словно ожидала, что он обязательно ее о чем-то спросит. И он спросил строго, точно он был командир, а она его подчиненная, телефонистка или секретарша:

— Сколько мы будем еще лететь?

— Вы летите до Карачи? — спросила она.

— Нет, до Рангуна!

— Хорошо ли вы отдохнули? — чудесно улыбнувшись, спросила она.— Потому что нам предстоит длинный путь. Десять часов перелета без посадки до Карачи и потом беспосадочный полет через всю Индию. Наш самолет в Индии не садится нигде.

Девушка ему определенно начинала нравиться, и он позвал ее, когда почти сразу после взлета начались каменистые груды пустыни.

— До сих пор не понимаю, как Моисей водил здесь своих евреев.

— Да,— сказала она, боясь сказать что-нибудь не так.— Это ужасно. Даже сверху смотреть страшно. Ад, посоленный и посыпанный перцем...

— И все-таки он их вывел в люди,— сказал Отто и засмеялся своим, как он говорил, спортивным смехом.

Девушка сделала вид, что ее зовут в конец самолета, где сидели американцы, вдоволь накричавшиеся с вечера. Теперь они дремали, закрыв колени одеялами.

Отто смотрел на дикие пространства Синайского полуострова. Как обглоданные скелеты, торчали изъеденные временем скалы, пространство было все исчерчено руслами мертвых рек и речек. Еще раньше прошла оранжево-синяя вода Красного моря, потом маслянисто-зеленая, с желтыми разводами вода Акабского залива, и пошли бесконечные пески с мертвыми отливами самых безотрадных красок. Позади остался Египет. Там живут некоторые боевые друзья дяди. Они стали даже мусульманами. Один зовется теперь, кажется, Сулейманом Али, другой — Омаром Мухамедом. Говорят, Бирма — страна буддистов. Какая разница — Будда, Магомет! Ведь это сказки, как говорит дядя. Германские боги — это вещь. Старый Вотан способен на акции в новые времена, а эти существуют для туристов и простого люда. Тем и другим надо немного. Но с этим, говорит дядя, на Востоке не надо шутить. Значит, и немцы — магометане всерьез. Наполеон, говорят, тоже в Египте принял веру Магомета и отстрелил нос сфинксу, чтобы оставить память в истории.

Оторвавшись от лицезрения пустынных скал и безнадежно однообразных песков, Отто увидел, что девочка-японка встала на своем кресле и, повернувшись лицом к сидящим за нею, стала смотреть на пассажиров, как бы выбирая себе жертву. Она была хороша. Ее детскую прелесть подчеркивал

красочный национальный костюм. Если бы рядом с ней встала ее мать, маленькая, миниатюрная японская дама, то все бы увидели, что они повторяют друг друга во всех чертах. Девочка — совершенно куколка с наманикюренными ноготками, с накрашенными губами, с сережками в ушах — походила на маму, как миниатюрная копия. Она выбрала того немецкого доктора, который простился в Риме с бледной своей дамой.

Японская девочка еще на аэродроме нечаянно ушибла ногу, и доктор поспешил к ней на помощь. Теперь, отоспавшись и наведя полный блеск на свое сияющее лицо, пышущее естественным и искусственным румянцем, она начала игру с того, что, спрятавшись за подушку, внезапно появилась из-за нее, сжимая в маленькой ручке похожую на тощего дракона резиновую красную собачонку. Собачонка была удивительно неприятна, вся в черных пятнах, пищала отвратительно и раздражающе. Намахавшись этим мрачным созданием, девочка бросала его в немца-врача и снова пряталась. Потом она ловила с обворожительной улыбкой игрушку обратно, а спустя несколько минут собачонка снова летела в читавшего журнал немца. Эту игру наблюдали многие пассажиры и снисходительно улыбались японскому ангелочку.

Сначала примитивная забава маленькой японочки невольно развлекала и веселила. Но девочка как-то неожиданно просто зверела в пылу игры.

Она стала похожа на чертенка с нарисованными бровями, когда запустила собачонку с такой силой, что ее партнер получил крепкий удар по носу. Радость девочки была неподдельной. Всхлипывая от восторга, она спряталась за подушкой и спустя некоторое время снова запустила свою собачку, стараясь ударить побольнее. Она не уставала лупить немцев-врачей одного за другим. Порой она лукаво спрашивала по-английски, и все ее круглое румяное личико излучало восторг: «Как вам нравятся мои шуточки?»

Отец занимался сыном, мать не обращала внимания на дочку. Немцы начали принимать свои меры. Они погрузились в чтение и на каждую новую атаку отвечали молчанием, просто перебрасывая собачонку японочке. Тогда она, сделав умильные глазки, встав во весь свой семилетний рост, даже приподнявшись на цыпочки, сказала врачу, которого первого стукнула по носу:

— Мне очень нравятся Соединенные Штаты Америки! А вам нравятся Соединенные Штаты?

Врач от неожиданности поднял на нее глаза, удивленно посмотрел и, подмигнув своим коллегам, пробормотал что-то неясное сквозь зубы. Тогда маленький чертенок в юбке снова воскликнул:

— А как вы относитесь к Советскому Союзу? Он вам нравится?

Ответа не последовало и на этот раз. Немец уткнулся в книжку и сделал вид, что не слышал вопроса. Тогда она, видя, что не получит ни от кого ответа, сказала громко:

— Вы все дураки! — и, засмеявшись серебристым смехом, спряталась за подушку.

Все теперь сделали вид, что заняты делами и ничего не слыхали.

А между тем самолет плыл в бледно-голубом небе, и под ним проплывали одна пустыня за другой, одна другой нелепей и страшней. Даже с такой большой высоты, на которой шел самолет, было видно, что там, внизу, все задохлось от жары, все умерло, перегорело, все мертво. И так неожиданно было появление зеленого пятна оазиса или селения, прилепившегося на дне каменистого, черного ущелья.

Прошли плоские, как блины, острова Бахрейнского архипелага. Туда ссылает шахское правительство политических осужденных. Там можно сгореть на солнце заживо. Кое-где торчали у берега нефтяные вышки. Море было так же пустынно, как и эта обгорелая земля.

Отто смотрел вниз, и ему казалось, что он летит уже целые века, и если бы самолет опустился сейчас на берег какого-нибудь Оманского или Маскатского султаната, то пассажиры нашли бы там те же порядки, что были и при Васко да Гаме, то же средневековье с верблюдами и рабами, гаремами и визирями, только рядом с этим были бы автомобили и телефоны, радио и танки для усмирения непокорных.

День шел к концу. В самолете ели, как в ресторане, не задумываясь над тем, что чашка бульона, кусок курицы, вино и фрукты поглощаются над Индийским океаном, который казался европейцам чудом, таинственным сказочным путем каких-нибудь четыреста лет тому назад.

Самолет шел над узкой прибрежной полосой. По сизой дымке, стелющейся по земле, можно было предположить, какая жара ждет путников в Пакистане. И действительно, только открылась дверь самолета в Карачи, как волна душного, пропитанного смесью толченого перца, смолы и бен-

зина, влажного, тяжелого воздуха обрушилась, как девятый вал, на прибывших.

Вот теперь Отто почувствовал, как далеко он улетел от берегов Рейна, как чуждо над ним сверкают созвездия, как непонятно, чем дышат тут люди, в этой раскаленной полутьме, освещаемой огнями нового аэровокзала, по коридорам которого сейчас ведут пассажиров. Они идут, точно участвуют в какой-то особой процессии, обходя зачем-то все здание. Потом их приводят к чиновникам, начинаются разные просмотры и оформление документов.

Наконец короткая остановка окончена, пассажиры снова привязывают себя поясами к креслам, следят за горящей табличкой, запрещающей курить и отвязываться. Самолет, подпрыгивая, бежит по аэродромной дорожке, по коридору зеленых, красных, желтых и белых огней, отрывается мягко от темной земли и входит в ярко освещенное луной небо. Без посадки через всю Индию и Бенгальский залив.

Нет, пассажиры мало думают о ночных эффектах. Погруженные в свои мысли, в свои земные дела и воспоминания, они снова готовятся заснуть за облаками. И один за другим гасят свои маленькие лампочки, и не последним гасит свою спортивный молодой немец Отто Мюллер, предпочитающий сон всяким мечтаниям и размышлениям.

Постепенно все население воздушного ковчега погружается в темноту, только голубые слабые фонарики горят у мест, где дремлют стюардессы. Под самолетом внизу, как далекие светляки, блестят огни индийских городков и селений.

Через несколько часов самолет уже летит над спящей пустыней Кача, над горами Виндийскими и Саутпорскими, через Нагпур, и, если вглядеться в эту летящую бездну, нельзя оторваться от ее непрерывно сменяющегося чародейства. Самолет то плыл в бархатной черноте, которую разрезал, как корабль волны, почти ощутимо, то несся как на парусах по голубому, зыбкому, светящемуся пространству, то шел точно под водой, озаряемой сильным зеленым светом, в котором меркли все другие оттенки, то впереди стояла на синем, струившемся, как водопад, блеске луна — медовая, ароматная, душная, властительная, как бы притягивавшая к себе летящий безмолвный воздушный корабль.

Звезды танцевали какой-то сумасшедший танец, то скрываясь парами в этой голубой зыбкости, то роясь, как золотые пчелы, то рассыпаясь на куски, и острые срезы этих кусков

светили уже откуда-то из глубины. А на земле тоже творились чудеса. Вдруг ясно видимо сверкала белая полоса реки, черные леса закрывали все пространство земли, и потом долго шла темнота, прерывавшаяся какими-то вспышками, какими-то огнями, которые то взрывались, как фейерверк, ракетами, то принимали самые разные формы, и даже формы огненных подков, и тогда казалось, что мчится не самолет, а конь, который время от времени прикасается к земле и, ударив ее, снова возносится в пространство, и следы красных подков этого скакуна остаются в виде огненных отпечатков в темноте лесов.

То начинали блестеть непонятные огни: мигающие, пропадающие, снова ведущие перекличку. То ли сигналы аэромаяков, то ли это какие-то великие реки отсвечивали изгибами своих волн. Эта игра длилась часами. Потом земля стала сливаться с чем-то расплывчатым, зеленым, живым, обрамленным белыми, серебряными, огненно-белыми, вспыхивающими изогнутыми линиями. Это кончалась индийская земля. Внизу начался Бенгальский залив.

Теперь как будто одно небо сменили на другое. Звезды были внизу, и они же стояли над самолетом. Луна была высоко, она же плавала в зеленом просторе залива, как будто ныряя в его глубины и снова подымаясь в свое небесное царство.

Под крыльями самолета начали стелиться какие-то пестрые ковры, переливающиеся всеми цветами, потом что-то другое, совсем иной окраски, властно вошло в эти переливы, поползли высокие тени и тоже стали тонуть в тумане, и только белые полосы рек, вдруг вырываясь, стали жить самостоятельно.

Наконец появилось в сумраке и постепенно образовалось в утреннем тумане то, что называется Рангуном.

Когда самолет пробежал по взлетному полю большого аэродрома Мингаладон и встал, как бы отдуваясь от долгого перелета, когда перестали вращаться его винты, всего несколько человек заявили, что они выходят в Рангуне.

Поэтому, когда, втянув зябнущие от утреннего холодка плечи, пассажиры пошли к аэровокзалу, они разделились на две неравные группы. В одной, большой, транзитной, которую уводили в сторону, остались те, кому еще нужно было преодолевать нелегкий путь в Сингапур, Манилу, Гонконг, Токио. Прямо же шагали всего четыре человека, и среди них высокий, невыспавшийся и хмурый Отто Мюллер. С ним

шли два человека неизвестной страны, молчаливые, сосредоточенные люди, и тот чилиец, который флиртовал ночью в Риме с продавщицей открыток.

Навстречу четверке в прохладном голубом воздухе вдруг заиграли флейты и забили барабаны, взвизгнули какие-то невиданные инструменты. Но это встречали не их, а кого-то, кто должен прибыть вот-вот. Отто же Мюллера встретил очень спокойный, в строгом легком костюме из дорогой китайской материи молодой человек, в очках, загорелый и очень словоохотливый. Он тут же объяснил, что он из представительства ФРГ, и по просьбе уважаемого господина фон Шренке, друга дяди Отто Мюллера, он готов все сделать для того, чтобы доставить прибывшего туда, где находится со своим заместителем сам фон Шренке, а сейчас, благо у него свободный день, он познакомит Отто с городом и вообще введет его в интересы местной жизни.

С этого момента для Отто Мюллера начался бесконечный, утомительный, жаркий, до умопомрачения жаркий день, полный такой калейдоскопичности, что от нее подчас темнело в глазах. Вот когда большой белый колониальный тропический шлем можно было надеть на голову, а не таскать под мышкой. Покрытый сеткой холодного дождя Дюссельдорф исчез за каким-то сиренево-влажным горизонтом, а здесь был тот Восток, на который он взирал с таким же чувством самодовольства, какое испытывал моряк-испанец, глядевший с палубы своего корабля на раскинувшийся перед ним Каликут, первый увиденный им город сказочной Индии.

Но дальше стало хуже, потому что после долгого и утомительного сидения в тяжелом кресле роскошного самолета было страшно трудно, сняв башмаки, идти в какую-то непонятную высь по бесконечной каменной лестнице огромного храма, который, как сказал всезнающий проводник, надо обязательно посетить.

И Отто Мюллер шел покорно по широкой, высокой лестнице с выщербленными ступенями, скрытой в огромном коридоре. С непривычки ступать босиком он чувствовал всю неровность этой то скользкой, то колючей лестницы, по которой сейчас скользили несчетные тысячи ног. По сторонам лестницы торговали всем, чем угодно. Тут бросались в глаза модели Шведагона и других пагод всякой величины, тут стояли будды самых разных молитвенных поз, тут торговали

платками, зонтиками, благовониями, и жар этих сладко опьяняющих свечей плавал в воздухе, ошеломляя нового человека. Здесь же кричали продавцы фруктов, мыла, вод — розовых и зеленых — и фиолетово-странных съедобных продуктов, торговали материями, куклами, скатертями, платками с узорами. Чем только не торговали на этой удивительной лестнице, по которой Отто брезгливо шел, толкаемый самого разного рода паломниками, иногда полуголыми! От них пахло разгоряченным и острым потом.

А неумолимый проводник все вел его, рассказывая о том, что представляет то вот этот большой барельеф, то картинка, которую продавал почти черно-фиолетовый человек в женской юбке и с длинными фиолетовыми ногтями.

Казалось, в этом хаосе красок, криков, молитвенных провозглашений, зазываний, вздохов старух, смеха молодых никто не властен навести порядок. Но это было не так. Как в обширном море жизни, говорит древняя мудрость, есть маяк, к которому стремятся корабли, так и здесь над всем этим гомоном и пестротой царил один бесстрастный, без конца повторенный лик. Он смотрел со стены, с древних фресок, он высился над толпой, взирая на нее с такой высоты, которая навсегда отделяла эту суету мира от его удивительного, непонятного, стоящего над всем спокойствия. Это был образ Будды, всюду сопровождавший здесь пришедшего. Казалось, нарочно создана эта лестница жизни, по которой подымаются все выше, выше лавок и криков, выше человеческой сумятицы, туда, на верхние площадки, где небо, и простор, и снова Будда, перед которым можно только преклониться и пробормотать ему свою просьбу, положив к его ногам цветы, купленные там, на замызганной бессчетным множеством ног лестнице.

Наконец они поднялись туда, где вонзаются в небо острые шпили пагод. Отсюда открывался вид на весь Рангун. Большая красивая площадка была вся занята бесчисленными пагодами, колокольчики которых звенели на разные голоса, точно приветствовали пришедших. Эти маленькие пагоды окружали самую главную, чей золотой гигантский шпиль вздымался над городом. Тут было поистине царство буддизма. Будд было так много, что глаза разбегались по сторонам. Будды стояли вокруг, возвышаясь над маленькими, ничтожными людьми, они сидели, погруженные в созерцание, в философский полусон. Живые философы, с худыми темно-коричневыми скулами, проповедовали тут тихими, зауныв-

ными голосами. Перед ними сидели ученики, опустив головы, точно внимательно рассматривали, из какого камня сделана площадка. Вокруг бродили пилигримы со свертками в руках или перекинув мешки через плечо. Собаки с боками, из которых торчали ребра, тыкались то туда, то сюда. Кто-нибудь, возмущенный их пребыванием в таком священном месте, давал им хороший пинок, и они с визгом устремлялись прочь.

Множество детей и старушек со свечками в руках сидели перед китайскими буддами, подарком соседней дружеской страны. Отто Мюллер, голова которого тихо кружилась от всего этого многообразия красок, запахов, звуков, видел, как полулежат перед буддами на циновках женщины с цветами в руках и шепчут идолам что-то очень затаенное, самое сокровенное, чего никто не должен слышать. У них были такие отсутствующие лица, что можно было смотреть на них в упор, и они бы не заметили этого. Всюду бродили монахи в желтых и огнисто-оранжевых одеяниях с синими алюминиевыми горшками в руках. Монахи едят один раз в день — до полудня, дальше наступает время размышлений и молитв.

Потом, после самого знаменитого храма, пошли храмы поменьше, но будды всюду были те же, только отличались размерами и позами. Одни из них полулежали, громадные, как полагается небожителям; лица иных были так отполированы, что луч солнца превращал их в сплошное сияние, и распростершийся перед ними богомолец не мог взглянуть в лицо Будды, потому что встречал расплывчатый ослепляющий блеск вместо взгляда статуи. Женщины лежали перед буддами, куря сигары неимоверной толщины. Черный и синий дым обволакивал лики богов, но боги вдыхали его равнодушно. Над плечами идолов стояли горшки с цветами, и над ними порхали птички пестрых веселых раскрасок. И наконец, уже над домами, над всей улицей возник такой высоты Будда, что даже стало неприятно, точно видишь привидение,— Отто понял, что надо переключиться на что-то иное. Этот Будда, выложенный из старого бурого кирпича, полулежал, положив руку на вход в монастырь, расположенный под тем искусственным холмом, который изображал тело лежащего.

Люди на улице казались ничтожествами, муравьями, тащившими какие-то жалкие былинки в жалкие свои обиталища. У Будды были широкие властные губы, широкие брови. На его лице не было ни одной морщинки. Глаза, четко нарисованные, смотрели со снисходительной грустью куда-то вдаль.

Отто Мюллер взмолился молодому человеку из представительства, и они, усевшись в коляски педикапов, нырнули в другой поток жизни. Они бродили по набережной, где грузили пароходы, уходившие вверх по реке, и грузчики, как в глубокой древности, взваливали на плечи тяжеленные кули и шли по доскам, которые шатались под их тяжестью. Тут все говорило Отто Мюллеру о том, что мир слуг и господ еще существует, и его германскому духу было приятно видеть эти странные наряды мужчин, похожие на женские, и этих торговцев всякой, как он сказал бы, колониальной всячиной; потому-то здесь и нужны такие специалисты, как он и ему подобные. Здесь можно делать дела.

Он увидел длинный белый обелиск и спросил, что это такое. Он удивился, когда спутник сказал: «Это памятник Независимости».

— Независимости? — спросил Отто.— Что это значит?

— Это значит,— отвечал обязательный молодой человек,— что здесь считают, что Бирма вступает на путь нового развития. У них есть даже план, рассчитанный на превращение страны в Пидоту, что значит страну благоденствия... Вы это почувствуете, когда начнете работу на месте...

— Чего же они хотят? — спросил Отто.

— Они хотят многого, но у них есть затруднения, и политические и экономические.

— Мы им поможем! — сказал Отто и засмеялся своим горластым спортивным смехом.

Они много где побывали: и на озере Инья, струившем свои воды среди зеленых рощ, и на берегу реки, где живет простонародье, где хижины жались друг к другу, нищета смотрела из всех бамбуковых щелей, харчевни располагались прямо на улице и люди сидели на земле перед котлами, где готовились обычные блюда бедноты: рис с острым соусом, который делается из креветок, рыбы, овощей и перца. Отто почувствовал аппетит, и они поехали в отель.

Они сидели в прохладных залах Странд-отеля, и безмолвные слуги подавали им джин, в который они капали по каплям сосновый экстракт в порядке профилактики, они ели почти сырое мясо, густо посыпая его солью, какую-то неизвестную Отто сладкую рыбу, фрукты и пили ледяной ананасный сок.

Потом они отправились по магазинам, и тут опять все запестрело и зашумело перед глазами Отто. В магазинах на Фрезе-стрит, или Дальгузи-стрит, или в крытых рядах Скотт

Маркет можно было приобрести все, что нужно европейцу, чтобы одеться, приобрести необходимые вещи для дома и даже купить сувениры или подарки для друзей и знакомых.

Чтобы отдохнуть от лавочной толчеи, они даже заглянули в зоологический сад, но пробыли там недолго. Отто не интересовали звери. Они просто пробежали для того, чтобы размять ноги после машины, по аллеям, постояли перед клеткой, где дети дразнили жирафа и он напрасно тянул вбок свою маленькую голову за бананом, которым они махали перед ним. Маленькие речные выдры вставали на задние ноги, как бы высматривали добычу, прикладывали лапки к глазам, протягивали их к зрителям, присвистывали, просили бросить им мелкой рыбешки, которой торгует сторож. Когда им бросали рыбешек, они очаровательно играли ими и ныряли.

У клетки со львом Отто остановился. Лев лежал плоский как доска, раздавленный неистовой жарой. Он спал крепчайшим сном. Его хвост с шишкой на конце, покрытой редкими жесткими черными волосами, был распластан, как мертвый.

Перед клеткой толпились зеваки и громко смеялись над спящим львом. Он был худой и старый. Проворные ласточки хлопотали вокруг его хвоста. Они по очереди примерялись к волосам на хвосте, потом пробовали вытаскивать их; если волос не поддавался, они принимались за другой. Вытащив волос, птицы взмывали куда-то за деревья, где у них строилось гнездо. Это было, по-видимому, их постоянное занятие, потому что хвост у льва значительно поредел. Отто сказал, смеясь:

— Это совсем как британский лев: спит усталым сном, а его колонии делят другие...

Стоявшие вокруг засмеялись — острота дошла до них. Из зоологического сада они поехали в отель, куда молодой человек завез Отто Мюллера, взяв с него слово, что он, отдохнув, вечером будет у него в гостях, а рано утром на самолете будет доставлен туда, где изволит работать советником-специалистом его шеф господин фон Шренке со своим помощником. Это на другом конце страны, но перелет займет всего несколько часов. Приятного отдыха!

Отто разделся, включил электрический охладитель и заснул сном много поработавшего человека. Проснулся он, когда уже на улице зажглись огни, принял душ и начал переодеваться к вечеру, чтобы быть во всем европейцем даже в этой беспорядочно удивительной стране, где слишком жарко,

слишком много разных богов и где мужчины носят юбки. Но, вспомнив, что в Шотландии тоже приняты короткие юбки у горцев и даже их волынки напоминают музыку, слышанную утром на аэродроме, он пришел в хорошее настроение и начал насвистывать что-то из последнего дюссельдорфского ревю. Тут пришел утренний знакомец, и они отправились к нему домой, на другой конец города.

В гостях у молодого человека сидели кроме Отто Мюллера еще двое: похожий скорей на грека, чем на баварца, ученый-этнограф Вильгельм Вингер, изучавший неизвестную Отто народность — племя нагов, обитавшее в долине Чиндвин и в индийском Ассаме, и пышная блондинка Клара, дочь заезжего немецкого пастора-миссионера, изучавшая бирманскую музыку и бирманский язык. Все собравшиеся сидели на террасе и пили виски с содовой водой, как это принято в тропических краях,— от виски не потеют; пили чешское пиво, ели рис с какими-то едкими, огненными приправами, с соусом, который представлял хозяин как соус первого сорта — его подают даже в дни приемов в правительственном дворце. Назывался этот соус так сложно, что все напрасно старались выговорить правильно название, и только Клара произнесла его, как настоящая женщина Рангуна: таджантхамин.

Отто спрашивали о делах дома, в Западной Германии, о том, что он будет делать в Бирме, как ему понравился Рангун. Он отвечал с обстоятельностью на все вопросы, только на вопрос, как ему понравился Рангун, сказал:

— Мне кажется, что я спал в слишком жарко натопленной комнате и мне приснился сон, в котором двоились боги и люди.

Клара засмеялась, и ее крупное, белое, незагоревшее лицо сразу ожило.

— Здесь Азия,— сказала она,— тут не сразу поймешь, что к чему. Особенно сейчас...

— Здесь снова нужен европеец,— сказал Отто с такой же железной интонацией, с какой дядя, старый специалист по пустыне, говорил об Африке.

И он начал развивать ту теорию, которую так настойчиво и непогрешимо развивал в долгие зимние вечера старый отставной генерал инженерной службы специального африканского корпуса господин Ганс фон Дитрих. Тогда, дома, он говорил вещи, о которых Отто не имел понятия. Теперь ему захотелось просветить своих соотечественников на чужбине.

Когда он кончил, Клара, играя ножом для фруктов, спросила самым невинным тоном:

— Сколько вам было лет в сорок пятом году?

— В сорок пятом году мне исполнилось четырнадцать лет, сейчас мне двадцать четыре,— ответил он. И, помолчав, добавил: — Меня откопали вместе с тетей из-под развалин дома, где мы были в убежище. Нас раскапывали шесть часов. Так что могу сказать: я принимал участие в войне... К нам пришли американцы раньше, чем все было кончено с Берлином. «Надо все начинать сначала»,— сказал дядя. По-моему, он прав. Надо все начинать сначала...

Ученый-этнограф кашлянул, как бы прося разрешения сказать свое слово.

— Простите меня,— сказал он,— я исследователь диких племен, где все и сегодня примитивно. Когда наги чувствуют, что духи, которым они поклоняются, жаждут приношений, а они любят черепа, человеческие черепа, то наги отправляются за черепами к соседям. Это логично: кто же будет жертвовать собственным черепом? Эти добытые хитростью с боем черепа протыкают стрелами и украшают священные деревья, куда слетаются умиротворенные духи. Я понимаю нагов: если надо идти на жертвы, когда этого требуют высшие силы, то лучше идти не за собственный счет... Вы меня понимаете?

— Вполне...

— Я вот только не очень доволен высшими силами...— продолжал Вильгельм Вингер.— Высшие силы у нагов — сосредоточение всего темного, что живет в их сознании с древних времен. Правда, высшие силы, двигающие сейчас европейским сознанием, скорее близки к силам хаоса, чем к светлой вере эллинов... Вам не кажется, что мы взываем к слишком древним и слишком примитивно-диким духам, перед которыми битва в Тевтобургском лесу уже кажется светлым явлением, чем-то вроде защиты культуры...

Молодой человек из представительства был бы плохим хозяином, если бы позволил разгореться спору. Он перевел разговор на другие, более безопасные предметы. Он обратился к Отто Мюллеру:

— Наш дорогой друг-ученый вернулся из глубины лесов, из самых глухих мест Бирмы. Но не надо ходить так далеко. Вот фрейлейн Клара знает, что случилось здесь, под Рангуном, с одним всем нам известным английским полковником. Он собрался на серьезную охоту в джунгли, взял машину,

нагрузил ее необходимым продовольствием, оружием для охоты на фазанов и голубей и на другую, более крупную дичь, взял запас пива и отправился в леса. Но почти у самого города его перехватили «лесные братья», есть такие в этих краях, и украли английского полковника. Они хотели, чтобы он заплатил им сто тысяч джа. Он предложил им доставить его домой в Рангун, и он за эту доставку даст им пятьдесят рупий. Они рассердились, и увели его в дебри джунглей, и стали там его держать.

— Позвольте,— сказал Отто,— надо было послать экспедицию и перестрелять этих каналий...

— Времена, когда по такому случаю английские власти посылали экспедиции, прошли. И самих англичан здесь нет в качестве распорядителей... Местные англичане запросили Лондон. Из Лондона ответили, что за этого полковника не дадут ни одного пенса. Потому что, как пояснили из Лондона, если мы заплатим такую сумму за полковника, вас всех начнут красть непрерывно. Это будет новый вид торговли, черт возьми. И довольно выгодный для «лесных братьев». Полковник изнывал в плену. Тогда англичане начали устраивать сбор среди европейцев на выкуп страдальца полковника, пленника джунглей. Как будто собрали около двадцати пяти тысяч рупий. Ядовитые языки говорили, что это деньги казенные; только чтобы не уронить престиж, их выдали за собранные на месте. Полковник надоел «лесным братьям», и они его отпустили за эту сумму. Он рассказывал, что они очень ухаживали за ним, им было невыгодно, чтобы он помер в их лагере: тогда бы «лесные братья» ничего не получили. Они поили полковника его же собственным пивом и кормили его же консервами, выдавая их так скупо, что он был вечно полуголодным... Когда мы сегодня с вами завтракали в Странд-отеле, этот полковник там пил виски. Он охотно рассказывает про свои приключения.

Так они сидели и, перескакивая с предмета на предмет, говорили о судьбе европейцев в Азии, о новых перспективах для экономического проникновения, о росте национального самосознания у азиатов. Ученый рассказывал о быте нагов, об их гостеприимстве, о странности их обычаев: если в деревне начинается праздник, специальная застава преграждает вход и выход из деревни на все время праздника, ни войти, ни выйти!

Клара исполнила две бирманские песенки, прямо так, без аккомпанемента,—одну грустную, одну веселую.

Потом все пили снова виски и пиво и вдруг почувствовали, что уже поздно, вспомнили, что Отто надо пораньше вставать: его ждет путь в горы, в джунгли. Ученый спросил его, прививал ли он себе что-нибудь против малярии и оспы. Отто сказал, что он привил даже тиф и еще какую-то особую тропическую лихорадку и готов продолжать путь.

Тут позвонил дежурный из представительства и сообщил, что, к сожалению, полет откладывается на послезавтра, так как самолет, которым должен был лететь Отто, нуждается в ремонте.

Отто даже обрадовался. Хозяин беседы сказал, что он днем ознакомит Отто с разными особенностями тех мест, куда он направляется, а вечером...

— А вечером,— вмешался Вингер,— если вы согласны, я вам покажу что-нибудь не совсем обыкновенное, но в духе настоящей, подлинной Азии...

— О! Берегитесь! — засмеялась Клара.— Наш друг Вингер любит поражать воображение. Мы все вкусили уже от его чудес. Но пойдите, пойдите, вы ничего не потеряете. Жалко, что я занята, а то охотно присоединилась бы к вам...

— Раз так, я иду,— сказал Отто,— меня трудно устрашить и еще труднее удивить.

— Посмотрим,— сказал Вингер.— Значит, уговорились, я завтра вечером похищаю вас. Вы в Странд-отеле?

— Да.

— Я вас разыщу!

Когда они прощались, ученый сказал, что единственное, с чем он согласен в высказанном сегодня Отто, это с тем, что в Азии исчез страх перед белым человеком.

— И боюсь, что этот страх возродить больше невозможно никакими новыми мерами, молодой человек. Приглядитесь хорошенько! Рад нашему знакомству. До завтра!

В эту ночь Отто ничего не снилось. Он падал без конца на дно какой-то мягкой пропасти и стукался о невидимые стены, пока не погрузился в полное оцепенение сна...

На другой день после обеда Вильгельм Вингер заехал за Отто, и машина закружила по тенистым улицам Рангуна.

— Куда мы едем? — спросил Отто.

— Мы едем к одному любопытному человеку. Его зовут У Джи, что значит «большой». Он не такого уж большого роста. Зато большой знаток трав и цветов. Его называют в народе «Прорицатель трав». Ставят перед его именем слово «сейя» — врач. Сейя У Джи. Этот человек не уступает любо-

му европейскому специалисту. Он обладает совершенно уникальными знаниями...

— А зачем мы к нему едем?

Этот вопрос Отто задал неспроста. Вингер, высокий, чуть сутулый, с ироническим ртом и хитрым прищуренным взглядом, ему чем-то не нравился. Не нравилось ему и то, как он говорит о своих дикарях, о европейцах. Что-то в нем настораживало Отто. От него веяло если не прямой враждебностью, то неприязнью. И сейчас на вопрос Отто он ответил неопределенно:

— Мы же вчера с вами уговорились...

Тогда Отто, чтобы уязвить своего спутника, сказал:

— Здорово вы вчера рассказывали про ваших людоедов! Они до сих пор еще едят миссионеров?

Вингер не принял шутки. Он отвечал серьезно и почти поучительно:

— Наги никогда не были людоедами. Я шел в их селения с группой добровольцев из местных жителей, которые были представителями учебного центра «Просвещение масс». Эти специалисты по всем областям знания шли, чтобы научить нагов, как строить по-новому дома вместо хижин, как ткать, делать глиняную посуду, приготовлять культурно пищу, со мной шли учитель, и медицинские сестры, и даже зоотехник. Это была только одна из многочисленных групп, работавших среди холмов Верхнего Чиндвина. При мне пришедшими был построен показательный деревянный дом, разработан первый огород, преподаны первые уроки грамоты, оказана первая медицинская помощь. Если бы вы видели, с какой жаждой нового откликнулась на это молодежь. И даже почтенные старейшины не только не препятствовали работе групп «Просвещение масс», но сами поощряли совместное освоение новых участков под рисовые поля. Наги талантливы и восприимчивы. Пройдет немного времени, и вы не узнаете их деревень. Тут я видел своими глазами, как становится недействительной старая формула, которую так любят повторять иные нелюбопытные европейцы: «Запад есть Запад, Восток есть Восток». Меня, европейца, они принимали как доброго гостя. И так они примут всякого, без различия цвета кожи, если он будет дружелюбен по отношению к ним. Я напишу о них книгу, потому что они мне нравятся. Но вот мы и приехали.

У Джи говорил по-английски. Он с таким уважением называл деревья, представляя их гостю, как будто это были его старые любимые друзья.

Такого сада Отто действительно никогда не видел.

— Это пальма катеху, она дает плод, который идет на изготовления бетеля. Это манго, одна из лучших пород. Там, рядом с лимонным деревом, вам известная магнолия. А это старый замечательный экземпляр чампака. Вот камфарное дерево. Здесь вы видите банановые деревья, они родились вместе с бирманцами. Еще есть арековые пальмы, помоложе...

У Джи был в легкой стального цвета курточке, в светло-зеленого цвета юбке, туго накрахмаленной, усыпанной золотистыми крапинками. На голове была белая повязка, концы которой свешивались над правым ухом. Простые, грубые сандалии на голых ногах.

Он был ростом ниже Вингера, но его плотная, крепкая фигура, с которой можно было лепить молотобойца, его уверенная неспешная поступь и странный взгляд из-под полуопущенных век, как будто дремлющий и в то же время зорко наблюдающий за всем вокруг, говорили о большой затаенной силе знающего себе цену человека.

Он держался скромно, говорил негромко, не смеялся, жесты его были скупые, как и слова.

Удивительное спокойствие лежало на непроницаемом лице У Джи. И в то же время оно все светилось какой-то сдержанной лукавой веселостью, и эта веселость играла и на золотистых скулах, и на больших длинных губах, хранящих тонкую, чуть ироническую усмешку. На желто-шафранном лбу не было ни одной морщины.

С Вингером он говорил как со старым знакомым, иногда переходя на бирманский. К Отто Мюллеру обращался с изысканной вежливостью. Отто обратил внимание на разбросанные по всему саду ящики самых разных размеров, в которых росли неизвестные ему растения.

У Джи что-то сказал на бирманском языке Вингеру. Вингер перевел Отто:

— У Джи говорит, что тут очень много нужных ему растений, местные названия которых ничего не скажут гостю, а он, к сожалению, не знает, как они называются по-английски. Но есть и такие, о которых он может сказать.

У Джи кивнул головой в благодарность за перевод и сказал:

— Каждое растение — тайна. Посмотрите на цветы: они могут быть красивыми и неприятными для глаза. Они могут быть полезными и вредными. Они могут служить человеку для добрых и злых целей. Меня называют «Врачующий тра-

вами». И это так. Я врачую, а не употребляю во зло силу трав и цветов. Природа дала им многое. Они живут простой жизнью, но в них скрыто и то, что надо найти и разгадать. Вы узнаете какие-нибудь растения?

Отто нерешительно указал на кусты с желтыми цветами.

— Это, кажется, жасмин?

— Да, это желтый жасмин. При его помощи можно вызвать раздвоение зрения, но он же хорошо помогает при глазных болезнях. Рядом с ним — ночной жасмин, он снимает головную боль.

— А зачем вам кактус? — спросил Отто.

— Кактус? Они у меня разные, они прекрасные помощники при сердечных заболеваниях.

— Я узнаю гвоздику! — воскликнул Отто.

— Да, это гвоздика, чуть больше европейской, хорошее лекарство от головной боли. Вот, смотрите, это сумах ядовитый — добрый препарат против ревматизма и экземы.

— Я не называю ничего,— сказал, шагая между ящиков, Вингер,— я уже так давно знаю этот сад и его хозяина, что не хочу притворяться, будто все это вижу первый раз. Мне тут все знакомо. Вот смотрите, Мюллер, на эту травку. Это прехорошенькая травка — куркума. Желтая краска ее корней идет для соуса карри, жгучего, великолепного карри, чтобы он стал огненно-желтым и жег не только горло, но и глаза.

Отто огляделся. Золотисто-розовое небо нависло над садом. Воздух был пронизан одуряющими запахами. Огромные листья банановых деревьев как будто прислушивались к жесткому шепоту пальмовых ветвей. Иные цветы засветились и засверкали, как бабочки, ночной жасмин посылал сладкие, пронзительные потоки, которые смешивались с ароматами неизвестных цветов и трав. Все вокруг казалось ненастоящим, усыпляющим сознание, уводящим в какие-то неизведанные сновидения. Вечер опускался жаркий, душный, несший едва ощутимое дуновение ветерка. Близко было большое озеро.

У Джи нашел, что гости достаточно посмотрели сад, и, низко кланяясь, пригласил их в дом, который отнюдь не представлял бамбуковую постройку, пол которой прогибается под ногами, а в щели видна улица. Это был среднего размера деревянный дом, всем своим видом говоривший, что он построен крепко и надолго.

Большая терраса, устланная коврами, широкие бамбуковые кресла, круглые столы и столики разных размеров. На стенах много мешочков с засушенными растениями и семе-

нами. Бесшумно вошедший слуга внес чашечки и разлил всем ароматный чай. Вингер и У Джи перекинулись несколькими бирманскими фразами. Отто с удовольствием глотал горячий напиток, так непохожий на то, что называется чаем в далекой Германии. Действительно, этот напиток обладал какой-то освежающей силой и в душный вечер казался самым спасительным. Правда, дома Отто предпочитал пить кофе, но теперь придется привыкать к чаю.

У Джи обратился к нему с самой вежливой улыбкой:

— Наш друг Вингер сказал, что вы первые дни в нашей стране. Мы живем скромно, и наше искусство, хотя оно и насчитывает много веков существования, не так известно во всем мире, как искусство вашего народа. Я буду счастлив, если наш скромный народный танец и народная музыка доставят вам некоторое удовольствие.

Сказав это, он покинул террасу. Вингер наклонился через стол к Отто:

— Он сказал так из скрытной гордости: их искусство великолепно. Вы в этом убедитесь сами. Конечно, оно сначала покажется вам необычным, непонятным. Но не обижайте хозяина и похвалите исполнителей как можно сердечнее.

У Джи вернулся не один. С ним пришел молодой бирманец. Он бережно нес музыкальный инструмент, напоминавший арфу. Это был саунг, который показался Отто похожим на маленький, изящный, тонко сделанный кораблик с высоко поднятым и резко загнутым бушпритом; на этом изогнутом грифе были натянуты четырнадцать струн. Молодой бирманец остановился и поклонился гостям церемонным, артистическим поклоном. На нем была белая рубашка, цветистая, вишневого цвета юбка, в смолисто-густые волосы были воткнуты розовые и белые цветы. Он был очень смугл и худощав. Поклонившись еще раз, встал рядом с У Джи.

— Это мой сын,— сказал тихо У Джи,— он очень любит музыку!

У Джи указал сыну место, и тот сел на низкую скамейку и начал устраивать саунг у себя на коленях. Корма этого маленького музыкального кораблика должна была висеть в воздухе, в то время как его середина была крепко зажата коленями. Раздался чистый, звонкий, прозрачный звук саунга. В дверях появилась легкая, как тень, юная девушка, чем-то похожая на хозяина. У нее было такое же выражение лукавой веселости, с той разницей, что на ее губах светилась

ослепительная улыбка и все лицо сверкало нежностью и юным задором.

— Это моя дочь,— тихо сказал У Джи и добавил чуть слышно: — Мать погибла в конце войны.

Он отошел и сел в стороне, сделав знак сыну. Музыкант коснулся арфы, четырнадцать струн зазвенели. Воздух наполнился удивительной музыкой. В ней звучали бесчисленные колокольчики невидимых пагод, проносился ветерок дальних гор, холодный и звонкий, как пастушеский рожок, слышались серебристые удары прибоя, ударяющегося о скалы, волны пробегали по пустынным отмелям, вздымались в ночную вышину и долетали до луны, задевая кроны пальм, и пальмы отвечали им тонкими шелестами своих жестяных ветвей. Вдруг появлялось озеро тишины, и затем снова, как будто пронзая стены, звенели струны саунга.

Девушка в белой кофточке, в длинной золотистой юбке, испещренной узорами, с длиннейшим шлейфом, танцевала свободно, страстно, самозабвенно; казалось, что она импровизирует, но это не было импровизацией. Это было тончайшим искусством, все ее существо строго подчинялось тому порядку танца, при котором руки, ноги, плечи, голова, пальцы рук и ног выполняли определенные положения классического танца с такой легкостью, что казалось, ожила, влетела в дом из безумной тропической ночи огромная пестрая бабочка или дух леса, танцующий под луной на дикой поляне, посетил дом У Джи.

Все сложней и сложней звучала мелодия саунга. Все быстрей и быстрей кружилась танцовщица. Кружась, ей приходилось все время отбрасывать ногой длинный свой шлейф, который опять и опять заплетался вокруг ног и мешал, но искусным поворотом ноги и туловища каждый раз был отбрасываем. Длинные ее волосы, перехваченные светлой лентой, украшенные серебряным цветком, падали черным ручьем на спину. Порой девушка во время танца пела, и тонкий ее голос словно нырял в музыкальный водопад. Саунг звенел неутомимо, и неутомимо изгибался легкий стан. Зажженная лампа смутно освещала террасу. Танцовщица непрерывно меняла позы, со стальной упругостью переставляя ноги, бесконечно откидывая тяжелый шлейф, и бросая руки к волосам, и склоняясь до земли.

В наступавшие паузы, когда смолкал саунг и танцовщица садилась посреди комнаты прямо на пол и поправляла воло-

сы и одежду, отдыхала, слуга вносил на подносе фруктовые соки и ставил их перед гостями.

Потом снова музыкант брался за саунг, а девушка с новой энергией начинала свое колдовство. В ней жило такое непреодолимое, такое неизвестное Отто Мюллеру очарование, что он невольно подпадал под влияние этого безотчетно увлекающего музыкального вихря, этого танца, казалось, потерявшего конец и похожего не на танец обыкновенных, подобных ему людей, а скорее неизвестных пришельцев с другой планеты. Все было чуждо ему в этом танцевальном экстазе, и все влекло его, и он невольно всем существом своим следовал изгибам этого девического тела, всем его движениям. Четкость этих движений, как мысль, преследующая человека неотступно, входила в его сознание и делала пленником неведомого.

И когда саунг последний раз пропел свою серебряную песню, последний раз взмахнула руками юная фея и скрылась после глубокого поклона, а музыкант поднялся и, неся свою арфу, как большую птицу, откланялся тоже, Отто почувствовал, что мир опустел и требуется немедленное присутствие кого-то, кто мог бы его утешить после такой потери. Но Хильдегарды здесь не было, не было и не будет. Он начал аплодировать, как и Вильгельм Вингер.

— Ну как, Мюллер, хорошо скромное искусство? — сказал Вингер.

Отто поднял в воздух обе руки, сжав их, и глубоко вздохнул.

Они оба начали горячо благодарить хозяина за доставленное удовольствие. Они не жалели комплиментов.

У Джи почтительно слушал их.

— Пойдем дальше,— сказал по-бирмански Вингер.

«Прорицатель трав» внимательно посмотрел на Отто, потом на Вингера.

— А он хочет?

— Я сейчас спрошу! Отто, это была первая часть программы. Хочешь ли ты испытать вторую?

— А что для этого надо сделать?

— Надо выпить одну маленькую чашку травяного и цветочного настоя и увидеть нечто!

Отто вопросительно взглянул на У Джи.

У Джи сказал:

— Я лечу травами и цветами и приношу облегчение. Я не причиняю людям боли. Такин Вингер это знает!

Видя недоумение и колебания Отто, Вингер сказал тихо:

— Конечно, если вы не уверены в себе, лучше не делать этого опыта. Но уверяю вас, что он безопасен...

— Я согласен,— сказал Отто.

— Хорошо.— У Джи спросил Вингера по-бирмански: — Что вы хотите? Если что-нибудь тяжелое для него...

— Нет, нет! Я просто хочу знать, что у него в голове.

У Джи поклонился обоим.

— Я вас сейчас оставлю на некоторое время одних. Я должен приготовиться. Но это будет недолго.

Он покинул террасу спокойными, короткими, сильными шагами.

— Это будет какой-нибудь факирский фокус? — спросил Отто.— Я видел в цирке в Германии факира, который ел огонь, и ходил по саблям босыми ногами, и отгадывал, сколько в кошельке марок. Это было довольно скучно...

— Видите, наш друг У Джи оперирует только цветами и травами. Он прекрасно подбирает их и настаивает, его напитки доставляют совершенно новые ощущения, и вы не будете разочарованы.

Они пили ананасную воду и ели бело-земляничную мякоть лиловых больших мангустанов. В дверях появился У Джи. Он был так же невозмутим, и лицо его, полное веселого лукавства, не выражало никакого беспокойства. Но глаза не походили на те, полускрытые и дремлющие. Теперь они были как будто устремленными в пространство.

У Джи пригласил их следовать в другое помещение. Слуга нес за ними лампу. Комната, в которой они теперь находились, была небольшой. Пол был устлан разноцветными бамбуковыми циновками. Три широких низких бамбуковых кресла, маленький круглый стол. Другой стол, побольше, стоял у дальней стены. На нем горела спиртовка.

Слуга ушел. У Джи открыл маленький, висевший на стене шкафчик и начал пересыпать какие-то порошки из мешочка в синюю тонкую чашку с красным драконом. На спиртовке над крошечной кастрюлькой подымался голубой пар. Пахло чем-то терпким и горьким. У Джи приподнял крышку кастрюльки, помешал варево, сказал:

— Сейчас будет готово. Это можно пить и не совсем горячим, но не теплым.

Отто чувствовал себя все хуже и хуже. Нет, он не боялся того, что его отравят, он опасался, что он попробует какого-

то немыслимого снадобья и его просто вырвет от отвращения. Он не хотел осрамиться перед этим молчаливым бирманцем и доставить удовольствие надменному, полоумному Вингеру. Ему не нравилось, что они временами перекидывались фразами на языке, которого он не понимал. Но он решил идти до конца. Пусть будет что будет.

Поэтому, когда У Джи поднес ему синюю чашку, полную зеленовато-мутной жидкости, напоминающей чай, в который бросили кусок мыла, он смело взял ее в руки и спросил:

— Пить залпом?

— Нет,— сказал У Джи,— пейте в пять глотков, с паузами. И ничего не бойтесь.

Отто приблизил чашку к губам. Острый опьяняющий запах захватил дыхание. Он увидел теперь широко раскрытые глаза бирманца и начал пить, делая паузы; он выпил весь напиток и сидел, окаменев. Потом судорога бросила его в глубину бамбукового кресла, и У Джи устроил его удобнее. Он сидел с закрытыми глазами, как будто уснул мгновенно и очень крепко.

У Джи подвинул ближе к нему столик, знаком попросил, чтобы Вингер сел ближе, и положил руку на лоб Отто.

— Первый приступ будет через пятнадцать минут. Мы должны условиться вот о чем. Он будет что-то говорить. Но говорить он будет на своем языке. Я его не знаю. Поэтому, если я не пойму, что происходит, вы скажете мне. Если вы не поймете его, я скажу вам...

— Как же вы поймете, если он заговорит? — спросил Вингер.

— Мне не надо слышать, что он говорит. Я увижу то же, что он увидит! А теперь молчание. Я должен приготовить еще одну порцию для продолжения.

Когда Отто проглотил содержимое чашки, он испытал странное облегчение, точно потерял вес. Потом черный мрак поглотил его сознание. И вдруг вокруг него начали светиться огромные круги, радуги раскрывались над его головой, какие-то северные сияния стлались ему под ноги. И он шел, наступая на яркие световые полосы, которые начали свертываться и превращаться в узкий коридор. Он опирался на стенки этого коридора, и лучи пружинили, как резиновые. Это было даже смешно, и сколько он шел по коридору, он не мог бы сказать. Ему показалось, что он шел несколько лет. Вдруг

коридор оборвался, и жгучий вихрь подхватил его, закружил и бросил на песок. Он встал, отряхиваясь и оглядываясь. Что-то похожее на пальмы было справа. Что-то похожее на красную стенку было слева. Он пошел прямо вперед. Какая-то точка возникла на дальнем-дальнем горизонте — меньше мухи. Точка росла со страшной силой, а он шел ей навстречу. Точка стала величиной с собаку, потом она как-то разом выросла, и он увидел, как на него бежит огромный, бросая клочья пены, чем-то взбешенный, разъяренный черный буйвол. Он, не помня себя от ужаса, повернулся и бросился бежать... Сердце его колотилось бешено. Он бежал и кричал изо всех сил: «Черный буйвол! Черный буйвол!»

— Он кричит «черный буйвол»! — воскликнул Вингер.

Руки сидевшего Отто стали качаться, как у человека, который размахивает ими на бегу. Пот катился по его лицу.

— Он бежит от черного буйвола,— сказал У Джи и приложил к голове Отто тряпку, от которой пахло муравьиным спиртом.

Голова Отто дернулась, руки упали на колени. Казалось, он тихо заснул.

Вингер хотел заговорить. У Джи предостерегающе поднял руку. Лицо Отто начало светлеть, как у человека, подставляющего щеки солнечным лучам. Он улыбался. Его руки искали что-то. У Джи подвинул к нему стол. Отто наклонился над столом, и дальше его движения походили на пантомиму. Вингер и У Джи молча смотрели, как он что-то высыпал из невидимого пакета, потом катал по столу, потом подносил к глазам, считал, останавливался, опять пересчитывал. Его губы шептали; Вингер вынул из кармана блокнот, написал на нем несколько слов и протянул бирманцу. У Джи прочел: «Он говорит почему-то: «Опал, изумруд, лунный камень, рубин...» У Джи написал на бумаге: «Он играет драгоценными камнями, ссыпает в кучку и рассыпает их».

Лицо Отто было спокойное и торжествующее. Вдруг он воскликнул:

— Хильдегарда! Хильдегарда!

«Я вижу женщину! — написал на бумажке У Джи.— Что он кричит?»

— Он выкликает ее имя, немецкое имя,— ответил Вингер.

Отто не слышал и не видел ничего. Он спал со спокойным розовым лицом, дышал ровно и тихо.

У Джи встал и отошел к своему шкафчику, поманил пальцем Вингера. Вингер подошел к нему. У Джи сказал, открывая шкафчик:

— Это примитивный случай. Он где-то видел буйвола, который его напугал на всю жизнь, и он хочет в Бирме достать для своей девушки драгоценные камни. Будем продолжать?

— Сколько он еще выдержит?

— Я дам ему еще полчашки, и этого будет достаточно. Но он должен спать полчаса. Мы можем попить чаю. Или вы хотите фруктов?

— Нет,— сказал Вингер,— я ничего не хочу. Посидим, поговорим, пока он спит. Надеюсь, на его здоровье это не отразится? Если мы продолжим опыт?

— У него будет завтра туманная голова, а потом все пройдет.

Они сидели и разговаривали. Потом У Джи поднял голову Отто, рот сидевшего сейчас же открылся, и Отто проглотил напиток с покорностью ребенка, принимающего горькое лекарство. Теперь Отто вплыл в какие-то необычайные зеленые просторы, где он начал расти и все вокруг него стало маленьким, таким маленьким, что он мог брать и срывать деревья, как спички, и их кудрявые вершины были с ноготок, он переходил вброд море и поднимал пароходик, рассматривал его и ставил обратно на воду. Потом он вступил в какой-то оранжевый круг, и круг завертелся с такой силой, что Отто начал уменьшаться с каждым поворотом этого оранжевого солнца. И скоро он уменьшился до нормального размера и увидел, что он сидит на кровати и рядом — Хильдегарда, которая гладит его по волосам. Он растерянно потянулся, чтобы схватить ее, но перед ним на самолете с рюмкой коньяку уже возвышалась стюардесса с лицом Хильдегарды, и она была в купальном костюме, на котором стояло почему-то «САС». Какой-то туман наплыл на него, кто-то закричал ему в ухо: «Рим!» — и он провалился в этот туман, и, когда он из него выбрался, перед ним мелькнула девушка, у которой было сходство с бирманцем, с каким-то почти знакомым человеком, но это было не то, другая девушка уже была в его объятиях...

— Он ничего не говорит,— шепнул Вингер,— что происходит?

— Он увлечен какой-то девушкой?

— Может быть, это немка Хильдегарда...

— Нет, она танцовщица.

— Он видит вашу дочь?

— Нет, она похожа на малайку, богато одета. Не знаю, мне плохо видно...

— Почему?

— Это не жизнь, это только призрак...

— Кто призрак? Девушка...

— Да, тише, что-то происходит!

Они смотрели на Отто и видели, как он ворочается в своем кресле, как он что-то шепчет, кого-то обнимает, смеется, гладит рукой кресло, целует воздух... На лице Отто написано было полное блаженство...

Пожимая плечами, У Джи пошел к шкафчику, и налил в чашку сильно пахнущей настойки, и положил в чашку желтый платок.

Перед Отто носились какие-то маски, рожи, морды с оскаленными клыками, накрашенные, как на карнавале.

Потом удар молнии раздробил девушку, лежавшую у него на коленях, на куски. Морды и маски набросились на него...

— Я не разберу,— сказал У Джи,— ему кажется, что его и девушку какие-то неведомые люди, кто, не знаю, раздели, и привязали к плоту, и плот бросили в реку. Но все это не то...

— Что не то? — спросил Вингер.

— Это не жизненные явления, это миражи!

Отто хрипел и стонал, извивался в своем кресле; он переживал что-то очень мучительное, потом его скорчило, он обессиленно вытянулся и вдруг почти выпрямился в кресле и закричал страшным голосом:

— Крокодилы! Крокодилы!

Его крик, непонятный, но исходящий из мрачного, безвыходного отчаяния, смутил Вингера.

— Ему кажутся крокодилы, которые должны его сожрать,— сказал спокойно У Джи.

— Больше не надо! Довольно! — Вингер показал на бьющегося в истерике Отто.— Хватит!

— Хорошо! — У Джи положил руки на голову Отто и держал их, пока он не стих. Потом он вытер ему лицо желтым платком, смоченным очень резко пахнущей эссенцией, и поправил спящего, поудобнее усадив его.

— Все,— сказал он, взял свое кресло и поставил его подальше от Отто. Вдвоем они перенесли стол на старое место, и У Джи начал приводить в порядок свой шкафчик. Он убрал спиртовку, чашку, платок и долго пересыпал что-то из

мешочка в мешочек. Потом он закрыл шкафчик на ключ, ключ спрятал в карман своей куртки и вернулся к Вингеру, сидевшему в задумчивости у стола.

— Вы довольны? — спросил он.

— Если хотите, да,— ответил Вингер.— Если бы мы еще кое-что вытрясли из его головы, мне кажется, это нас не обогатило бы. Как вы думаете?

Непроницаемое лицо У Джи было наполнено, как всегда, скрытой веселостью, он пожал плечами.

— Когда он придет в себя, не спрашивайте его ни о чем. Дайте ему успокоиться.

— У него ночью не будет кошмаров?

— Нет, это все пройдет вместе со сном. Если ему не напоминать, он об этом сам никогда не вспомнит.

— А он будет помнить все, что пережил?

— Только отрывками, потому что это его же собственные мысли. Они всегда с ним.

— Сколько он должен спать сейчас?

— Полчаса... не меньше, но и не больше.

— Можно послать вашего слугу, чтобы он достал машину?

— Тут рядом можно достать машину у моего знакомого. Он отвезет вас. Я пошлю к нему слугу, чтобы он был тут через час.

Отто спал безмятежно, как в собственной постели. Никакие видения больше его не беспокоили. Какой-то большой покой опустился на его измученную кошмарами голову. Когда он проснулся, то с крайним удивлением обнаружил, что он сидит в бамбуковом кресле в неизвестной комнате и перед ним ходит медленно от стенки к стенке высокий, сутулый Вингер, а над Отто склонился бирманец с широкими скулами и неулыбающимся ртом — У Джи.

Сознание возвращалось к нему клочьями. Но он наконец вытянул руки, глубоко вздохнул, встал на ноги и зевнул во всю мощь. У Джи поднес ему стакан ананасного сока, к которому было что-то примешано, и он выпил его залпом. Много смутного было еще в его голове, но никакой боли он не ощущал. Он подошел к Вингеру.

— Все-таки я завтра утром должен лететь. И я бы хотел попасть в гостиницу.

— Через двадцать минут будет машина. Как вы себя чувствуете?

— Как после хорошего пьянства — и сладко и горько.

Не знаю, почему вы это называли удивительными ощущениями...

— Мы поговорим дома,— сказал Вингер, чувствуя, что в Отто нарастает непонятная злость.— Что-то хочет сказать наш добрый хозяин?

У Джи сказал по-бирмански несколько фраз.

— Он говорит, что он озабочен тем, как чувствуете себя вы, и спрашивает, не хотите ли вы узнать что-нибудь из будущего. Он может в другой раз...

— Я скажу ему сам.— Отто подошел к У Джи и смотрел на него полусонными глазами.— Благодарю вас за сегодняшний вечер, теперь я хорошо узнал ваше народное искусство и ваше личное искусство врачевания. Я здоров и очень сожалею, что не имею любопытства заглядывать в будущее, хотя и говорят про меня, что я иногда делаю легкомысленные шаги, а я их действительно делаю... Нет, не будем заглядывать в будущий день. Удовольствуемся тем, что нынешний день кончается к общему удовольствию. Большой привет вашей дочери и сыну, великолепным артистам, которые украсили бы самую большую сцену...

У Джи проводил их до машины. Отто всю дорогу сумрачно молчал, его не интересовали ночные улицы и площади, но, когда они доехали до Странд-отеля, он сказал Вингеру:

— Вы могли бы на минуту подняться ко мне?

— Пожалуйста,— сказал Вингер,— мне завтра никуда не надо уезжать, и я с радостью выпью с вами пинджину со льдом...

В номере, когда Отто принял душ, переоделся и совершенно спокойно сидел с Вингером, говоря о предстоящей поездке, он вдруг отставил стакан и, смотря насупившись в иронические глаза Вингера, спросил:

— Что это было?

— О чем вы говорите?

— Я спрашиваю, что было там, у этого садовода, с позволения сказать?

— Что было? Мы пили чай после осмотра сада, потом прекрасный музыкант сыграл нам прелестные пьесы, а очаровательная дочка хозяина исполняла искусно самые красивые народные танцы...

— Я спрашиваю не об этом. Это я хорошо помню... А о том, что было после, когда меня угостили с вашего разрешения каким-то мерзким пойлом, не хочу думать, из чего составленным...

— А что, у вас остались болезненные впечатления?

— К счастью, этого не было. Но я что-то, кажется, кричал? Или мне это казалось?

— Да, вы действительно кричали!

— Что же я кричал?

— Вы кричали почему-то очень испуганно: «Черный буйвол, черный буйвол!» Было впечатление, что вы от него бежите и он вас преследует. Ваш крик звал на помощь!

— Что было еще? О чем я еще говорил или кричал?

— Потом вам понравились камни!

— Какие камни?..

— По-видимому, драгоценные, потому что вы называли: рубин, опал, изумруд, лунный камень...

Отто встал со стула, потер лоб и снова сел, уставившись на Вингера злыми глазами.

— И еще вы называли некую девушку или даму по имени Хильдегарда... Редкое имя!

— Я что-нибудь говорил о ней?

— Нет, вы назвали только два раза ее имя, больше ничего.

— Что было еще? Говорите все.

— Потом у вас вышли какие-то неприятности с крокодилами...

— Не может быть, при чем тут крокодилы?

— Я же не сочиняю. Вы все это переживали так, как будто это все происходило на самом деле. Что-то говорили перед этим о девушке, с которой вы оказались в довольно бедственном положении на плоту, и тут на вас напали крокодилы, как раньше черный буйвол. Удивительные ощущения!

— Это — идиотское наваждение,— сказал Отто.

— Вы недовольны? А разве вы не пережили удивительных картин, снов, миражей в неизвестной стране? Вы купались в блаженстве и умирали от отчаяния. Для одного вечера сад, музыка, танцы и великолепные миражи — разве этого мало? Вы побледнели? Вам плохо! Это пройдет без всяких последствий...

Отто весь сжался от этого холодного, сильного голоса, который звучал в его ушах как продолжение испытанных кошмаров. Он заговорил тихо, волнуясь:

— Послушайте, Вингер, мы с вами знакомы два дня. Против меня вы ничего не можете иметь. Зачем вы сделали это со мной?

Вингер улыбнулся и отвечал, тоже не повышая голоса:

— Разве вы не помните, что, когда я приглашал вас на вечер, фрейлейн Клара из нашего представительства сказала, что они все, то есть наши компатриоты, уже вкусили чудес. И она добавила, что вы тоже не будете жалеть. Вы жалеете?

— Нет, вы говорите не то...

Отто замолчал. Как это он дал себя так глупо провести, да еще впутал сюда Хильдегарду! Он чувствовал себя, как будто стал стеклянным. Ужасно и то, что он никогда не узнает всего происходившего, что выпытал от него Вингер, который потом будет всем рассказывать об этом, издеваясь, глумясь. Вот что получилось от его дурацкого согласия на этот шантаж...

Вингер, внимательно присматривавшийся к нему, как будто прочел его мысли и сказал спокойно, словно это была простая дружеская беседа:

— Слушайте, Отто Мюллер, я даю вам честное слово, что никто никогда не узнает, что происходило в этот вечер, если только вы сами не расскажете об этом кому-нибудь и так, как вам захочется, как сочтете нужным. У Джи, как врач, обязан хранить тайну, и он никогда не нарушит слова. Он принял нас как гостей, как добрый хозяин и по нашей просьбе показал нам один опыт из практики врачевателя, который является знатоком цветов и трав. И я думаю, что все, что я сейчас сказал, вам понятно.

Но Отто уже не слушал, что говорил Вингер. На него напал припадок непонятной злобы. Он сказал в полном бешенстве:

— Вы все это сделали нарочно! Я знаю, зачем вы это сделали! Вы заманили меня к этому шарлатану, чтобы выпытать из меня что-то! Но я презираю такие способы узнавать о человеке! Вы это сделали, чтобы унизить меня! Я вам этого никогда не прощу! Вы хотели осмеять и унизить белого человека при помощи самого дурацкого фокусничества, потому что вы с ними против нас!..

— Против кого — нас? — нахмурясь, спросил Вингер.

— Против тех, кто расово выше их. Но все равно я не приму вашего мнения об азиатах и не подчинюсь ему...

Вингер молча смотрел на разбушевавшегося Отто, и, когда тот в ярости вскочил и начал ходить по номеру, он тоже встал и сказал:

— Вы глубоко ошибаетесь, думая, что я хотел почему-то унизить ваше европейское достоинство. Я далек от этого.

Сегодня европейское и азиатское достоинства равны. Вы поедете в глубь этой страны, и там во время ваших работ вы увидите много разных людей, вы вспомните меня и поймете, что здесь живут люди такие же, как в Европе, в Африке или на любом другом континенте. Если бы в Германии врачи проделали с вами такой же опыт, какой проделал по моей просьбе У Джи, вы бы не только не рассердились, а хвастались бы своей близостью к передовой науке. Вам ведь известно, что германские врачи проделывают бесстрашно опаснейшие опыты над собой. Ваш был детским экспериментом. Повторяю, вы в стране, где уже много нового, в стране, которая не остановится, она идет по пути общего прогресса, но со своим уклоном...

— С каким со своим?! Какой это уклон, интересно знать? — запальчиво закричал Отто.

— Я боюсь, что этот уклон называется социалистическим. И я не ошибусь, если скажу, что в ближайшие годы бирманцы будут делить помещичьи земли, национализировать нефтяные предприятия и монополизировать торговлю рисом. Пройдите в Рангуне в больницу или в университет, и вы увидите достижения бирманской культуры.

Отто молчал.

— И давайте расстанемся друзьями. Нам не из-за чего ссориться.

Отто гордо выпятил грудь.

— Что бы вы ни говорили, мы создадим новую колониальную Германскую империю...

— Создавайте, если сможете, если вам этого так хочется! Создавайте, желаю вам успеха! — Он иронически поклонился.— Но мои слова вы вспомните не раз! А сейчас ложитесь спать: ваш самолет летит очень рано. Вам надо выспаться!

И хмурый, но чем-то довольный Вильгельм Вингер покинул Странд-отель, оставив Отто в довольно большой задумчивости.

Самолет был маленький и всем своим видом говорил, что он много пережил на своем веку, но никогда не сдавался и готов еще поспорить с трудностями и летать, пока хватит сил. Казалось, что бравая наружность маленького кораблика похожа на искателя приключений, с лицом, изборожденным шрамами. Отто усмехнулся, увидев странное сооруже-

ние, и тут же придумал, как он будет рассказывать дома об этом полете: описывая пассажиров, он обязательно скажет, что они садились, не обращая внимания на то, что фюзеляж был весь в дырках и в трещинах, сквозь которые просвечивало небо, но, чтобы заткнуть самую большую дыру в хвосте, посадили толстого, в оранжевой хламиде монаха... Но самолетик самоотверженно выполнил свой долг и благополучно приземлился там, где положено.

После перелета земля с ее пронизывающим до костей жаром показалась такой знакомой, точно Отто уже давно видел эти равнины, окруженные холмами сожженной бурой зелени, деревни, где женщины в одеждах поливали друг друга водой тут же, на улице, и шли по своим делам.

Старенький, подпрыгивающий на бугристой дороге «джип» уносил его в сторону от этой равнины, и с каждым поворотом дороги лес все гуще смыкался вокруг маленькой машины, в которой были только шофер, Отто Мюллер и похожий на кузнечика стройный, спокойный бирманец небольшого роста, инженер, увозивший Отто к его шефам в неизвестную даль. У Тин-бо, несмотря на его худобу, казалось, весь состоял из железных мускулов, тонких, но гибких. Он выпрыгивал из «джипа», как акробат, соскакивавший с проволоки,— легко и привычно. Его лицо было хорошего шафранного цвета. Оно походило на лицо взрослого ребенка. Оно могло от улыбки становиться чрезвычайно добрым и вдруг делаться непроницаемым. В такие минуты он как будто погружался в далекие мысли, и окружающее переставало существовать для него.

Отто Мюллер ехал в «джипе», сохраняя предельное, невозмутимое, чисто германское самодовольство. Он хорошо себя чувствовал в этой тропической обстановке, где его положение привилегированного специалиста, которого уважают, выписали издалека, которым дорожат, давало ему уверенность в своем бесспорном превосходстве над этими маленькими, быстрыми в движениях людьми, одетыми в белые рубашки и пестрые лонджи — полосы материи, охватывающие, как юбки, их бедра. Правда, его сосед У Тин-бо был в легком европейском сером костюме, голову украшала темно-коричневого фетра шляпа с широкими полями, и только сандалии у него были, как у любого бирманца, надеты на босу ногу.

Когда они совсем уже въехали в непролазную гущу леса, а дорога все продолжала петлять и то взбираться на холмы,

то сбегать в мягкие котловины и уже появилось ощущение, что так они будут ехать день за днем, У Тин-бо заговорил:

— Вы видите, какое у нас лесное богатство. У нас есть не только лес. Есть в нашей стране и нефть, и олово, и вольфрам, и железная руда, и медь, и цинк, и драгоценные камни всех сортов...

— Мы поможем вам,— снисходительно сказал Отто,— мы придем вам на помощь. Вот только жара... Скажите, у меня будет человек, чтобы носить за мной зонтик?..

— Будет,— сказал пристально посмотревший на него инженер.

— А будет у меня человек, который будет носить за мной складной стул и необходимые приборы? — снова спросил Отто.

— Будет,— сказал бирманец, смотря на Отто так, точно начинал сомневаться, того ли специалиста он везет в горы.

Но Отто посмотрел голубыми прозрачными глазами, ничего не выражавшими, кроме бесконечной надменности.

— Вы хотите создать у себя в стране новое хозяйство, основанное на достижениях передовой европейской культуры и техники?

— Да,— ответил У Тин-бо. Его детское, открытое лицо стало теперь сосредоточенным, а глаза приняли холодное выражение, точно ему хотелось сказать что-то злое, но он слушал дальше молча.

Отто продолжал:

— Без нас вам не удастся сделать, чтобы Бирма расцвела. Но вы хорошо поступили, что пригласили специалистов, не политиков, а специалистов, потому что ни от каких речей не прибавится выработка железа и добыча цветных металлов. Лучше германских специалистов сейчас нет никого. Вы где учились?

— Я учился в Рангунском университете. У меня не было денег ехать в Европу... Я добился знаний большим трудом.

— Хорошо,— сказал Отто, чувствуя, что этот маленький человек с упрямыми глазами как бы признает его непоколебимое превосходство над собой.— У вас очень хорошие леса...

Бирманец ничего не ответил. Они ехали настоящими джунглями. Вокруг не было ни людей, ни деревушек. Ни одна крыша охотничьего или дорожного домика не нарушала беснующееся море зеленых красок. Никакой художник не мог бы найти столько оттенков зеленого, сколько здесь щедрая кисть природы представляла изумленному глазу.

С трудом следя за этой бесконечной сменой деревьев, кустов, лиан, цветов, Отто должен был сознаться, что почти все ему незнакомо. Редко-редко он, казалось, ловил глазами что-то знакомое, дерево или куст, похожий на далекого европейского собрата, и снова летели зеленые видения, а «джип» все бежал, натужась и поскрипывая, сквозь это изумрудное чудо.

Он посмотрел на примолкшего бирманца и, не сдерживая полноты чувств, которые требовали, чтобы кто-то разделил их, сказал:

— Возьмите эти джунгли! Дикие, мрачные, недоступные дебри! Я знаю, что туземцы боятся джунглей. Туземцы боятся их потому, что, будучи невежественными, населяют их духами, нечистой силой, привидениями. Они боятся их потому, что не могут бороться с дикими зверями; европеец же входит в них и делает все, что хочет. Он покорял различные джунгли, усмирим быстро и эти. Конечно, без нас вы ничего не сделаете. Мы, специалисты, подчиним эту дикую силу на пользу вашей стране...

Бирманец чуть наклонился к шоферу и сказал на своем языке, Отто не мог понять этих слов:

— У пятого поворота останови машину. Скажи, что не в порядке мотор. Остановка на полчаса. Так нужно...

Шофер не выразил никакого удивления. Он только переспросил для точности:

— У пятого?

— Да!

У Тин-бо сказал Отто:

— Эти шоферы ездят иногда здесь с поразительной небрежностью. Они совсем не следят за дорогой. В джунглях даже днем случаются неприятности и с людьми и с машинами...

— Да, я слышал, у вас гражданская война,— ответил Отто.— Но ведь нас, иностранных специалистов, это не касается. Мы нейтральны...

У Тин-бо заметил, что дорога в этих местах совершенно безопасна и что он имел в виду совсем другое. Мало ли что может случиться с мотором, и потом сиди и жди часами среди девственного леса, обитатели которого иногда излишне воинственны...

У Тин-бо надолго замолчал.

Он вспомнил один рассвет далеких времен, тот, когда с ним случилось необычное происшествие. У Тин-бо командо-

вал тогда разведчиками партизанского отряда в джунглях. Он уже не раз участвовал в тяжелых экспедициях в этом зеленом аду. Выслеживая японских захватчиков, нападая на их посты, он приобрел опыт разрушения дорог и мостов, сражений с многочисленными врагами, но, кроме того, пребывание среди бирманских партизан открыло ему глаза на многое.

Он вел беседы с рядовыми партизанами о войне, рассказывал, что делается на фронтах, в далекой Европе. Люди знали от него о том, как Советская Армия разгромила под Сталинградом гитлеровцев, как гонит захватчиков со своей земли и что, видимо, война идет к концу. У Тин-бо говорил и о том, что, победив, бирманский народ перестроит всю жизнь в родной стране. Он уже понимал, что не всякий европеец — враг бирманца и не всякий азиат — друг его. То, что партизаны убивали самураев, было только справедливо. Самураи — безжалостные убийцы мирного населения, не щадили ни женщин, ни детей, сжигали селения, вешали, рубили головы, грабили и уничтожали все, что могли.

У Тин-бо привык к джунглям. Он бесстрашно бродил по самым глухим дебрям. В то утро, когда туман поднялся и можно было уже ориентироваться в болотистых бамбуковых зарослях, отличный проводник вывел разведчиков в полосу твердой земли, где можно было разбиться на маленькие группы и прочесать нужный район, двигаясь безостановочно.

Резкий вопль обезьяны-ревуна прорезал сырой воздух. Это был условный сигнал, и он означал: внимание!

Сначала У Тин-бо услышал дальний шорох, потом треск ветвей, и, хотя там были очень колючие кусты, рвавшие и одежду и тело, приближавшийся, видимо, не обращал на них внимания.

Он стремился выйти на твердую землю из топких низин, и скоро У Тин-бо, встав за большое тамариндовое дерево, увидел смельчака, бросившего вызов джунглям.

Вид этого человека поразил его. То, что это не японец и не бирманец, понятно было с первого взгляда. Жалкие лохмотья едва прикрывали его. Обросший клочковатой рыжей бородой, с большим суком в руке был, несомненно, европейцем.

Но кто он? Откуда взялся в этой жуткой чаще? И У Тин-бо решил: верно, этот человек рискнул на невозможное: бежал из японского плена в джунгли, не имея ни оружия, ни компаса, ни продовольствия... Как он выжил? Куда шел сквозь

тысячи неведомых опасностей, проводя ночи, видимо, на деревьях? Чем питался? Все было загадкой. Одно было ясно: человеку невероятно повезло, он в конце концов вышел на партизан.

Когда человек, шатаясь от неимоверной усталости, приблизился к дереву, за которым стоял У Тин-бо, тот сам шагнул ему навстречу и сказал по-английски:

— Остановитесь, не бойтесь, мы бирманские партизаны, враги японцев...

Человек стоял шатаясь, и его глубоко ввалившиеся глаза, воспаленные, в лихорадочном огне, и его лицо и тело в кровоподтеках, ссадинах, ранах, шрамах были живым свидетельством того, что он пережил.

У Тин-бо и его товарищи с трудом довели человека до своего лагеря. Он оказался англичанином, который поведал обычную историю тех трагических времен.

Взятого в Сингапуре в плен, его пригнали прокладывать дорогу через джунгли. Его рассказ был страшен, и все слушали в глубоком молчании.

Отчаяние дало пленному силы, счастливая случайность вывела на партизанские посты. Он долго отлеживался, встал в конце концов на ноги, но силы его были подорваны, и хотя он принимал участие в боях и отличался особой храбростью, но все знали, что дни его сочтены, потому что перенесенные им мучения и лихорадка джунглей сломили его.

Наконец он умер. Его похоронили в хорошем, сухом месте, и память о нем осталась у людей, с оружием боровшихся за свободу страны.

И потом, когда пришла победа, его вспомнили еще и потому, что много европейцев-друзей пришло в Бирму. Пришли друзья из Советского Союза, из социалистических стран, из многих других стран. Каждый народ имеет плохих и хороших людей. Но вот такие, вроде этого молодого немца, они не представляют себе действительности, не имеют понятия, что Азия изменилась, в них по-прежнему живет скрытый дух старого, презрительного отношения к «туземцам». И надо их, думал У Тин-бо, воспитывать, надо им показывать, кто мы и что сейчас нас невозможно больше угнетать. Надо вежливо сказать этому молодому человеку, что мы хотим не сохранения старого порядка, а новой страны — передовой, равной другим странам...

Машина продолжала мчаться так быстро, что казалось, зеленый навес превращается в какой-то подводный коридор,

точно машина мчится по дну зеленой реки. Вдруг машина сделала какой-то странный скачок, что-то застучало в моторе, и «джип» остановился. Шофер с застывшим лицом пробормотал несколько слов и соскочил на землю.

У Тин-бо покачал неодобрительно головой, вылез вслед за ним. Шофер поднял крышку капота. Потом инженер сказал озабоченно Отто Мюллеру:

— Нам придется немного погулять. С мотором что-то случилось. Я как будто предчувствовал, что будет не все хорошо с этой машиной. Ну что ж, пока он копается, мы разомнем ноги. Прошу вас...

Он хотел помочь Отто вылезти, но Отто выпрыгнул сам, слегка отстранив маленькую коричневую руку инженера, упругую, как пружина. Отто понимал кое-что в машинах, но сейчас, при этой, вероятно небольшой, аварии, ему, европейцу, лезть в присутствии двух азиатов в мотор и копаться там, как простой слесарь, техник, было просто невозможно.

Он сделал вслед за бирманцем несколько шагов и остановился, чтобы оглядеться. Сбоку лежало подобие поляны, так густо заросшей неизвестными ему травяными высокими растениями, что пробраться через них не представлялось никакой возможности. Но, пройдя немного, миновав эту удивительную поляну, бирманец и Отто увидели что-то вроде тропы. Как будто здесь непролазная чаща раздвинулась, и в эту узкую щель можно было углубиться в джунгли.

— Это тропинка,— сказал У Тин-бо,— пройдемте немного по ней.

Отказываться не было причины, и Отто вступил вслед за бирманцем в глубину темно-зеленой чащи. Тропинка была узкая, самого дикого вида. Она обходила высокие, выше человеческого роста, подпорки. Эти подпорки поддерживали могучие деревья, уносившие свои кроны в такую высоту, что разглядеть что-либо там, где все перепуталось ветвями, где листья всех оттенков слились в один шатер, было невозможно. Под ногами клубились какие-то завязанные узлами ветви с длинными шипами. Всевозможные лианы вползали на деревья, обвивали их и уходили вверх в густой сумрак.

Отто медленно, пораженный величием окружающего леса, шел за бирманцем, молча посматривая по сторонам.

Бирманец остановился.

Несколько минут они, не говоря ни слова, всматривались в это первозданное зеленое царство. Порядка, какой Отто привык видеть в лесах на родине, здесь не существовало.

Это было буйство неслыханного, ничем не сдерживаемого творчества зеленых сил леса. Гиганты, создав себе отвесные, серые, как бетон, подпорки, чтобы стоять с могучей прямизной, гнали к солнцу стволы исполинской толщины. Они поднимались из зеленого мрака, где лианы свисали длинными гирляндами, путаясь с воздушными корнями, штурмуя высочайшие ветви и стелясь по земле... Все, что могло жить и приспособляться к жизни великого леса, все было погружено в хаос ветвей, лиан, упавших и сгнивших деревьев. Только приглядевшись, глаз мог обнаружить гигантские моховые ковры, лишаи, папоротники. И повсюду ослепительно сияли яркой густотой цветы, распространявшие сотни запахов — от самых удушливых до тончайших ароматов.

— Много ли вам известно здесь растений? — спросил У Тин-бо, указывая на подавляющую роскошь первобытного мира.

— Я вижу орхидеи, только они здесь значительно больше, чем на моей родине...— сказал Отто, не могший скрыть некоторого волнения.— Деревья, сознаюсь, мне незнакомы...

— То, которое видите впереди, такое, с гладким стволом,— это наше дерево, его зовут пьинкадо, а за ним исполинское, очень многоветвистое, могучее — это царь наших лесов — пьинмо... Посмотрите, сколько папоротников, цветущих лиан и орхидей, но они растут не на земле. Они подымаются, как на руках, во все этажи леса, забираются по стволам и сучьям. Им не надо почвы... Посмотрите...

В воздухе было душно и влажно, точно весь этот сумрак был пронизан вредными, тяжелыми испарениями. На мгновение Отто почувствовал легкое головокружение, чаща чуть сместилась перед ним. Он закрыл глаза, и, когда открыл их, холодная струйка пробежала у него по спине. Ему показалось, что бирманец исчез и он остался один на один с этой свирепой, жуткой зеленой чащей. Да и в самом деле Отто стоял на непонятной тропе. Неужели он сошел с прежней? Все вокруг как было и все-таки не так. Появилось неприятное ощущение, что все эти моховые и папоротниковые завесы мгновенно опустились и закрыли ему выход. Ему показалось, что сквозь эти струящиеся, нависшие над головой, ползающие по земле ветви, кусты, сквозь пестрые ядовито-зеленые листья на него и сверху и с боков смотрят глаза, много разных глаз, и цвет этих глаз меняется, точно кто-то освещает их электрическим фонариком.

Он сдержал невольный крик, когда зашевелилась большая ветвь, усыпанная ярко-красными цветами,— зверь! Черт возьми, до чего все глупо! Ветвь с сухим шелестом обломилась. Из-за нее вышел У Тин-бо. Он был вежлив, в его глазах светилось детское любопытство, и его лицо было лицом большого ребенка, которому нравится игра.

— Эта тропа ведет куда-нибудь? — сказал Отто, стараясь сохранить равновесие духа.

— Возможно, в какую-нибудь лесную деревушку. Но ее прорубили недавно. Если по ней не ходить несколько времени, она исчезнет бесследно. Лес работает днем и ночью. Его работники никогда не отдыхают,— добавил он с легкой иронией.

— А в этом лесу есть дикие звери?

— Сколько угодно... Я думаю, нам пора вернуться, посмотреть, как дела у нашего шофера... Зеленая тьма.— Бирманец показал в чащу, где действительно все сливалось в одну непроницаемую темно-зеленую пелену.

— Зеленая тьма,— повторил Отто,— это очень точно. Вы определили правильно.

— Это не мои слова,— сказал У Тин-бо, и они быстро зашагали к дороге.

Шофер еще был занят. Вокруг него на тряпках лежали разные инструменты, и он, полуголый, гнул какую-то проволоку, обрывая ее клещами. Он крикнул что-то У Тин-бо. Бирманец ответил и обратился к Отто, который только сейчас почувствовал, что он весь мокрый, то ли от сырости леса, то ли от приступа слабости, который только что испытал в чаще. Это ощущение чем-то походило на переживания в доме «Врачующего травами».

— Шофер просит немного подождать... Мы можем сесть на этот камень... Зеленая тьма,— произнес бирманец задумчиво,— это сказал один молодой человек, историю которого я могу вам коротко рассказать, пока шофер возится с машиной.

— Пожалуйста,— сказал Отто, вытирая большим белым платком затылок и шею, покрытые липким потом.

— Молодой человек был англичанином и жил в Сингапуре. Он жил, как все белые, служил на хорошей службе, играл в теннис, флиртовал с девушками, ездил на охоту, помещался в хорошем доме, где работали фёны; слуги были исполнительны и дорожили вниманием хозяина. Он не успел обзавестись семьей. Он хотел сначала кое-что скопить. Он

пребывал в идиллическом мире белого человека и был абсолютно уверен, что нет такой силы на свете, которая может помешать его спокойному, раз установленному образу жизни. Небо, земля и море принадлежали британскому империализму, и никто не смел посягнуть на это великое могущество.

Поэтому, когда наступили события, молодой человек сначала не мог представить себе, что это не сон. И когда пал Гонконг, японские генералы одним ударом захватили Индокитай, молодой англичанин все еще верил в силу белого человека. Японцы пустили ко дну английский флот, уничтожили авиацию и угрожали Сингапуру, то есть всему благополучию молодого человека. Но он верил в силу фортов непобедимого Сингапура, который строили годами и убили на это миллионы фунтов.

Японская армия не приближалась к Сингапуру.

«Они не посмеют,— говорил себе и друзьям молодой человек.— Видите, их солдат перед Сингапуром нет!» Бедный молодой человек! Если бы он в те дни отправился на охоту в джунгли и встретил бы группы скромных людей, пробиравшихся по тропинкам среди бамбука, он сказал бы, что это крестьяне, или охотники, или носильщики, но он бы жестоко ошибся, этот молодой человек. Это и была японская армия, которая отказалась от старых способов ведения войны.

Армия проникла в джунгли; оставив свою обычную форму, она шла в трусах и без единого автомобиля. Англичане ждали появления длинных автоколонн, а в джунглях пробирались по колено в воде, по невидимым тропинкам бойцы, которые несли на себе патроны, легкое оружие и питались тем, что пошлют джунгли. У них были таблетки, которые они кидали в стакан болотной воды, и эту воду можно было пить, потому что таблетки убивали всех микробов. Бойцы несли неприкосновенный запас — рис и консервированные овощи. Эту пищу не стал бы есть ни один английский солдат. Впереди японцев шли разведчики и люди, которые ненавидели англичан. Они провели японцев к самому Сингапуру. Молодому человеку, которому казалось, что он видит неприятный сон, пришлось убедиться, что сон перерос в кошмар, потому что японцы в самое короткое время разгромили все английские силы и вступили с распущенными знаменами в Сингапур, сначала отрезав крепость и город от источников пресной воды. Английский гарнизон капитулировал, и

молодой человек проснулся от кошмара к самой страшной действительности.

Японские империалисты — люди непомерной злобы и хитрости. Им не нужны были десятки тысяч пленных белых — англичан. Но надо вам представить себе, сколько сотен лет белые угнетали жителей Азии. Вы меня слушаете, вам интересно?..

— Мне очень интересно,— ответил Отто, хотя ему вовсе не нравилась эта история, но ему хотелось дослушать, куда приведет ее этот тихий маленький желтый человек.

— Японцы хотели унизить белых перед лицом угнетенных ими народов, истребить их мучительной, медленной, специально придуманной смертью. Они послали их строить через джунгли стратегическую дорогу. Войти в это царство зеленого мрака не так просто. А выйти из него целым — счастье одиночек. В зеленую тьму вступил и тот молодой человек, который жил обыкновенной беспечной жизнью белого господина, которому каждое утро приносили в кровать завтрак, каждую ночь стелили постель и исполняли его любой каприз. И вот эта армия пленников-строителей, сопровождаемая конвоем, вошла в океан джунглей. Вы их сегодня видели, лесные дебри, вы даже сделали несколько шагов по случайной тропе. Джунгли приняли вызов этих несчастных. И началось нечто, о чем никто из них не мог даже думать и воображать.

Они жили в джунглях, работали с утра до вечера, прорубали дорогу и устилали ее своими трупами. Умирали каждый день. Им казалось, что они при жизни попали на тот свет, в ад, где все пытки не имеют конца. Сколько их просыпалось с черным языком и блестящими серебристыми глазами, в сильном ознобе, с болью во всем теле, точно их ломали на куски! Это была лихорадка джунглей, косившая англичан, как будто выкашивала просто поляну за поляной; она сменялась желтой лихорадкой, которая сводила людей с ума. Бесчисленные клещи, вонзавшиеся в тело в жалких шалашах, разносили клещевую болезнь, вызывавшую расстройство памяти и буйное помешательство. Японцы просто пристреливали таких больных или отравляли их.

Джунгли переходили в наступление. Тигры похищали людей, отошедших в сторону от дороги, леопарды ходили по лагерю ночью, загрызая спящих на месте или утаскивая в сумятице и панике, вызванной их нападением. Мошкара джунглей разъедала исхудалые, покрытые потом тела, пред-

ставлявшие сплошную рану, никогда не заживавшую. Большие комары кусали со злостью летающих собак. С деревьев сыпались пиявки, которые всасывались в спину, в ноги, в руки, и их нельзя было оторвать от тела, ими кишела высокая трава, и ноги работающих были в кровавых ранах от непрерывных нападений этих бесчисленных врагов. Муравьи, страшные муравьи джунглей проникали всюду, пожирали съестные припасы и так кусали, точно в человека вонзались куски раскаленной проволоки. Клещей просто невозможно было извлечь из тела, они сосали кровь, как настоящие вампиры.

Тысячи потревоженных змей бросались в ярости на работающих, и бывало, что весь лагерь, не выдержав этих ужасов джунглей, съедаемый ими, в крови и в рубище, оставляя мертвых в коричневой жиже болот, устремлялся в паническое бегство, и даже безжалостная стрельба стражей по людям не останавливала бегства.

И сами охранники приходили в ярость и исступление. Тогда власти отзывали на время работающих, и в эти места посылались самолеты. На бреющем полете они сбрасывали бомбы, которые рвали, крошили на куски джунгли, валили вековые деревья, убивали диких зверей, распугивали их. Потом с самолетов спускали бомбы с ядовитыми газами, чтобы заставить зверей и гадов бежать из своих убежищ. И снова люди шли в джунгли, и все начиналось сначала. Потоки дождей валили с ног ослабевших, голодных, обезумевших от этого непрерывного ада мучеников. Японцы глядели на них со злорадством. Вы долго были господами цветных, и вы смотрели, как они работают для вас, теперь сами испытайте на себе всю прелесть империалистического рабства. Вы слушаете меня, интересно?..

— Интересно,— сказал мрачно Отто,— чем же это кончилось?

— Несколько раз отступали из джунглей, отступали перед зверями и змеями, встретив такие дебри, которые страшнее всех лихорадок и мучений. И снова принимались бомбить и отравлять газами чащу. И снова мертвые ложились вокруг, и их даже не успевали хоронить. Их бросали по ночам подальше в чащу, и гиены или шакалы кончали с ними к утру.

Теперь вы представляете себе, что испытывал молодой человек из Сингапура, стоявший с лопатой в руках по колено в грязи джунглей, осыпанный пиявками, слышавший рев

леопарда ночью рядом со своим шалашом, вытаскивавший из-под мышек клещей, сражавшийся с гадами, со всех сторон угрожавшими ему... что испытывал он под окриком японского унтера, который считал себя по меньшей мере раджой в сравнении с этим белым, почти потерявшим человеческий облик...

Но и молодой человек, вспоминавший теперь прошлое, как видение другого мира, конечно, не раскаивался во всех грехах империализма, в которых был повинен и он, ведя жизнь господина, каждое повеление которого было законом, и если у него еще были какие-то душевные силы, то эти силы спасали его не раз в трагические минуты полного распада сознания и усталости, которой нет имени.

Но когда маленький, с глазками сумасшедшей болотной крысы японский тюремщик ударил его бамбуковой палкой и раз и два, он больше не видел ничего, кроме этого перекошенного лица из старой желтой кожи, оскаленного рта и пены на губах. Он вырвал у него палку, одним ударом свалил палача в грязь и заставил его хлебнуть грязной жижи, а потом прыгнул, как прыгают в пропасть, в глубину джунглей, и гром выстрелов вслед ему прозвучал, как голос из далекого мира, с которым у него нет больше ничего общего. Точно он умер, и тело само по себе, еще по инерции продолжает двигаться, а дух уже свободно парит в вершинах этих лесных великанов, до которых не достанешь глазом.

Что он пережил, бродя в джунглях, передать трудно. Когда он вышел на нас, он не был похож на того молодого человека, с которого начался мой рассказ...

— А что вы делали в джунглях? — спросил Отто, кусая губы и чувствуя, что попал в трудное положение. Он слышал и дома рассказы о так называемых лагерях смерти, но здесь было нечто другое...

— Мы были партизанами, которые встали против угнетателей бирманского народа. Мы мстили за его мучения и, как могли, уничтожали японских палачей. Мы долго не могли привести в себя этого молодого человека. Мы отвели его на нашу лесную базу; он с трудом пришел в себя, его долго лечили. Когда он отдышался, он рассказал, что с ним произошло. Мы знали об этой дороге. Много угнетателей уложили наши пули в джунглях. Мы были хозяевами этих дебрей, и даже отпетые головорезы из врагов боялись встречаться с нами.

— А англичанин? Что случилось с ним дальше?

— Он уже не мог вернуться к нормальной жизни. Он был уже не в себе. Он много рассказывал о прошлом. Но продолжалась борьба. Война шла всюду, и в джунглях тоже. Мы знали, что пленных, строивших дорогу, мало уцелело. Англичанин с каждым днем становился все слабее. Наконец джунгли добили его. Он умер, и мы его похоронили в сухом, хорошем месте... Он сражался вместе с нами. Он умер нашим другом.

— Как его звали?

— Он не сказал своего имени. И только сказал, умирая, когда я спросил его, кого известить о его смерти, он сказал серьезно: «Все человечество!» Я подумал, что он бредит, но он снова приподнялся и, сжав мою руку, добавил, как в лихорадке: «Напишите на могиле: здесь лежит неизвестный англичанин, который хочет, чтобы история его жизни была широко известна всем людям на земле...» Вот почему я познакомил вас с нею, раз судьба свела нас в сердце джунглей, у пятого поворота этой дороги...

— Зеленая тьма,— повторил не без вздоха Отто.— Да, это так. Печальная история для белого человека...

— Я думаю, что она была бы печальна и тогда, когда в ней участвовал бы человек желтой или какой-либо другой кожи,— сказал У Тин-бо.

Отто не успел ответить. Шофер издали показывал, что можно садиться. И когда они сели, бирманец не продолжал разговора. Он только посмотрел на часы и сказал:

— Мы приедем прямо к обеду.

Машина снова помчалась через джунгли. Махали и махали со всех сторон зеленые ветви, точно провожали едущих, но совсем другими глазами смотрел теперь Отто Мюллер в то светлевшую, то почти зелено-черную лесную тьму, проносившуюся мимо него. Так они ехали долго. День начал потухать, когда резким поворотом машина вырвалась на холмы. За ними вставали серые с зеленым горы, а внизу в листве замелькали серебристые и красные крыши небольших домов.

— Я сойду в самом городке, вас шофер довезет до дома, где вас ждут. Потом, попозже, я зайду к вам, когда вы пообедаете и отдохнете. О делах мы поговорим завтра...

И машина проехала через маленькое местечко, которое как бы спряталось в гуще большого букета — так много вокруг было цветущих белыми и лиловато-желтыми цветами деревьев.

Отто Мюллер, вымывшийся, побрившийся, переодевший-

ся в чистый, просторный колониальный костюм, сверкающий белизной накрахмаленной рубашки, с бледным галстуком и манжетами, в которых светились голубые узоры запонок, сидел за обеденным столом, таким же чинным и знакомым, как будто он никуда не уезжал из Дюссельдорфа и не было этого длинного, чрезмерно пестрого пути через моря и страны.

И по бокам его сидели два важных господина, вполне пожилых и порядочных, со свежевыбритыми щеками, тоже в накрахмаленных рубашках, легко касались различных блюд вилками различной величины, как полагалось по этикету среднеевропейского стола. Он слушал их, и в его глазах светилась и преданность этим старым немецким характерам, и гордость, что он вызван ими в такую далекую страну, и что они будут советоваться с ним как со специалистом, и он будет жить размеренной, насыщенной всеми благами и радостями жизнью, как... «Как молодой человек из Сингапура»,— подсказал кто-то из глубины памяти.

Чепуха! Лукавый спутник-инженер выдумал эту историю, чтобы напугать его, Отто Мюллера, человека из военной семьи; его дядя был известен лично самому Роммелю, полководцу, которого уважают даже враги.

Обед был сервирован на террасе небольшого дома, где жили специалисты; теперь здесь будет жить и Отто. Дом стоял на высоких столбах. Из сада на террасу вела лестница, похожая на трап; по такому трапу подымаются на палубу какого-нибудь речного парохода. Почтенные хозяева уже объяснили Отто, что так здесь строят дома во избежание сырости, наводнений и от нашествия разных гадов, которых тут довольно много, и от них стоит принимать меры предосторожности. На столе горели свечи, не потому, что в доме не было электричества, но старики потребовали уюта. Действительно, желто-розовое пламя, вокруг которого кружились дымными стайками прозрачные разноцветные мошки, напоминало какие-то идиллические времена, какие-то воспоминания роились в теплом воздухе, и, запивая вкусным французским коньяком душистые яства, приготовленные местным поваром с поправкой на европейский вкус, то есть с известным послаблением по части перца и дурманящих и обжигающих горло соусов, можно было предаваться беседе, забыв о далеком северном городе, где сейчас мартовская слякоть и холодный ветер несет колючую труху в красные лица озабоченных пешеходов.

Уже за первым были обсуждены все вопросы, связанные с приездом Отто, переданы приветы от дяди своим друзьям в тропических краях, рассказаны последние западногерманские анекдоты и новости политической жизни. Сообщены сведения о знакомых, упомянуто про письма, которые он привез. Отвечено на вопросы, как он летел и что с ним было в дороге. Старики — умницы, они все понимают, недаром старые вояки! Правда, Отто не помнит их в военном, но дядя показывал их портреты, где они были в полной боевой амуниции. Да, жаль, что ему было только четырнадцать лет тогда, когда война кончилась так внезапно... Русские взяли Берлин, союзники вошли в его родной город — Дюссельдорф. Дальше нечего было делать... Какие безвыходные времена, как им было с дядей худо! А вот опять все как будто ничего. И дядя на пенсии, и он на настоящем пути. Молодой человек из Дюссельдорфа, а не из Сингапура, да, как бы ни намекал хитрейший У Тин-бо. Никакие джунгли ему не страшны. И Хильдегарда получит свой рубин, опал, лунный камень и изумруд и сумочку из крокодиловой кожи! Обязательно получит! Немного лишнего пьют эти два старичка, но ведь они бывшие военные. Воображаю, как они кутили в дни побед. Один, правда, был на русском фронте — ох, там и морозы, где бродят белые медведи! — зато другой испытал весь жар пустыни в африканском корпусе.

Слуга появлялся, как привидение. Бесшумно приносил он тарелки, убирал ненужные вилки и ножи со стола, менял салфетки, наливал ледяную ананасную воду, раскладывал мясо и гарнир, кланялся и исчезал, точно уходил в стену.

Отто знал — он не впервые обедал с такими гордыми, немного напыщенными стариками,— что они должны закончить стол разговором о самых высоких предметах. К сладкому они раскачивались для высказываний такого иногда фантастического порядка, что их нельзя выносить ни в какую аудиторию, кроме домашней.

Старики насытились. Они были живописны. У них были розовые, теплые щеки, глаза блестели, сухие губы точно тронуло акварельной краской, седые волосы стали казаться более густыми, уши заметно покраснели.

— Я хочу продолжить вчерашний наш разговор,— сказал Хирту Ганс фон Шренке.— Ну почему ты не хочешь видеть, что смена владельцев этого азиатского наследия вполне естественна? Посмотри в сухие страницы истории, и они тебе ответят самым красноречивым, самым научным образом.

Разве португальцев не сменили голландцы в этих тропических краях, а голландцев — французы и французов — англичане! А где теперь англичане здесь, на Востоке? Здесь мы и американцы. Я знаю, ты скажешь, что надо читать в другом порядке: американцы и мы! Изволь, отдам должное твоему педантизму в серьезном вопросе. Но разве не естественно нам, немцам, прийти сюда! Именно не с армией. Сейчас не нужен Роммель, чтобы сидеть нам вот за этим столом. Война перешла в экономические действия. Мы еще будем иметь победу. Азия есть Азия! Мы специалисты. Что эта или другая страна Азии без специалистов? Будущее этих стран в наших руках... Ты согласен?

— Совершенно согласен. Сегодня в дороге я сказал моему спутнику, туземному инженеру, что выше германских специалистов нет никого на свете. Даже американские атомные и всякие другие бомбы сделаны ими. Это не секрет...

— Вот видишь! Молодое поколение того же мнения...

— А если, Ганс, они все же столкнутся? — сказал Генрих Хирт, странно вытянутая голова которого напоминала редьку.

— Кто они? — спросил Шренке, беря зубочистку из маленького граненого стаканчика.

— Советы и США! Мне страшно представить это столкновение, похожее на землетрясение, от которого покачнется мир. Но если оно произойдет, на чьей стороне будет тогда старый воин, неустрашимый Ганс фон Шренке, носитель многих орденов, гроза пустыни?

— Я думаю, что не может быть другого ответа. Мы щит Запада, и мы должны снова встать против сил Востока. В моей юности кайзер Вильгельм нарисовал сам — он был букет талантов — картину, изображавшую желтую опасность, опасность с Востока. Там, на горизонте, сидело чудовище вроде Будды, и шел вал огня и истребления. А на горе стояли все европейские страны в виде женщин со щитами, как валькирии, и впереди всех Германия, закрывая щитом Европу против новых нашествий. Так должно повториться! И сегодня в Европе нет ни одной армии, которая имела бы свойства и силу германской. Бундесвер — единственная защита всех европейских стран, единственная! Все в страхе, все боятся, одни мы сидим в седле!..

Он засмеялся, бамбуковое кресло под ним затрещало, когда он приподнялся, чтобы взять зажигалку, лежавшую на отдельной тарелочке.

Шренке отрезал ножичком кончик сигары, сложил ножичек, светлый всплеск зажигалки походил на вспыхнувшего внезапно мотылька. Огонек осветил хмурые, собравшиеся вместе седые брови.

— Я тебе скажу фантастическую вещь, и ты не отвергай ее сразу.— Генрих Хирт помолчал, ожидая, когда бесшумный слуга исчезнет, поставив на стол фрукты.— В случае этого катаклизма мы должны идти вместе с Советами...

— Я, по-видимому, стал плохо слышать.— Шренке даже вытянулся в сторону говорившего.— Если можешь, повтори, что ты сказал...

— Мы должны идти вместе с Советами...

— Почему? — спросил еле слышно, как будто из другой комнаты, Шренке.

— Послушай меня. Ты сам знаешь, что катастрофа, которая разразится, не будет даже походить на то, что было в Европе сорок пятого года. Все будет серьезнее и масштабнее. Мы знаем новые разрушительные средства. Их силу, их действие. Все материки пострадают серьезно. Я не верю, что человечество исчезнет или будет обречено на вымирание. Оно не исчезнет. Ведь и в Германии во время Тридцатилетней войны и после волки ходили по дорогам, а чума уносила жертвы в городах, откуда бежали жители. Все было! Будет и здесь всякое! Но главное — будут руины и необходимость организовать восстановление. Если победят американцы, то в этом мире будут господствовать только они. Они не пустят никакого чужестранца к этому выгодному всемирному предприятию. Только американский инженер, только американский предприниматель!.. Но если победят Советы, какие понадобятся организаторы для восстановления разрушенного в мире! Кто отказывается и отказывался от германского специалиста? К нам обращались в первые годы Советов коммунисты из России. К нам обращаются сегодня страны Азии и Африки и все, кто хочет организовать у себя свое производство. Кто откажется тогда среди руин и растерянности от наших услуг! И мы выйдем спасти человечество, когда огонек цивилизации будет едва тлеть. Мы раздуем его...

— Но ведь коммунисты не позволят тебе заняться этим восстановлением, как и американцы...

— Нет! — воскликнул Хирт.— Ты ошибаешься. Они будут просить нас, а мы... мы охотно придем им на помощь, потому что тогда мы все будем коммунистами...

— Ты бредишь, это пахнет уже юмористическим фантастическим рассказом. Чего ради мы станем коммунистами?..

— Не все ли равно, как мы будем называться, когда мы станем во главе всемирного восстановления человечества? Ты забыл, что наши предки, сражавшиеся с языческими римлянами ради своих богов, спокойно стали христианами и ничего не потеряли, только выиграли. Мы лучшие организаторы, в этом ты прав, но единственный выход в случае катаклизма может быть только таким...

Шренке молча сосал сигару. Окутанный синим дымом, он сидел, напоминая Отто рангунских будд, окутанных синим тяжелым дымом толстых сигар-черутта, которыми дымили в лицо бога прелестные женщины в белых прозрачных кофточках и синих длинных юбках. И вдруг Отто стало не по себе. Наверное, это сказывалась все-таки усталость от непрерывного, долгого пути. Он поднялся и поклонился, когда замолчали оба старых доморощенных философа.

— Прошу прощения, но я хочу немного заняться своими чемоданами, разобрать вещи... Благодарю вас, я пойду...

— Иди, это правда, мы тут разговорились, а ты с дороги,— сказал, отнимая сигару от мокрых губ, Шренке.

Хирт приветливо помахал ему большой жилистой рукой.

Отто прошел к себе в комнату, долго разбирал вещи, развешивал костюмы, рассортировывал разные мелочи и, кончив со всем этим, вышел в сад и обошел дом, чтобы подышать неизвестным ему запахом какого-то сладко, удивительно тонко пахнущего дерева, в ветвях которого блестели большие, широкие, как розы, цветы.

Под деревом стояла скамейка. На ней сидел человек. Подойдя, Отто не сразу узнал сидевшего. Но когда сидевший поднялся, он увидел, что это У Тин-бо.

— У Тин-бо, вы хотите видеть инженеров? Они сидят на террасе.

— Я пришел сказать, что заседание завтра откладывается на после ленча: наши специалисты запаздывают. Самолет сделал вынужденную посадку. Вы знаете, есть старые самолеты. Они уже устали летать.— Он улыбнулся, показав острые, мелкие зубы.

— Мы тоже могли сесть, потому что и наш самолет имел довольно усталый вид,— сказал Отто, садясь рядом с бирманцем на скамейку.— Я хочу вас спросить вот о чем. Сегодня вы мне рассказывали про дорогу, которую японцы строили

через джунгли. Но вы мне не сказали, была ли дорога построена.

— Была,— ответил У Тин-бо, и теперь у него засветились не только зубы, но и глаза.

— Вот видите, значит, дорога все же была построена!

— Конечно, вы же стояли сегодня на одном из ее участков.

— Я не понимаю вас,— сказал Отто Мюллер, чувствуя, что в этом неожиданном матче он получит какой-то странный нокаут.

— Вы стояли,— сказал тихо и медленно У Тин-бо,— в лесу на тропе, на том самом месте, где проходила дорога...

— Не может быть,— сказал Отто Мюллер громче, чем хотел,— что же случилось?

— Японцы вернулись в Японию, уцелевшие англичане — в Англию, джунгли вернулись к себе домой...

— И никакого следа...

— Вы видели! Прошло больше десяти лет! Тропа, которую мы с вами видели, исчезнет через несколько дней...

Что-то задрожало внутри Отто. Точно все деревья вокруг вместе с домиком невдалеке стали уменьшаться до игрушечного размера. Он поборол это темное смущение.

— Скажите еще,— спросил он с внезапной строгостью, точно допрашивал.— Этот английский молодой человек из Сингапура сам все рассказал или вы за него придумали?

— Сам, я не прибавил ни одного слова. И слова, что он просил написать на могиле, его...

— Они существуют?

— Да, как и могила! Но она далеко отсюда. Она в джунглях. Почему вам показалось, что я рассказываю вам выдуманную историю?..

— Меня смутили джунгли, должен вам сказать. Я даже могу вам признаться, что там, в лесу, меня охватил на мгновение, правда, только на мгновение, страх, липкий, противный, гнусный страх. Но я его прогнал...

У Тин-бо помолчал. Потом он встал и сказал:

— Прощайте, до завтра! Скажите вашим шефам, что заседание откладывается. Что я скажу вам: вы идете в зеленую тьму! Вы смело шагаете, но вы не знаете нас, как не знаете джунглей. Не надо идти по старым следам. Они часто приводят в никуда. Не повторяйте истории молодого человека из Сингапура, молодой человек из... не все ли равно откуда. Прощайте! Покойной ночи!

И он ушел, растворился в темноте, этот маленький, похожий на металлического кузнечика человек с железными нервами, который вверг в смятение Отто Мюллера. Отто пошел к дому. Подходя к лестнице, он услышал голоса наверху. «Господи, старики еще тараторят, как старые бабы»,— родилась в нем еретическая, мятежная мысль, но она не могла не родиться. Старики действительно говорили, сидя за столом, попивая виски с содовой и дымя сигарами, так что над террасой плавало лилово-сизое облако, в котором кипела, пропадая, разноцветная мошкара, летевшая к зазывающему огню свечей, воткнутых в подсвечники, помнившие времена допотопной Виктории.

Когда он подымался по лестнице, его окликнули:

— Это ты, Отто?

Он ответил и прошел в дальний угол террасы, где стояло такое удобное, широкое бамбуковое кресло, что он не колеблясь погрузился в него и, что делал страшно редко, только когда на него находило смятение чувств, вынул из кармана трубку, набил ее крепко табаком и начал курить, как курят любители: бестолково, неритмично затягиваясь, покашливая и непрерывно зажигая ее, так как она гасла все время.

До него долетали теперь яснее, чем снизу, голоса двух стариков, лица которых он видел какими-то неестественными, дряблыми, сизыми и шершавыми. Их волосы казались приклеенными. Руки были красные, в синих жилах. Старики просто купались в дыму. Голоса их звучали так ясно в спокойном воздухе, точно он сидел с ними за столом.

Говорил Шренке:

— Ты никогда не был в пустыне, Генрих. Ты не можешь себе представить черные скалы в белых, как сахар, песках и светло-желтые дали. Солнце не печет, оно бьет человека, как будто тяжелым горячим мешком. Я вылез из бронеавтомобиля, чтобы ориентироваться. Я зашел за песчаную дюну и осмотрелся. Тель-эль-Мампсра горела. Черный дым стлался по песку. Мне казалось, что временами я вижу даже бледные столбы пламени. Я взглянул в другую сторону. Танки шли черной подковой, будто намеченной в песках пунктиром. Это не могли быть наши. «Это англичане!» — закричал я и бросился за дюну: ты можешь представить мое состояние. Мой бронеавтомобиль исчез.

Вокруг был раскаленный песок, дым горящей Тель-эль-Мампсры на горизонте и черные машины, которые приближались, как на экране. Только мгновение я стоял, не веря

происходящему. Потом я побежал. Никогда в жизни я не бегал по такому глубокому, тяжелому песку. Я падал, я могу тебе сознаться, дорогой, что было искушение кончить все одним выстрелом. Я падал, проваливался по колено и лежал, дыша как рыба, выброшенная на берег, и снова подымался и видел, как неумолимо, как страшно медленно приближаются танки. Я спотыкался, рот мой был полон песчаной пыли, в ушах гудело. Раз даже с тонким свистом над моей головой прошел снаряд, не знаю в кого целивший. Я даже не слышал его разрыва: так я был возбужден. Сердце прыгало как бешеное. Я упал на песок и лежал. И вдруг я услышал рокот мотора. Я бросился на этот рокот. Мне показалось, что звук мне знаком. И тут на меня пошел бронетранспортер. Я вынул пистолет, чтобы не сдаваться. В висках стучало. Как я бежал! Из бронетранспортера меня окликнули. Я опустил пистолет. Ко мне спрыгнул его дядя, этого Отто, мой старый Ганс. Мы обнялись. «Ты герой!» — кричал он мне, показывая на пистолет. Он думал, я иду в атаку на английский бронетранспортер. Я не сказал ему, в чем дело. Я только спросил: «Ты видел, как я бежал?» — «Нет,— сказал он,— тебя скрывала дюна. Но давай скорее. Надо отходить на Фука́. Если Роммель жив, еще не все погибло». Да, у меня даже бывает род кошмара, когда мне снится, как я бегу, изнемогая, и песок все выше, и я все больше изнемогаю, и просыпаюсь весь в поту...

— Это сердце, это годы,— отвечал Хирт.— Ты хоть убежал, а я нет...

— Да, я знаю,— проговорил тихо Шренке.

— Ты бежал в ослепительном свете тропического солнца по раскаленной пустыне, а я... Если бы ты знал, что за тоска зимний военный русский лес, ты бы на всю жизнь перестал смеяться. Белые, как смерть, сугробы снега, мороз, который убил землю, лес, людей, все живое. Нельзя дохнуть — больно горлу, щеки обжигает как огнем. Не помогают ни шарфы, ни перчатки. И кроме того, тьма, проклятая тьма, вьюга метет, ничего не видно в двух шагах. Проваливаешься в какие-то ямы, куда идти — невозможно разглядеть. Разрывы снарядов ослепляют еще больше. Облака снега крутятся вокруг тебя. Я пошел проверять цепь — русские были уже на этом берегу Невы. Я не нашел из своих никого. Лежали двое убитых, их засыпал снег. Снаряды рвались всюду. Бои шли по дуге, и казалось, что уже никого в живых нет в этом страшном лесу, где елки стояли, как белые медведи, растопырив

снежные лапы. Я искал своих, я нашел унтер-офицера, и он сказал, что наши еще есть — направо, и он повернул туда. Я сказал, что, судя по следам, налево прошел танк, но чей? Если русский, то мы в кольце. Я пошел, проваливаясь в снег. Мне было так тяжело, что, когда я увидел дом, жалкий брошенный дом, я вспомнил, что там должен быть пункт связи. Я распахнул дверь, и меня обдало снегом и снежной пылью. Половину крыши сорвало снарядом. Сугроб с крыши обвалился внутрь. В той половине, где еще сохранилась крыша, стоял стол, на нем был разбитый полевой телефон, оборванный провод и перед столом кожаное кресло. Откуда оно взялось в лесу — не знаю. Я сел в это кресло и закрыл глаза. Когда я снова услышал стук двери, я спросил, не подымая головы: «Это ты, Фриц?» — так звали унтера... В ответ я услышал сказанное на плохом немецком языке: «Кто вы?»

Я встал. Передо мной стояли люди в полушубках. Один из них направлял на меня автомат, другой заглядывал в разрушенную часть дома. Но третий был широкоплечий и спокойный, по-видимому командир. Это он повторил свой вопрос: «Кто вы?»

«Я командир батальона»,— сказал я. Мне ничего больше не оставалось.

Человек в желтом полушубке (у тех были черные) сказал: «Где же ваш батальон?»

«Об этом я хотел бы узнать у вас»,— ответил я.

Он засмеялся вдруг совершенно мирно, а я отстегнул и положил на стол свой пистолет. Вот и все... Дальше, в плену, я долго помнил подробности этой ужасной зимней прогулки в русском мертвом лесу... О, я не хотел бы пережить это еще раз...

Отто слушал нехотя, но слова долетали до его уха и вызывали какую-то тревогу, непонятную ему. Чего старики разоткровенничались? Он услышал голос, похожий на скрип двери. Это говорил Шренке:

— Ты сделал, по-моему, единственную ошибку в твоем затруднительном положении...

— А именно? — спросил глухим голосом Хирт.

— Не к чему было отвечать им и говорить, что они знают, где твой батальон. Твой батальон геройски погиб...

— Ты хочешь сказать, что я...

— Нет, ты меня не понял. Тебе надо было сказать этим белым или красным медведям: «Мой батальон погиб геройски...»

— Но он не погиб геройски...

— А где же он был?..

— Часть его бежала, часть была уничтожена, часть сдалась в плен...

— Да, да,— сказал Шренке,— как давно это было... Как давно! Кто из нас тогда мог предполагать, что мы будем сидеть вот такой теплой ночью в этих удивительных краях... Какая изумительная тишина, какие звезды! Посмотрите, это какая-то зеленая тьма...

Отто поднял голову. Он встал, прошел к перилам и облокотился на них. Где-то в другом мире далеко-далеко от него горели свечи и две старые головы, повернувшись в профиль, не двигались, точно прислушивались к чему-то, что надвигалось из этой зеленой тьмы, которая все густела и густела, подбирая все ближайшие деревья и кусты. Она двигалась на дом, и Отто показалось, что сейчас она, как волна, подымется и скроет его в своих зеленых недрах. Он закрыл глаза, точно почувствовал прикосновение этой тяжелой волны. Она уже тронула его плечо. Он вздрогнул.

— Это я,— сказал ему старый Шренке, положив морщинистую руку ему на плечо.— Пора спать, Отто! В такую ночь можно получить малярию. Вон сколько вьется комаров, коварные твари эти анофелесы!.. Иди спать, мальчик!

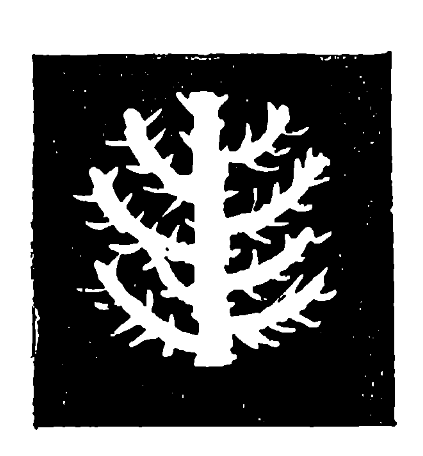
— ...Из Дюссельдорфа,— сказал почти резко Отто.

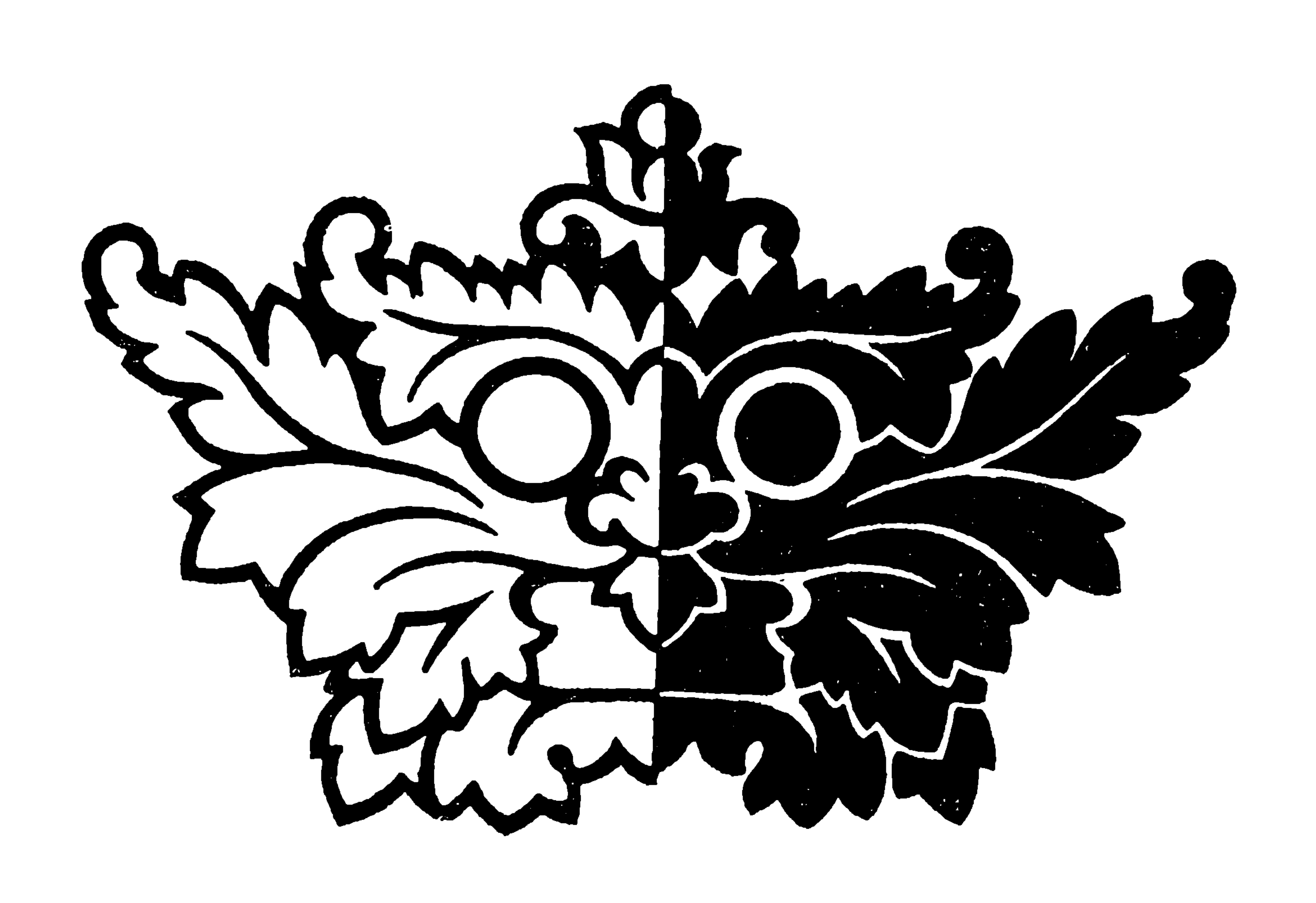
Старый вояка чуть отодвинулся.

— Что ты сказал?

— Я сказал: мальчик из Дюссельдорфа!

— Ах, да, ты ведь из Дюссельдорфа. Ну, все равно иди отдыхать. Мы славно посидели сегодня, не правда ли?





Погруженный в море пестрой тропической зелени древний индонезийский город Богор, названный так за обилие произраставшей здесь сахарной пальмы, именовался при голландцах Бейтензоргом — городом без забот.

И действительно, если приезжий иностранец попадал в этот город на короткий срок, то на первый взгляд Бейтензорг в самом деле представлялся веселым, легким, беззаботным.

Город как бы покоился в объятиях доброго леса, который баюкал дома, едва видные в зелени, и хижины, похожие на игрушки, плетенные из тонких бамбуковых полос. Трудолюбивые, скромные темнолицые люди были добродушны и приветливы.

Куда бы здесь ни шел приезжий, всюду он видел банановые, хлебные деревья, темные, глянцевитые, точно покрытые лаком листья изумляющих глаз камелий, бугенвилий, пандапусов, гигантов фикусов. Над ним шелестели веера кокосовых, арековых, сахарных и масляных пальм.

Отовсюду смотрели всевозможные незнакомые фруктовые деревья. Ананасовые изгороди заменяли простые заборы. Все это рождало ощущение удивительного изобилия. Глаз наслаждался щедростью мира. Зеленые лужайки приглашали на отдых. Между исполинских бамбуков струились пенящиеся речки, навевающие сладкую дрему.

Рядом с тихим, живописным городом расположился знаменитый Богорский ботанический сад. Он был всемирно известен, и уже в его аллеях посетителя ждали самые настоящие чудеса могучего растительного царства тропиков. Словом, в памяти Бейтензорг оставался мимолет-

ным воспоминанием о беззаботном городе, о райском уголке, где можно жить, забыв каждодневные нужды и заботы.

Это случилось в последний период голландского владычества на Яве. Вечер уже спустился на сад, на белые колонны губернаторского дворца, на его большие мраморные лестницы, на пруды, где застыли розовые лотосы и широкие, как щиты, круглые листья виктории-регии. После только что пронесшегося как на крыльях дождя, при свете взошедшей луны заблистали пальмовые ветви и панданусы перед террасой отеля, на которой два пожилых господина пили джин с содовой, наслаждаясь прохладой и тишиной. Только издалека доносились заглушенные шумы улицы и тонкий, как сигнал, писк больших летучих мышей, невидимых во мраке старых деревьев.

Питер ван Слееф и Ян Вестерман, старые друзья, с юности знавшие друг друга, встретились случайно, обрадовались встрече и, отобедав вместе, сейчас погрузились в приятное состояние сытости и сладостной расслабленности. Похожие друг на друга, широкоплечие, с тяжелыми подбородками, с загаром вечного лета на лбу и на щеках, с небольшими, но резкими морщинами у глаз и у губ, они являлись образцовыми типами тропических жителей-европейцев, много испытавших за годы, проведенные во влажных и жарких лесах, на плантациях, на ярко-красной земле, среди нефтяных вышек и в квадратах каучуковых участков.

Питер ван Слееф давно стал богатым плантатором, а Ян Вестерман после неудачных самостоятельных попыток утвердился представителем большого торгового дома и не жаловался на судьбу. Белоснежные рубашки, черные бабочки галстуков, темные добротные костюмы, даже блеск кусочков искусственного льда в стаканах с джином и содовой, массивные кольца на смуглых толстых пальцах — все говорило о неизменяемом порядке мира, о привычной устойчивости быта, о старом добром колониальном могуществе.

Они курили сигары, извилистые голубые кольца таяли в прохладном полусумраке террасы. Лунный свет как бы забавлялся ими, проходя сквозь узкие и редкие листья молодой пальмы.

Если бы они сидели днем, то могли бы видеть с террасы темные контуры вулканов, поднявшихся над близкими горами. Индонезия глухо ворчала, как эти вулканы, готовые к извержению. Лава народного возмущения копилась давно.

Но об этом как раз друзьям не хотелось говорить. Им обоим казалось, что, вопреки всему, колониализму не будет конца. И хотя много возмутителей бродит в индонезийском народе, но их ловят, хватают всюду, судят, отправляют в ссылку на Западный Ириан, сажают в тюрьмы.

Власть нидерландской короны еще крепка. Но лучше говорить о чем-нибудь другом.

— Я приехал сюда немного освежиться,— сказал Ян Вестерман.— И заодно меня просил Эвергард, ты его знаешь — тот, что из экономического департамента,— посмотреть, как живет его сын, он хочет стать ученым-ботаником и работает здесь в ботаническом саду... Я сейчас как раз одинок. Семья уехала домой, в Роттердам,— у жены болен отец, он захотел всех видеть. Я занят делами. Могу вырываться только на день, на два из Батавии, где, как ты знаешь, нестерпимо влажно и душно...

Питер ван Слееф, облизнув губы после доброго глотка джина, отвечал неожиданно мягким голосом:

— Это хорошо, что новое поколение изучает страну, которую мы ему оставим. Открывать новые природные возможности — значит двигать вперед и науку и экономику. А я приехал сюда по делу — посоветоваться со специалистами. Хочу расширить каучуковые плантации на Суматре, хочу ликвидировать перец, он мне надоел, небольшую его плантацию заменить каучуком. Он идет в гору...

Тут он мысленно перенесся на свои далекие каучуковые плантации, вспомнил тревогу, которая овладела им, когда в свою последнюю поездку он увидел там беспокойных людей, которых мутили всякие агитаторы. Всего можно было ожидать. А у него, у Питера ван Слеефа, нет прежней энергии. Вот и Ян заметно отяжелел. Но все же они не сдаются. Они еще сидят в седле.

— Кто сказал, что европейцы не могут жить в тропиках? Может быть, кто и не может. А мы, Ян, живем с тобой здесь уже триста лет, и ничего, только прибываем в весе... Мы чувствуем себя здесь, как крокодилы в реке. Хо! Хо! Разве это не наша земля? Мы родились далеко отсюда, но наша юность прошла здесь. Здесь мы встречаем наши зрелые годы. Сколько труда вложили мы в эти заброшенные богами острова, сколько денег — в эту красную землю, сколько здесь пролито нашего пота и нашей крови, если хочешь! Сознаюсь тебе, старина, но я не могу так просто бросить все это и вернуться на старости лет туда, в родные места, с которыми меня

уже ничто не связывает. Согласись, что оставить весь труд своей жизни и сесть на пароход, чтобы оттуда с палубы последний раз помахать рукой этим берегам!.. Я не представляю этого!

— Думаешь, ты одинок в своих рассуждениях? Я тебя слушал внимательно...— Ян Вестерман наклонился к собеседнику, как заговорщик.— У нас одинаковые мысли, и я должен признать, что пришли суровые времена. Что мы предпримем, не знаю. Я могу, Питер, и даже с удовольствием, временами наезжать в свой дорогой Роттердам, погулять по милому Годшстритту, навестить стариков родственников, заглянуть в театр, повеселиться в ночных кабаре, вспомнив молодость... Но остаться там навсегда!.. Это почти невозможно...— Он грустно усмехнулся.— Как я расстанусь так просто, ты прав, с этими панданусами и пальмами, которые вошли мне в кровь! Я говорю по-малайски, как туземец, я свыкся с их нравами, мне нравится моя свобода и власть, которой мы владеем в этой стране... Что мы будем делать там, дома?

Он пожал плечами.

— Что мы будем делать там? — переспросил язвительно Питер.— Мы будем жить на остатки наших сбережений, ходить на званые вечера, навещать выживших из ума стариков и старух, накрашенных, как куклы из воскового музея. Мы будем подчиняться общественному тону, как чиновники в отставке, заискивать перед знатью, льстить богатству, которое мы им нажили своим трудом! Все это чепуха: этикет, такт, хороший тон — слова, которые мы забыли, когда поколениями заставляли работать на себя этих хитрых и ленивых туземцев. Мы люди широких планов, больших дел и такого размаха, о котором там и забыли думать, получая готовые плоды нашей борьбы за культуру в диких краях.

— Конечно, мы все понимаем, что сейчас не те времена, когда с наших кораблей высаживались первые поселенцы,— сказал Ян. Ему был по душе этот разговор под весенней луной, в городе, который называют беззаботным.— Но можно еще многое взять у Индонезии, пока ее у нас не отняли.

— Мы и возьмем, Ян. Нас кое-кто упрекает, что мы говорим про туземцев, что они буйволы, лентяи, низшая раса. Но ведь это так и есть. Они сами признали это. Разве они не становились на одно колено, приветствуя нас на дорогах? Ведь это было не так уж давно. Триста лет они служили нам и должны служить дальше. Не так ли, Ян?

Он похлопал друга по колену.

— Может быть, в нас говорит внутренняя тревога, Питер, но эта тревога оправданна. Как правильно мы сделали, что не учили их голландскому языку! А сами изучили их язык. Это было мудро. Но сейчас, хотя девяносто четыре процента их неграмотно, уже появились в их среде интеллигенты. И это не так мало. И они изучают науки, они знают и наш язык и английский. Эти люди другого поколения. Они поставили себе задачу — выгнать нас. Да, это звучит грубо, жестоко, но это так. И я боюсь, что это им удастся. Мы слишком перегнули палку в отношении простого народа. Они, ты это хорошо знаешь, Питер, голодают, они просто дохнут с голоду.

Питер ван Слееф слушал внимательно, изредка покачивая головой, как бы соглашаясь с собеседником. Потом он провел тяжелой рукой по туго приглаженным волосам и отвечал почти равнодушно:

— Да, я согласен, питаются они плохо. Я это хорошо знаю по своим плантациям. Мужчины в среднем весят пятьдесят килограммов, женщины и того меньше. Наши врачи придумали даже особую болезнь, чтобы оправдать это недоедание, но от этого, конечно, туземцам не легче... Знаешь что, дружище Ян, переменим тему, потому что мы все равно ни до чего не договоримся. В этой стране прошла наша молодость. И тут тебе не наши Нидерланды. Мы далеко ушли от обычаев, которые процветали там, на родине. Мы люди другого мира...

— Да,— засмеялся Ян,— там не очень можно было разойтись. Я помню бургомистра в Роттердаме, который был не прочь развлечься. Ему посылали кружевные платья, сделанные по заказу для его жены. Самая красивая девушка-кружевница приносила ему эти платья. Все шло ничего, но какой грандиозный скандал разразился, когда одна юная кружевница подняла крик на весь город. Что было! Просто потому, что она понравилась бургомистру, а он ей — нет. Можно смеяться до упаду. Такое было возможно! Вот нравы доброго старого времени...

— Нам есть что вспомнить, Ян. Мы могли делать что хотели, совершать сумасшедшие вылазки, брать на абордаж все, что нам нравилось, закатывать такие пиры, что древние римляне нам бы позавидовали. А какие плавания на острова Любви, которых здесь было предостаточно! Ты не забыл еще, старина, как мы с тобой развлекались и не смотрели, какого цвета кожа у наших красоток? Что тут делать кружевницам — бледные щеки, бесцветные глаза! Тут с нами были демоны юга, и эти туземки демонически пировали с нами и по-

казывали такое, точно они сошли, как звезды, с этого ночного неба! Так было, ведь правда же? Что ты смеешься, Ян?

— Так было, так было! Аминь! Охотно к тебе присоединяюсь...— Дым сигары обволок поседевшую голову Яна, как хмель воспоминаний. Он смеялся, и в его большом рту загорались золотом пломбы.— Ты мне за обедом, Питер, обещал рассказать про одну встречу здесь.

Питер слегка нахмурился, вспоминая, потом тоже начал громко смеяться почти молодым смехом.

— Ян, это совершенно невероятно! Но для того, чтобы все встало на место, необходимо небольшое предисловие. Ты помнишь: одно время было плохо с рабочими на дальних плантациях. Найти здоровых рабочих было очень трудно. Канальи узнавали каким-то образом о наших правилах для рабочих, и их нельзя было заманить никакими соблазнами. Приходили больные и такие, которым нечего было терять. Слабые, едва держались на ногах, с отвисшим животом. А нам нужны были сильные, молодые. Они не поедут так просто. Ввозить негров не выход. Рабовладельцами нам стать, наподобие старых времен, было невозможно. Рабство сегодня открыто процветает где-нибудь в глубине Аравии и в Африке кое-где, а мы все же на виду у мира. Не знали, что предпринять! Кто-то предложил замечательный способ, даже не лишенный романтики и остроумия. Были привлечены красивые девушки, а их здесь хватает. И они завлекали добрых молодцев своими чарами, а мы их сажали на пароходы — и дело с концом. Они прикладывали лапу к бумаге, думая, что это простая формальность или что другое, а это было обязательство. Неграмотные парни попадали на удочку безошибочно. А уж попав к нам на плантацию, молодой дикарь выкрутиться никак не мог до самой старости, если он доживал до нее. Так мы вышли из кризиса. Вот какую чудную работу проделали эти девицы, которых так и называли — тукангпэлэт, очаровывающие. Не правда ли, смело и ново!...

Так вот тогда была одна девица ослепительной красоты. Она работала в глухих деревнях. Завлекала тонко и умело. И она пошла быстро в гору. Ее подвиги стали известны и мне. Конечно, о них не распространялись, иначе она не могла бы работать. Не скрою, она была лакомым кусочком. И я не пропустил ее, некоторое время я жил с ней, это было великолепно, потом дела отвлекли меня от ее прелестей, я часто бывал в разъездах, а она зашагала так быстро, что я потерял ее из виду и только иногда слышал про ее новые

приключения. А их было много — и всяких! Я частенько вспоминал о ней, будучи убежденным холостяком, и мне подчас ее очень не хватало... Прошло, верно, лет десять, не меньше. И вот представь себе, что я ее встретил.

— Где же?

— Здесь, в Бейтензорге...

— Как же это случилось?

— Я уж тебе говорил, что тогда, давно, она взяла меня за живое. С той первой встречи прошло десять лет, я вдруг ощутил, что старое чувство возвращается. И я решил с ней увидеться. У меня сначала было некоторое сомнение: она ли это? Но что-то говорило мне, что она. Одним словом, я поручил человечку из местных выяснить все обстоятельства. Право же, я не могу объяснить тебе, что за странное чувство овладело мной. Но мы на Востоке, и боги завлекали нас в свои чары и прощают все большие и малые наши прегрешения...

— А как же ты ее увидел? — спросил Ян, которого поразила взволнованность голоса Питера.

— Она сидела в саду и обмахивалась веером. Я узнал ее сразу. Но я был не один. И я прошел мимо.

— Как ее зовут? Хотя у таких красоток есть иногда каприз — брать себе несколько имен, смотря по тому, кто как ее называл при знакомстве.

— Ее зовут Сентан...

— Сентан! Так я ее знаю. Кто же ее не знает! Да, с ней можно было повеселиться. Но ведь ты говоришь, прошло около десяти лет...

— Представь себе, она такая же, и даже мне показалось, что она стала еще соблазнительней...

— Ха, вот это особый случай: туканг-пэлэт, очаровывающая, поймала самого Питера ван Слеефа! Придется тебе поработать на ее плантации. В твои годы тебе не кажется это опасным?

— Опасным? Почему? Она же, надеюсь, признает нас за властелинов, чьи желания исполнять — ее призвание.

— Ну, тогда желаю тебе успеха!

Пак Роно пришел в назначенный час. Питеру ван Слеефу не пришлось его ждать. Он, правда, давно знавший маленького продавца, и не сомневался в его аккуратности. Пак Роно был владельцем крохотной лавочки, все товары которой умещались в небольшом фанерном ящичке, он носил его на

ремне через плечо. Он был уличным торговцем, и его любили в Бейтензорге за его добрый характер.

Сейчас пак Роно пришел без своего фанерного ящичка, полного сувениров и всякой подарочной мелочи. Он был одет в легкую цветную рубашку и бумажные синие старые брюки. На голове его была такая тугая повязка, что казалась пестрой вышитой шапочкой. Большие круглые очки придавали ему сосредоточенный, задумчивый вид. Он торговал днем на базарах, на улицах, в ботаническом саду, а вечером выполнял некоторые не совсем простые поручения. Кто подумал бы, что пак Роно прост и наивен, тот бы глубоко ошибся. Пак Роно — человек особого склада. В городе нет тайн для него. Он умел разговаривать с последним нищим и с белым господином, не теряя чувства собственного достоинства. Он никогда не льстил, никогда не унижался. Питер ван Слееф, говоря с ним, не позволял себе грубостей или угроз. Он доверял ему и говорил с ним откровенно.

— Здравствуй, пак Роно! Как дела?

— Дела хороши, туан! Пак Роно сделал все, что туан поручил ему...

Он любил говорить о себе в третьем лице.

— Что же ты можешь сказать? Ты все проверил?

— Пак Роно навел все справки, и все подтвердилось. Это Сентан. Она снимает старый дом за рекой, за Чиливонгом. Там жил адвокат из Батавии, ваш знакомый...

— Кто? Ван Брайен?

— Да, он умер от лихорадки. Он еще любил японские розы. Там осталась одна клумба...

— Ты видел Сентан?

— Видел, туан!

— Ну и как, расскажи,— громче обычного попросил Питер ван Слееф.

— Она была в саду. Сидела на камне под большим банановым деревом.

— Как она была одета?

— Длинный, узкий саронг, золотисто-красный, с синими полосами. Очень дорогой, очень красивый саронг. Из дорогого батика ручной работы. На ней была кофточка белая, расшитая цветными узорами и голубыми цветками.

— Что она делала?

— Она играла с маленьким пятнистым олененком. Олененок ел у нее из рук.

— Что она сказала тебе, пак Роно?

— Первый раз она ничего не сказала, туан. Она не поверила. Тогда пак Роно пришел и опять поговорил с ней. Она спросила, как выглядит туан...

— Как же ты описал меня?

— Пак Роно сказал, что туан хорош собой, большой, богатый. Узнав, как вас зовут, она улыбнулась, подумала, сказала, что вспомнила.

Он замолчал. Питер ван Слееф пожевал губами, посмотрел, как по стене скользил лунный луч, сказал:

— Дальше...

Пак Роно продолжал:

— Она опять улыбнулась, сказала, что хорошо вспомнила, и просила передать, что если туан завтра вечером попозже просто придет к ней, то она будет встречать, как дорогого гостя. Она была очень рада, очень рада. Она помнит все прошлые милости туана, но...

— Что «но», пак Роно?

— Туан не будет на меня сердиться?

— За что?

— Туан, пак Роно исполнил все, что ему было поручено туаном, но есть еще одно обстоятельство, о котором надо сказать...

— Какое? Она живет сейчас с кем-нибудь?

— Нет, туан, она сейчас не живет ни с кем, но она стала очень красива, туан, так красива, что я не знаю, как об этом сказать.

— А ты и не рассказывай, я сам знаю, как об этом сказать.

— Туан! Только она стала дороже, чем была. Стала очень дорога...

— Послушай, пак Роно, все, что действительно ценится, то и действительно дорого. Это закон рынка, и ты, как торговец, должен это понимать. А теперь уведоми ее, что завтра попозже вечером я приду. И вот тебе за хлопоты...

— Теримакааси, туан! Сламат туур, туан! Спасибо, туан! Спокойной ночи, туан!

Домик пака Роно, вернее, бамбуковая хижина, стены которой как бы сметаны на скорую руку из циновок, пригнанных друг к другу, с крышей из пальмовых листьев представлял бы жалкое зрелище, если бы он не был окружен роскошными банановыми деревьями, свешивавшими над ним

свои огромные листья. Большое морщинистое хлебное дерево и рослый темно-зеленый пандануc возвышались рядом с домиком, неся охрану бедного жилища.

В домике было всего две комнаты с земляным полом. В каждой комнате стояло по топчану, накрытому циновками и тряпками. Были полки. На них стояли чашки и кружки, тарелки и миски. Был шкапик, ветхий, как хижина, и в нем висели скромные одеяния пака Роно.

Зато у домика было подобие терраски и три столбика поддерживали часть крыши, прикрывавшей терраску. Из-за густой зелени не было видно ни дороги, которая проходила рядом, ни соседних домиков. Это были задворки города, дальше начинался настоящий лес, который пересекала новая шоссейная дорога.

На терраске в истерзанной качалке сидел пак Роно, и перед ним в лунном свете плясали крупные дождевые капли на широких сгибах банановых листьев.

В домике было явное запустение. А когда-то в нем все было по-другому. Настоящая жизнь, настоящие праздники, веселье и бодрость. Но с тех пор как умерла от дизентерии его жена, а за ней и сын, хозяин погрузился в скорбь одиночества. Ему часто виделись жена и сын, особенно в лунные ночи. Они приходили в домик, ходили из комнаты в комнату, они стояли под деревом и смотрели на пака Роно, и он иногда говорил с ними, но они только улыбались, но никогда не отвечали. Потом они стали приходить все реже и реже и наконец совсем перестали навещать его, пропали.

У пака Роно шли годы полного равнодушия к жизни, и он долго оставался замкнутым и молчаливым. Он голодал и размышлял. Постепенно вернулся к своим занятиям — продаже мелких сувениров, у него появились новые друзья. Он повеселел с ними, стал шутить, принимать редких гостей. Но вернуть домику уют он уже не смог. За время голода он распродал все вещи, и теперь голый дом стал для него местом ночлега, отдыха, не более.

Его жизнь проходила на улице, среди людей, в аллеях ботанического сада, на базаре, у его ворот.

Пережив опустошившую сердце печаль, спрятав ее в глубине души, пак Роно дал себе слово как можно больше помогать людям, потому что, по его мнению, почти все они несчастны и бедны. Он стал брать разные поручения, но только такие, которые могли доставить радость людям. Мир был жесток и непонятен. Бедные жили тяжелой трудовой жизнью,

в которой радость была редким гостем. Белые господа были созданы для того, чтобы приказывать и делать все, что им захочется. Но иногда они, как вот этот ван Слееф, менялись в лице и хотели купить радость. Они просто изнывали по ней и просили пака Роно помочь им. Пак Роно — добрый человек. Он хочет только, чтобы всем людям было хорошо, чтобы радость жила в них.

Он сидел в своей трясущейся качалке и смотрел на лежавшего на толстой циновке человека, прислонившегося к стенке домика и, казалось, дремлющего.

Этого молодого человека он подобрал на краю лесной дороги и притащил домой. Человек был без сознания. Его била тяжелая лихорадка, его большие, желтые, как у лошади, зубы стучали не останавливаясь. Приступ и голод свалили его с ног. Пак Роно ухаживал за ним, как отец, доставал хинин, приводил лекаря, поил и кормил его, и это разбитое лихорадкой тело, замученное и вялое, стало крепнуть, глаза потеряли мутный желтый оттенок, и только большая жила на лбу, начинаясь от основания носа, придавала лицу выражение крайнего упорства и отчаяния.

На плечах молодого человека висели лохмотья, как будто он долго пробирался через ротанговые колючки и одежда осталась на этих свирепых крючьях. Когда больному стало лучше, он пришел в себя, но целыми днями ничего не говорил, а пак Роно ни о чем его не спрашивал. Ему было ясно, что человек пережил много тяжелого и нуждается в полном покое. И вот теперь ему приятно смотреть на гостя. Пак Роно поставил его на ноги, вернул к жизни! То, что было кучей лохмотьев и костей, чуть не ставших жертвой хищников, стало опять человеком. Это чудо сделал пак Роно. Теперь пришелец опять может сам двигаться, говорить, дышать прохладой тихой, успокаивающей все живое ночи.

Человек приподнялся на циновке и начал ощупывать руки и ноги. Потом он поправил пояс, за которым виднелась ручка криса.

Они только недавно поужинали вареным рисом, крепко приправленным перцем, сушеной рыбой, бананами. Потом пили чай.

Пак Роно сказал гостю:

— Пак Роно сделал сегодня одно большое дело. Как ты себя чувствуешь?

— Сейчас хорошо, пак Роно. Самое главное, лихорадка ушла. И я скоро уйду,— хрипло отвечал гость.

Пак Роно продолжал раскачиваться на своей скрипевшей, как колодезная цепь, качалке. Он заговорил так, точно разговаривал сам с собой:

— Где-то, говорят, есть страны, в них всегда холодно, так холодно, что вода делается камнем. А у нас всегда тепло. Я бы не мог жить в холодной стране. Там нет таких ночей, как эта. Оттуда приходят белые люди. Они тяжелые, холодные люди. Мне кажется, что они все несчастны и не хотят из гордости признаться в этом. Я люблю добрых людей. Пак Роно видел сегодня одну добрую девушку. Она красива, как цветы жасмина, что в ее волосах, как молодая луна над ней. Она живет трудной жизнью, потому что ее красота привлекает людей жадных и грубых. Особенно белых. Она их делает лучше, чем они были до нее. Она очень добрая. Пак Роно видел, как она в саду, где есть померанцевое дерево и розы, поила молоком маленького олененка. Олененок терся об ее колени. Пак Роно принес ей добрую весть. От человека, который, как все белые, несчастен и который очень хочет видеть ее. Он любит ее, пак Роно видел это по его глазам. Она обрадовалась, вспомнив его...

— Как зовут добрую девушку? — спросил гость, поднимаясь во весь рост и поправляя пояс.

— Ее имя ничего тебе не скажет. Ее зовут Сентан!

Гость тяжело вздохнул, оперся о бамбуковый столб, поддерживавший крышу терраски, долго кашлял, глаза его стали красными, он передохнул и спросил:

— Ты покажешь мне, где она живет? Я тоже хочу посмотреть на нее. Я забыл, когда видел что-нибудь доброе. Покажи мне, что это такое.

Пак Роно прикинул в уме, что ничего особенного не будет, если этот бедный человек посмотрит раз в жизни на женщину, полную сияния красоты.

— Завтра утром пак Роно пойдет туда. Когда он войдет в сад, ты постоишь у дома, пока пак Роно будет с ней разговаривать в саду. Но не пугай олененка и не показывайся сам.

— Ты очень добр, пак Роно. Я еще не встречал таких добрых людей. То, что ты сделал для меня, я никогда не забуду.

— Хорошо, что ты помнишь доброе. Но я тебе рассказал о своей жизни, а ты мне ничего не рассказываешь о себе. Это — дело твое. Может быть, и не надо другому знать о тебе. Пак Роно рад видеть тебя здоровым.

Человек смотрел нахмурившись, у него напряглись скулы и жила на лбу стала еще тяжелей. Потом он сел на циновку у ног пака Роно.

— Я благодарю тебя за то, что ты подобрал меня на дороге и спас от лихорадки и усталости, убивающей человека. Я расскажу тебе, что случилось в жизни со мной...

Он рассказывал медленно, долго и так просто и искренне, что пак Роно хорошо видел глухую бамбуковую деревушку, где рос сильный, красивый юноша, погруженный в крестьянский труд, связанный с рисовым полем, с джунглями, с простыми деревенскими радостями, с самой обычной жизнью. Жизнь его шла без потрясений, и все его чувства спали. Он еще не испытал, что такое любовь и боль.

Раз он увидел девушку, которая неизвестно откуда появилась около деревушки. Может быть, она сошла с неба. Один ее взгляд сковал его по рукам и по ногам. Она обворожила его так, что все ему стало постыло в родном краю. «Мы уедем! — твердила ему при встречах девушка.— И надо это делать скорей, потому что за мной гонятся родные».— «Уедем! Уедем!» — как эхо, отвечал потерявший голову парень. И они убежали из деревни и пришли в город, такой шумный и ошеломляющий, что голова закружилась. Ничего подобного не видел юноша из глухой деревни. Он слепо шел за своей спутницей, делал, что она делала, слушал только ее.

Она привела его в контору, где было много людей, крика и суеты. Она говорила за него, он ничего не понимал. Он только ждал часа счастливого бегства и жизни со своей красавицей. Ему дали бумагу. Он был неграмотный. Она сказала, что нужно приложить большой палец правой руки — и все в порядке. Их ждет уже пароход. Пароход дымил у пристани. Он пришел на пароход на другой день утром. Его пропустили, едва взглянули на бумажку. Красавицы не было. Ее не было и тогда, когда пароход уже уходил от берега.

Он стал кричать и требовать, чтобы его отпустили на берег. Ему показали бумагу, где стояла вместо печати чернильная клякса с отпечатком его большого пальца. Там было сказано, что он законтрактовался в качестве кули на Суматру.

Отчаяние молодого человека перешло в озлобление. Начались бесконечные годы каторги. На плантациях каучука, под палящим солнцем, полуголодный, полубольной, он вел жизнь раба, обреченного влачить свои цепи без надежды их сбросить.

Первое время он плакал ночами от боли, от бессильной ярости, от смертельного обмана, от тоски по своей деревне, по родным.

Потом он ожесточился и узнал, что он не первый, кто таким образом попал в рабство.

Пак Роно слушал длинный, как свиток, полный страдания рассказ, и от этого рассказа подымалась горечь в горле и невольно закипали слезы.

Что делают злые чары с людьми! Так вот отчего согнулся и так исхудал этот человек! Он пытался вырваться из рабства. Тщетно! Хитрые капканы были расставлены вокруг него. Он попал в лапы страшных, безжалостных людей. Они загнали его в такие долги, что никак нельзя было понять, откуда брались эти непомерные суммы долгов. Он сносил последние вещи в ломбард, чтобы купить расположение десятника, его приучили пьянствовать, он с горя пил, не понимая, в каком мире он живет.

Так проходили годы. Он болел какими-то мучительными кожными болезнями, валялся в припадках изнуряющей лихорадки, у него болела печень, ныли ноги — он погибал.

Выхода не было. Он смотрел, как люди питаются листьями вместо риса, отбросами, гнилыми фруктами, как они умирали, как надсмотрщики с холодной усмешкой шагали через трупы этих несчастных.

Над ним смеялись, его били, обсчитывали и гнали все больше в долги. Он понял, что его гибель предрешена. Иногда во сне он видел родную деревню, близких, слышал шум знакомого ручья, птичьи голоса, как будто звавшие его домой, и ту злую колдунью, которая улыбалась теперь улыбкой демона. Он просыпался в слезах...

Человек на циновке застонал:

— Я больше не выдержал. Я бежал. Чего это стоило! Как я остался жив, не знаю. Я бежал, но я не могу явиться в свою деревню, меня разыщут и посадят в тюрьму. Теперь ты знаешь, кто я...

Пак Роно отвернулся, чтобы не показать, что его глаза полны слез. В рассказе этого мученика он увидел многие жизни своих земляков, испытавших то же самое.

Он встряхнулся, и качалка заскрипела всеми голосами. Луна зашла. Темнота залила деревья черным лаком, и только пронзительный писк летучих мышей донесся откуда-то, точно над несчастьем человека, издевательски вскрикивая, смеялись маленькие ночные демоны.

Рассказчик сидел у ног пака Роно, и плечи его вздрагивали. Он хрипло, тяжело кашлял. Пак Роно дотронулся до его руки:

— Прими еще хины, у тебя был сегодня плохой вид. Я боюсь, чтобы не вернулась лихорадка.

Они встали рядом и молча вошли в темный маленький домик, где шуршали добрые ящерицы, бегавшие по потолку.

Перед тем как отправиться в обычный путь на базар перед входом в ботанический сад, пак Роно осмотрел свой ящик, в котором хранились мелочи и сувениры, и вспомнил, что он должен зайти к мастеру, изготовляющему игрушки, резчику по дереву, простодушному, но гордому своим ремеслом паку Датуку, у которого он был постоянным заказчиком.

Облачившись в скромные одежды, переменив повязку на голове на более яркую и свежую, пак Роно перебрал свой любопытный товар, который пользовался успехом у приезжих индонезийцев и иностранных туристов. В ящике лежали четки из кокосовых шариков, брошки с изображением косуль, крокодилов, пальм, браслеты с блестящими дешевыми камушками, всевозможные кольца, черные лаковые пудреницы с золотым жуком на крышке, игральные карты, фетиши из белого и красного коралла, похожие на фигурки людей, птиц, рыб, маленькие изделия из корней деревьев и серые, желтые, красные поделки искусного пака Датука, костяные слоники, раковинки, в которых стенки отливали всеми цветами радуги. Он любил свой товар, очень любил расхваливать его, выдумывая всякие истории, в которые сам потом верил. Иногда жаль было продавать приглянувшуюся ему вещь, и он с грустью расставался с нею.

Молчаливый гость пака Роно пошел вместе с ним и, как условились, остался в тени рослого пандануса. Из-за широкого, скрывавшего человека ствола дерева хорошо было видно лужайку, где ближе к дому была большая клумба японских роз, померанцевое и банановое деревья, камень, на котором сидела Сентан, обняв за шею тонконогого олененка, смотревшего на нее не мигая длинными покорными глазами.

Пак Роно, разговаривая с Сентан, испытывал дрожь и тайную радость. Ее красота ошеломляла и пугала его. Особенно смущал его взгляд ее открытых, черных, как черные жемчужины, глаз своим непонятным бесстрастием и очаровывающим простодушием. На мягко очерченных губах по-

коилась теплая улыбка. Золотисто-смуглое лицо светилось. Тонкая рука, державшая веер, казалась невесомой.

Первый раз в жизни он видел такое человеческое совершенство. У него захватывало дыхание. Он смотрел и не мог насмотреться. Эти черты вошли в его память с такой силой, что стоило ему закрыть глаза, и эта женщина снова и снова являлась перед ним, ослепляя его разум.

Оставив сад, он вернулся, оглушенный виденным, к пандану су, но его гостя там не оказалось. Он исчез, и, как ни оглядывался пак Роно, его нигде не было видно.

Тогда он отправился к паку Датуку, потому что в эти часы можно было застать его дома за работой.

Пак Датук, полуголый, подмяв под себя саронг, сидел на длинной светлой циновке и тонкими ударами крепкого молоточка вонзал особой формы долото в большой плоский кусок красного дерева, лежавший перед ним. Тут же рядом, на соломенном блюде, ждали своей очереди пилки и стамески, ножички и иголки самого разного размера. Юный сын мастера со сверкающими голыми коленками, сидя неподалеку от отца, тщательно шлифовал темно-коричневую маленькую фигурку. За ними возвышалась прекрасного рисунка плетеная стена дома на высоком каменном фундаменте.

На циновке стояли две готовые фигурки — тонкорукие человечки взирали с восторгом на создавшего их мастера, протягивая к нему с благодарностью небольшие коричневые ручки.

Сам пак Датук своим нахмуренным, умным лицом, тонкими, сжатыми крепко губами напоминал ученого, поглощенного опытом. Поздоровавшись с паком Роно, он снова сосредоточенно углубился в работу. И пак Роно, затаив дыхание, смотрел на рождавшуюся перед ним тайну искусства.

Он любил смотреть, как работает пак Датук. Плотно обернутый тюрбан как бы подчеркивал строгость его сосредоточения. Бронзовые плечи были неподвижны, как у статуи. Руки двигались тихо и точно. Грубый кусок красного дерева, лежавший на циновке, начинал постепенно преображаться, точно мастер освобождал плененные мертвой массой образы, и оживленные, освобожденные пленники выходили навстречу мастеру, чтобы приветствовать его.

Пак Роно восторженно следил за движением руки, державшей молоточек. Казалось, ударь молоточек не так, и волшебство рассеется. Дерево останется молчаливым, ничего

не говорящим обрубком. Мальчик тоже не смотрел на пака Роно и ничего не говорил. Он как будто ушел в молитву, потому что губы его что-то шептали, но так тихо, точно он разговаривал с кусочком дерева, который лежал в его неподвижной руке, коричнево-красный, как человеческое сердце.

Когда мастер поднял голову, пак Роно спросил его, готов ли заказ.

— Приходи завтра,— сказал резчик, снова наклоняясь над своей работой.

Паку Роно не хотелось уходить. Он мог бы так сидеть часами во власти очарования, но надо было идти дальше.

И все-таки он посидел еще немного, и в жаркой тишине благоухающего дня, под пологом темно-зеленых деревьев, с которых свисали связки фиолетово-красных цветов на фоне бамбуковой стены дома, было так хорошо сидеть, забыв все на свете, наблюдая, как осторожно стучит молоточек, как движутся руки мастера, какая забота написана на его лице.

Много раз видел пак Роно, как рождались здесь на свет светлоликие боги, черные демоны, золотистые красавицы, коричневощекие мыслители, страшные и забавные фигурки-игрушки, музыканты и охотники, танцовщицы и обезьяны. И всякий раз он чувствовал прилив радости и, вставая, чтобы продолжать свой путь, грустно расставался с добрым, удивительным миром, где темным силам зла не было власти.

Небо уже побледнело от зноя, когда он вступил в аллеи, где была прохлада индийских священных смоковниц, где царство пальм — от канарейских уходящих в небо великанов, от толстых талипотов до пальм ротангов, оплетающих деревья, как лианы, от веерной равеналы до сахарной пальмы — всегда поражало даже такого человека, как пак Роно, который видел это богатство родной природы ежедневно.

Недаром на этом месте руками ученых-ботаников был создан из всех тропических видов растений неповторимый сад, который давал человеку представление о неистощимой изобретательности природы, где деревья, за исключением фикуса-душителя, не враждовали друг с другом, так как им было предоставлено каждому особое место, чтобы они не могли превратить в поле битвы, в непроходимые джунгли сад-рай, созданный человеческими руками.

Посредине сада в низких зеленых каменных берегах, перекатываясь через серые, мшистые камни, образуя маленькие водопады, пенисто бежала речка, а на полянах росли такой величины цветы, что издали казалось, что это стоят толпы людей в ярких синих или красных тюрбанах.

Здесь тоже царствовало искусство, которое разбило лес на отдельные участки, пышно, но искусственно расположило растения, чтобы можно было изучать каждую группу деревьев отдельно, чтобы дикая природа не мешала человеческому разуму постигать ее зеленые тайны.

Пак Роно с детства привык к могучему зеленому миру и считал, что все вокруг создано для радости человека, и только сам человек не понимает этого, и от этого непонимания происходят все его несчастья и беды.

Когда он проходил мимо небольшого стеклянного павильона, его окликнул молодой человек в белой рубашке. Он приглашал пака Роно зайти в павильон. Это был знакомый студент-голландец, с которым он не раз говорил о разных цветах и диких растениях. Студент любил шутки, и с ним можно было говорить попросту.

Только пак Роно вошел под стеклянный навес, как хлынул тот мимолетный ливень, который в разные часы почти ежедневно падает на сад и на город. Этот светлый, освещенный солнцем косой ливень ударил в высокие кроны пальм, прокатился по шершавым листам хлебного дерева, ломая их, разрывая на части банановые листья, пронесся над пятиметровыми папоротниками, наклоняя их вырезные полосатые вершинки, прошумел над аллеями, откуда бежали редкие посетители сада, заплясал в белопенистой речке, посреди бамбуков, отскакивая от гладких стволов, большими белыми полосами прошел по стене стеклянного павильона, где несколько студентов работали, наклонившись над столами, усыпанными орхидеями.

Через четверть часа ливень ушел в сторону. Солнце снова засияло над освеженным простором сада.

— Пак Роно, я давно хотел тебе показать что-то! Иди сюда!

Орхидей в ботаническом саду было несчетное количество. Белые, красные, розовые, пятнистые, бледно-голубые, сиреневые, густо-малиновые, нежно-желтые, лиловые — такого скопления орхидей нет, по-видимому, нигде в мире.

Студент держал в руке нежно изогнутую орхидею. Лист-

ва вокруг светилась от серебряных капель, и орхидея казалась живым существом, притаившимся, застывшим. Студент взял нож и сказал:

— Смотри!

Он с размаху разрезал ее вдоль, обнажив внутренности цветка, и пак Роно увидел, как из первого изгиба цветка вылетели разные мухи и мушки, с облегчением взмахнув крылышками.

— Эти обреченные грешники спаслись! — сказал, смеясь, студент. Он указал кончиком ножа на вторую часть растения. Там в бело-розовой мякоти, как в болоте, перебирали ножками и хоботками, тонули, выныривали и двигались дальше, отяжелев, всякие таракашки, паучки, мухи. Пак Роно смотрел с удивлением и с каким-то чувством отвращения.

— Эти пьяницы еще идут,— сказал студент.— А вот и погибшие души!

В третьем, самом дальнем отрезке цветка, как в душной пещере, откуда шел одуряющий, терпкий запах, торчали только головы отдельных насекомых. Большинство их уже исчезло, растворилось в вязкой, одуряющей массе. Только отдельные головы и ножки торчали над болотистым раствором.

— Видишь, пак Роно, привлеченные запахом, все эти забулдыги насекомого царства входят в цветок, не ожидая ничего плохого. Они уже опьянены и хотят идти дальше. Они идут спотыкаясь, как старые пьяницы, которых тянет на дно. Они не могут сопротивляться, и вот их судьба. Первым сегодня повезло, они спаслись благодаря моему ножу, а этим всем крышка... Что ты скажешь, пак Роно? Здорово смешно!

— А ведь так и в жизни,— сказал пак Роно.

— Ты мудрец, пак Роно. Потому я тебе и показал! И ты сразу уразумел. Ну ладно, шествуй на свой базар. Но смотри не увлекайся пьянством. Пропадешь, как муха!

Довольный сам собой, студент засмеялся. Засмеялись и его два товарища,— они все знали, что пак Роно не пьет и не курит. Студент бросил растерзанную орхидею в кусты.

Базар всегда нравился паку Роно своей живой толкучкой. Он любил часами толкаться, особенно в воскресный день, в праздничной толпе, смотреть, как множество женщин, муж-

чин, детей в разноцветных саронгах, в цветных кофточках, под широкими зонтиками выбирают все эти папайи, фиолетовые мангустаны, ананасы, бананы, кокосовые орехи, желтоколючие дурьяны, малиновые рамбутаны, всевозможные овощи и травы.

Сколько торговцев продают, зазывают, спорят, смеются с покупателями! Корзины, плетенные из соломы и бамбука, блюда, остроконечные, как древние шлемы, широкие, как тазы, квадратные и круглые щетки всех размеров, циновки, петухи в круглых клетках, годные для боя, разноцветные леденцы и воздушные шары, папиросы, рыба, мясо, рис, прохладительные напитки...

Среди немолчного шума, возгласов, звона проезжающих двуколок и четырехколесных экипажей с легким выгнутым навесом, звонков велосипедистов пак Роно чувствовал себя в родной стихии.

На каждом шагу встречались знакомые, завязывались мимолетные беседы, начинались новые знакомства, он узнавал все последние новости города, все рыночные цены и наконец сам приступал к торговле.

Для этого он сначала отправлялся в ресторан, где всегда были люди, приехавшие издалека, туристы и ученые, желающие видеть чудо необыкновенного сада.

Он знал, что приезжие всегда готовы приобрести что-нибудь на память об этом дне посещения, какие-нибудь безделушки для подарка знакомым, какие-нибудь амулеты или вещи непонятного назначения. У него был товар на все вкусы!

Знакомый хозяин ресторана представлял его приезжим, и они, пообедав, сытые и довольные, хотели видеть, что содержится в его фанерном ящичке, но, прежде чем раскрыть его, он держал речь, он говорил о том, что у него есть правило: «Он не может торговать, если с ним не будут торговаться. Условимся в главном. Я не продаю без того, чтобы со мной не торговались. И торговались как следует, всерьез. Торгуйтесь! И мне и вам будет веселее! Я приступаю...»

Так и сейчас он сказал такую речь, и его ящичек раскрылся. Взоры приезжих, как зачарованные, обратились на его особый товар. И пошли по рукам амулеты, игрушки, кольца, фигурки работы пака Датука и его сына. Начался торг на славу!

Они хорошо торговались, смеясь и нарочно затягивая по-

купку. Пак Роно шутил и смешил их. С почти опустевшим ящиком он покинул ресторан и зашагал домой.

Было уже поздно. Он захотел есть. Он любил покупать обед у такого же, как он, уличного продавца.

На его зов уличный ресторатор в дырявой соломенной шляпе остановился, снял с коромысла жаровню и кастрюльки с едой, спустил на землю свой груз древесного угля, поставил жаровню, подкинул в нее угля, раздул огонь и начал принимать заказ.

Пак Роно, облизывая губы, смотрел, как разгораются угли, как человек начинает разогревать обед. Он сделал хороший заказ, чтобы поесть как следует.

Через несколько минут он уже глотал горячую вермишель, щедро смоченную острым соусом, приправленную разными овощными подливками. Потом он наслаждался жареным мясом. Затем последовал рис с кусочками рыбы и луком. Вместо тарелок служили широкие банановые листья.

Обедая, он вспомнил про своего гостя, который так неожиданно бросил его утром перед домом Сентан. Куда он мог деваться?

Может быть, он ушел совсем и пак Роно его больше не увидит? Хотя он и рассказал вчера свою жизнь, но, возможно, рассказал не все. А почему он должен открывать ее до конца? Его так много обманывали, несчастного человека!

И не надо его ни о чем спрашивать. Пак Роно дал ему свои старые куртку и штаны, дал немного денег, и он, наверное, тоже поел где-нибудь вермишели и риса. Не будет же он ходить голодным!

Да, много зла, слишком много зла в этом мире!

Он пришел домой поздно и сел в свою качалку. Он устал за день. Не забыть зайти завтра к паку Датуку за сделанным заказом. В ветвях незаметно исчезли просветы неба, луна начала свой путь. Затихли голоса на дороге. Его гостя в доме не было. Видимо, он с утра сюда и не заглядывал.

Пак Роно, привыкший к своему постоянному одиночеству в пустом доме, всегда после оживленного рыночного дня чувствовал усталость. Он слишком много съел за обедом, его клонило в сон.

Он закрыл глаза, и из синего мрака перед ним встала Сентан с цветами жасмина в волосах. Рядом с ней стоял пят-

нистый легкий олененок и смотрел на него человеческими глазами. Хорошо, что у этой доброй красавицы будет удача. Он-то хорошо знал, что она нуждается в деньгах, и богатый голландец сейчас, как никогда, будет кстати. И он увидел большеплечего голландца, который провисал багровым, тяжелым лицом среди банановых листьев. Он не мог скрыть волнения, его губы кривились, лицо все время менялось, теряясь в легком лунном тумане...

Сегодня попозже они встретятся, туан войдет в сад, где померанцевое дерево, где японские розы и луна заливает маленький домик искрящимся, как мягкий морской песок, светом.

Он закрыл глаза и начал дремать. Шорох послышался совсем рядом. Видимо, он заснул на какое-то время, потому что совсем не слышал, как вернулся гость. А он все-таки вернулся. Темная фигура прислонилась к столбу терраски.

Хриплое дыхание долетело до слуха пака Роно. Как будто человек долго бежал и никак не может отдышаться.

Пак Роно совсем проснулся.

— Где ты был? Почему ты так дышишь, так тяжело?

Человек наклонился к паку Роно:

— Я не устал! Я не сяду! Я ухожу!

Пак Роно давно ждал этого и не хотел задерживать уходящего. У каждого человека свои дороги: иной ждет солнца, чтобы пуститься в путь, иной уходит ночью, когда все спит. Зачем мешать судьбе? Пусть уходит. Он только сказал тихо, точно боялся, что кто-то их подслушивает:

— Скажи мне свое имя.

Гость сначала не отвечал, точно у него перехватило дыхание. Потом ответил так же тихо:

— Зачем оно тебе? Мы больше не встретимся. Никогда! Я ухожу. Может быть, у меня много имен...

Он сошел с терраски во дворик и вдруг, подойдя с другой стороны, поднялся на цыпочки и сказал:

— Пак Роно, любовь моя к той, которая предала меня, была так велика, что я дал клятву во что бы то ни стало разыскать ее и взглянуть на нее! Прощай!

Как будто от этих слов уже не летучие мыши поднялись в воздух, а те черные, когтистые птицы с алыми ртами, которых зовут летучими собаками. Они пронеслись над деревьями, и черные-черные плащи их крыльев растворились в лунном небе.

Сколько ни всматривался сидевший в качалке пак Роно

в окружавший его сумрак, он ничего не мог разобрать в нем. Может быть, это все же был призрак, из тех, о которых рассказывают шепотом, он пришел из глубины леса и снова исчез во тьме. Но ведь пак Роно притащил его в свой дом и выходил его от лихорадки. Нет, это был человек, безумный, загнанный жизнью человек. Почему он ушел в ночь, на новые мучения? Почему?

И вдруг волна тревоги захлестнула его с ног до головы. Холодный пот выступил у него на лбу. Что он сказал? Почему он так сказал? Ужас сначала сковал все его члены. Он стал дрожать, как будто стоял под ливнем, который мучительно хлестал его холодными потоками по усталым плечам.

Он вскочил, выбежал во дворик, оглянулся на домик, точно кто его мог окликнуть. С дороги слабо донесся плавный бег запоздавшей двуколки, ржание лошади, заглушенные голоса.

Пак Роно бежал по длинной прямой дороге, как только позволяли его старые, усталые ноги. Он бежал с закрытыми глазами, дорога была гладкая, прямая как стрела, он бежал, не боясь, что ночная машина раздавит его и промчится, даже не остановившись. Он бежал, задыхаясь, хрипя, как тот его гость. Никогда в жизни он так не бегал...

Питер ван Слееф приказал остановить машину, не доезжая до места, куда он стремился, велел шоферу ждать его, и шофер, поставив машину в тень стены из плотно разросшихся кактусов, открыл с поклоном дверцу и несколько шагов следовал за хозяином, думая, что будут еще какие-нибудь приказания. Но так как хозяин не сказал больше ни слова, он вернулся и, сев на свое место, чуть напрягая зрение, следил, как в металлически-белом свете луны Питер ван Слееф шел обычным тяжелым шагом к большому пандану и потом свернул к дому, невидимому за зеленью.

Питер ван Слееф шел к покрытому красной черепицей дому, и дорожка, темная, как будто усыпанная кирпичной пылью, чуть скрипела под его шагами.

Он посмотрел рассеянно на бледно-зеленый газон, на клумбу, обложенную каменными плитками, на кусты цветущих японских роз, которые в чуждом им климате имели чахлый, невеселый вид.

Стояла тишина. Только жестяной шелест высоких пальм, окружавших дом, нарушал молчание. Никто не остановил идущего.

Питер ван Слееф не спеша вступил на лестницу. Широкие ступени вели на веранду. Он не раз ходил по ним, когда здесь жил покойный ван Брайен. Вот и знакомые старые колонны. На веранде он обошел круглый стол, на котором сладко пахли какие-то ночные цветы в черной вазе, кресло-качалку, и перед ним открылся вход в полутемный небольшой холл. Он прошел эту пустую комнату, немного удивляясь окружавшему его безмолвию, точно весь дом вымер, и увидел впереди слабый свет. Его сейчас же закрыла темная фигура, которая надвинулась на него, но, как бы раздумав, остановилась.

Он тоже остановился, и рука его невольно нащупала в кармане пистолет, но, приглядевшись, он узнал пака Роно. Только ему показалось, что этот всегда такой мягкий и тихий человек сейчас напоминает почему-то фигуру, вырезанную из камня.

Пак Роно поднял руку, как будто на дороге останавливал машину. Какое-то мгновение они смотрели друг на друга. Потом пак Роно подошел вплотную и взглянул какими-то стеклянными глазами.

— Не надо туда ходить, туан!

В его голосе звучали слезы. Питеру ван Слеефу стало вдруг холодно, точно он опустил ноги в ледяную воду. У него пересохло в горле.

— Почему?

— Не надо, туан! — Голос пака Роно был едва слышен.

— Как? Она не ждет меня? — воскликнул, пересиливая волнение, Питер ван Слееф.

— Лучше туану ее не видеть!

Питер ван Слееф отстранил пака Роно и сказал решительно:

— Я должен ее видеть!

Они шли по четырем ступенькам, ведшим в следующую комнату, как будто поднимались на эшафот, как будто им самим осталось жить считанные минуты.

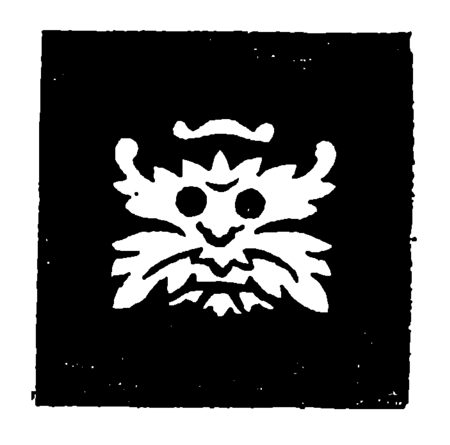
Они вошли в комнату, богато убранную коврами и вышивками. По углам стояли на полу вазы с цветами. Комната освещалась только квадратным фонарем, спускавшимся с потолка на тонких цепочках. Причудливые тени от фонаря лежали на полу и на ложе в глубине комнаты.

Пол был устлан разноцветными циновками. Ван Слееф и пак Роно шли в смутном полумраке, в полной тишине.

На ложе, покрытом шелковым покрывалом, лежала женщина. Одна рука ее, как невесомая, касалась пола. Красный с золотом саронг искрился в полумраке. Белая кофточка, расшитая цветными узорами и голубыми цветками, была покрыта темными пятнами.

Они наклонились над лежавшей. Черная лента неровно пересекала шею. Широко открытые глаза уставились в одну точку. Лицо не было изуродовано судорогой. В черных волосах горели белыми вспышками цветы жасмина.

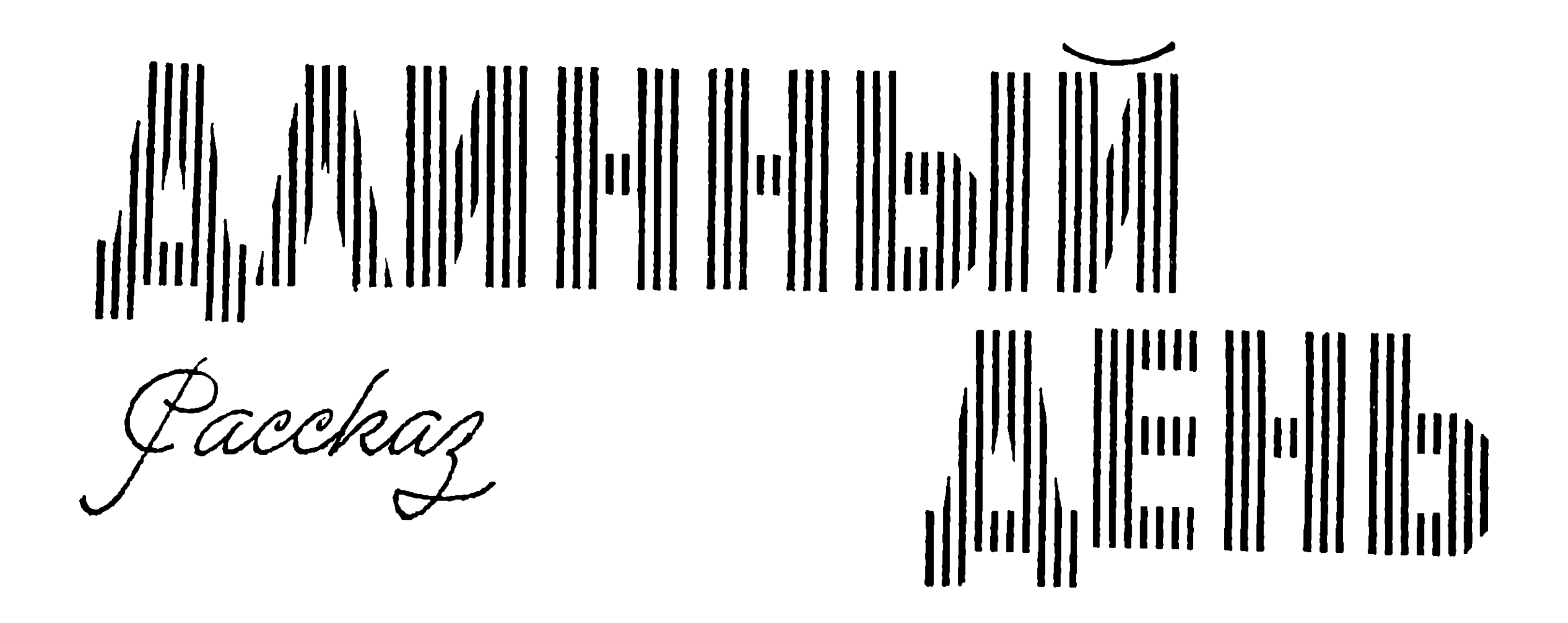
От пробегавших по губам теней казалось, что она улыбается. Да, это была Сентан. Во всем своем блеске она лежала перед ними с перерезанным горлом.



Если жизнь людей большого зеленого острова, именуемого с незапамятных времен Ланка, но более известного под именем Цейлона, в пятидесятых годах двадцатого века во многом изменилась, то природа острова, климат его не удивляют никакими неожиданностями.

Так же, как и в былые времена, температура воздуха понижается с приходом муссонных дождей, начиная с июня, и неизменно повышается в марте, когда солнечные лучи падают отвесно, нестерпимо накаляя к полудню кирпично-красную землю, перед тем как на нее обрушится быстрая, шумная стена грозового ливня.

Так повторяется каждый день, к великой радости коренных обитателей этой древней земли. Так же как декабрьские



и февральские дожди очень нужны чайным плантациям горных районов, эти ослепительные звонкие ливни марта просто необходимы для рисовых полей в пору их подготовки к новому севу.

Но это касается деревень, а в городе есть другие заботы. Миссис Айлен Броуден стояла на большой открытой террасе своего старого дома и рассеянно смотрела на давно знакомую улицу, с ее привычными оградами и садами, на однообразные, выцветшие крыши невысоких старых домов, невыразительных, скучных, похожих, как близнецы.

Раннее мартовское утро, как всегда, было жарким. На другой стороне улицы, на краю заросшей канавы, в тени, прислонившись к садовой ограде, сидел рикша в серой заношенной соломенной шляпе, в потерявшей цвет, выгоревшей на солнце мятой курточке без рукавов, на которой у правого плеча ярко блестела большая круглая бляха с номером.

Он курил сигарету, осторожно затягиваясь, а плотный, невысокий человек, с шафрановым лицом метиса, небрежными движениями молча наполнял его пустую коляску с опущенным верхом всевозможными вещами. Он появлялся из двери в ограде, нагруженный пакетами, тючками, мешками, всевозможными свертками, не говоря ни слова и не обращаясь к рикше, бросал их как попало друг на друга в коляску и опять исчезал, чтобы через минуту появиться с новыми вещами.

Рикша, полузакрыв глаза, равнодушно смотрел, как суровый метис с презрительной поспешностью, точно желая поскорее отделаться от грязной работы, набросал целый маленький холм, и, казалось, стоит тронуть коляску, все эти тючки, мешки, пакеты, свертки, как на крыльях, разлетятся во все стороны.

Метис, бросив последний пакет и поставив еще большую корзину поверх всего, обтер руки о бока своего белого, плотного комбоя, что-то быстро и повелительно сказал рикше и пропал за оградой, крепко хлопнув дверью.

Рикша не спеша докурил сигарету, сплюнул окурок в канаву, поднялся с земли и медленно, как бы разминаясь, пошел к груде бесформенного багажа.

Потом он с удивительной быстротой начал снимать вещи с коляски. Он снял корзину, разобрал пакеты, отсортировал тючки, сложил в сторону мешки. Опустошив коляску до самого дна, он с искусством жонглера начал подбирать вещи так, чтобы они ложились плотно, аккуратно, одна к одной, распределял их по весу и объему, делал между ними прокладки из мелких пакетов. Снова вырос холм вещей, но теперь это было аккуратное, незыблемое сооружение.

Стянув его тщательно веревкой, рикша встал перед коляской, еще раз взглянул на нее, нагнулся, подхватил длинные узкие оглобли, положил на них руки так, чтобы пальцы правой руки были около звонка, укрепленного на оглобле, шатнул коляску и, подавшись чуть назад, вдруг примерился и сразу взял с места, рванул и пошел, все ускоряя шаг и переходя в бег.

Проводив рикшу глазами, миссис Айлен Броуден вздохнула. Если бы так искусно можно было распределить тяжесть своих дней, чтобы вещи потеряли свой злой, тяжелый вес!

У нее была плохая ночь. Очень плохая ночь. Опять ее замучили боли. Тяжелые мысли и эти боли прогнали сон. Она не могла спать от мучительного ощущения, что все тело горит, как будто ее колют раскаленными иголками.

Измученная, она бродила по всему дому. У нее замирало сердце в этих пустынных ночных комнатах. Под высокими потолками шуршали ящерицы. Вздрагивая, шуршали фёны. Сквозняк шевелил листы бумаги на письменном столе покойного доктора. В рабочей комнате холодно сверкали металлические приборы, инструменты в стеклянных ящиках, колбы и микроскопы. В другой комнате рояль под коричневым чехлом походил на дремлющего слоненка, вставшего на колени. Пустые кресла и стулья напоминали о людях, когда-то посещавших дом. Кровати с кисейными пологами, опущенными до полу, вызывали в памяти тоскливый писк москитов. Большие книги на полках казались мертвыми, темными кирпичами.

Все было чисто, опрятно, и от этого еще больше веяло одиночеством и печалью опустошенного жилища. Тот, кто привык видеть Айлен Броуден веселой, всегда приветливой, дружески улыбающейся, никак не признал бы ее в этой согнувшейся от боли женщине, сжимавшей зубы, чтобы не закричать от нестерпимой муки.

Она боялась таких ночей и дрожала перед ними, хотя всегда была мужественной в жизни. Кто такая Айлен Броуден? Вдова известного доктора Генри Броудена, умершего недавно от жестокой тропической лихорадки в научной экспедиции в Новой Гвинее.

Единственный их сын Эмрис погиб в джунглях Ассама, защищая Индию от японцев во время второй мировой войны. Брат ее — наивный человек — искал справедливости и законности, перессорился со всем начальством, и ему ничего не оставалось, как начать пить, курить опиум, бросив службу, умереть, раствориться в дебрях каучуковых плантаций Саравака, среди непроходимых тропических болот. Все они так или иначе исчезли, оставив ее одну перед лицом неизвестной болезни, которая все больше приобретает власть над ней.

Такие ночи, как вчерашняя, стали повторяться все чаще. Но к утру миссис Айлен являлась бодрой, обычной, такой, к которой привыкли друзья и знакомые и которая скорей бы умерла, чем показала себя несчастной на людях.

К утру ей стало лучше. Она даже немного забылась, подремала, приняла душ, долго сидела перед зеркалом, приводя в порядок свое измученное лицо, и как хозяйка вышла на террасу навстречу дню.

Все было как всегда. На бледном молочно-голубом небе шевелились легкие бледно-зеленые вырезные ветви кокосовых пальм. На дворе соседнего участка садовник косил траву.

Эта трава вырастала каждое утро, и каждое утро садовник выкашивал ее. Если бы он не косил ее, весь круговой подъезд к парадному входу дома зарос бы высокой травой. Каждый день садовник косил траву. Остановись он, прекрати свою ежедневную работу — неумолимое время промчится дальше, и трава забвения все покроет своей зеленой, спокойной пеленой.

Очнувшись от невеселых мыслей, миссис Айлен только теперь ясно услышала крик, который она и раньше слышала, как только вышла на террасу, но он как-то не доходил до ее сознания. За углом террасы неистово кричали вороны. Они каркали на разные голоса, как будто хотели привлечь к себе внимание этим черным многоголосьем.

Вороны — привычные на острове, самые нахальные, крикливые, неугомонные птицы. Но кто обращает на них внимание? Их всегда много у моря, там, где порт, пароходы; на берегу, где склады и где всегда им может что-то перепасть. Да они и рыбу ловят, как чайки, прямо из волн. А почему они кричат сейчас, здесь, рядом с домом? Какой содом!

Она перешла на самый край террасы, откуда был виден маленький дворик. Посреди него росла старая вельможно-важная магнолия. Там были разные сарайчики, пустой небольшой водоем, несколько кактусов и агав и прижавшийся случайно куст дикой лантаны с ее густыми, пронзительно-розовыми цветами.

Рядом с пустым водоемом, под темно-лаковыми листьями пышной магнолии, посреди дворика лежала на спине, раскинув крылья, большая черно-серая ворона. Вокруг нее ходили, бегали по земле, сидели на ветвях дерева, непрерывно каркая, десятки больших и малых ворон.

Каждую минуту подлетали новые птицы. Айлен ничего не понимала. Кто убил ворону? Зачем? Птиц не убивают, хотя здесь их великое множество. Если она умерла от старости... Почему здесь, у нее во дворике? И почему это касается всех ворон?..

Она услышала шаги за спиной и обернулась. Перед ней стоял, с морщинистыми, впалыми щеками, с тонкими, почти мальчишескими руками, худой тамил — ночной сторож. К его босым фиолетово-коричневым ногам жалась похожая на шакала собачонка с вытертыми боками. Старик и собака ночью всегда спали вместе, на одной соломенной циновке, на старом тряпье, прижавшись друг к другу, и собака мгновенно будила хозяина, если слышала подозрительный шум.

— Что это такое? — спросила старика Айлен.

Старик смотрел на ворон и вытирал слезящиеся глаза большим желтым платком с обтрепанными краями.

— Не знаю, мэмсаб. Это их дело. Прогнать их?

— Не надо,— сказала она, полная неожиданного смущения. Вороны были так суетливы, так чем-то напоминали деловитых и печальных людей, что в голову приходили самые странные мысли. И с этими мыслями Айлен вернулась в дом. Обычный завтрак она ела без опаски, что боли вернутся. В утренние часы они ее оставляли. Она съела овсяную кашу, отказалась от яичницы, проглотила несколько кусочков желто-розовой, похожей на дыню папайи, у которой внутри, запутавшись в волокнах, густо лежали черные семечки, съела белоснежную мякоть темно-малинового мангустана и жадно выпила две чашки чаю с молоком. Вошел слуга и доложил о приходе гостя. Она попросила провести гостя в столовую.

Она еще с вечера послала ему записку, чтобы он пришел. Это был друг ее погибшего сына. Он воевал в Ассаме вместе с Эмрисом. Его звали Джон Паркс. Вошел долговязый, костистый, высокий, спортивного вида человек. Он был школьным товарищем Эмриса. Они когда-то охотились вместе на диких зверей. Он большой знаток регби. Служит в пароходной компании «Синяя звезда» — океанские лайнеры, контора в Форте, в Коломбо. У него жена, двое детей. Ему тридцать семь лет; он старше Эмриса на несколько лет.

Он сел за стол. Айлен налила ему чаю.

— Как жизнь, Джон?

— Обыкновенная, миссис Айлен.

— Как семья?

— Все здоровы, ездим освежаться к морю или, когда есть возможность, в Нувара Элию; дети растут, жена увлекается теннисом...

— Как с политикой?

— У меня нет никакой политики. Я ее давно бросил. Без нее дышать легче. Мне все равно, где жить и работать. А в остальном — ведь это же как повезет. Слепое счастье у тех, кто ожидает, когда какой-нибудь богатый родственник умрет. А у меня нет таких родственников. И у Мод тоже. Значит, дело в работе. Ну, а люди не оставляют старого способа сообщений. Наша линия «Синяя звезда» не может жаловаться. И пассажиры, и туристы, и товары плывут еще в наши края и через нас в Австралию, в Полинезию, в Японию, в Индонезию... Это путь обжитой. Так и живем... Вот бедному Эмри-

су не повезло. Как вспомню, злость берет. И война-то шла к концу. Но эти япошки перехитрили тогда нас. Мы не умели воевать в джунглях. Были, конечно, отдельные отряды, те здорово им всыпали, появляясь из таких мест, где и ожидать нельзя было. И маскировались замечательно. А мы не умели. Не привыкли. Еще индийские войска — те воевали лучше. Особенно пятая дивизия, которая пришла позже. Япошки устроили засаду в лесу, и наши попали в ловушку. Эмрису не повезло. Но, правда, мы япошек поколотили так, что, когда их отбросили от Кохимы, они бежали через Тиз на восток, ополоумев от страха. Давно это уже было...

— Джон, я хочу вам сделать один подарок!

— Я буду очень признателен, миссис Айлен! А что именно вы хотите мне подарить? Какие-нибудь игрушки для детей?

Айлен отрицательно покачала головой, ушла и через несколько минут вернулась в столовую, держа в руках охотничье ружье. Она подала его Джону.

— Что это?

— Это — любимое ружье нашего дорогого Эмриса. Он с ним всегда охотился. Я хочу в память вашей с ним дружбы, которая началась еще с детских лет, подарить его вам...

— А почему вы не хотите сохранить его на память? Оно так украшало комнату...

Айлен посмотрела на него пристально светлыми немигающими глазами. Улыбнувшись, она сказала:

— Потому что у меня бывает ночью желание покончить с собой, и это ружье очень соблазнительно. Оно может нечаянно само выстрелить. У вас ему будет спокойнее...

Джон Паркс нелепо и смущенно ухмыльнулся.

— Вы всегда шутите, миссис Айлен! У вас всегда такое бодрое настроение...— Он рассматривал ружье.— Я знаю это ружье. Мы вместе охотились с Эмрисом. Это, конечно, не двести семьдесят пятый калибр, каким можно убивать леопардов и слонов, но ружье стоящее. Это хороший «Вестлей-Ричардс». Вы смело пошутили. Из такого ружья приятно и застрелиться. У меня нет тенденции к самоубийству, и оно пригодится в моем хозяйстве. Большой это подарок. Я вам очень, очень благодарен. А как вы себя чувствуете?

— Прекрасно... Окруженная друзьями и хорошими людьми, миссис Айлен Броуден может поделиться своей жизнерадостностью со многими, кому не хватает жизненной энергии.

Джон засмеялся смехом уравновешенного человека.

— Спокойствие — это необходимо даже в самых исключительных обстоятельствах. Вот ведь и на охоте бывает всякое, как на войне. Раз в том же Ассаме мы хотели поохотиться на тигра. Но он никак не попадался нам. Нас утешали местные охотники: завтра он обязательно выйдет на нас. И, усталые от поисков, мы устроили попойку. Наш товарищ праздновал день рождения. В охотничьем бараке в лесу мы хорошо выпили. И когда все галдели и поднимали пьяные тосты, дверь распахнулась, и что мы увидели... На пороге — огромный леопард. Представляете себе? У нас в комнате ни одного ружья и окно, которое закрыто. Мы прижались к стене, и самые отчаянные замолчали. Наступила тишина, как в строю по команде «смирно». И что вы думаете? Мы все протрезвели, а наш леопард втянул в себя воздух, и весь наш пьяный угар пополам с дымом трубок, и сигар, и сигарет ударил ему в нос. Он попятился, страшно чихнул и пропал в ночи. И тогда начался такой хохот, что, ей-богу, он был похож на истерику. Мы схватили ружья в соседней комнате, выбежали как безумные в лес, но его и след простыл. Он сцапал какую-то собаку одного шикари и смылся... А вы знаете, что на нашем Цейлоне есть пьяные слоны?

— Как? Те, что дают представление в зоосаде, они пьют? Никогда не слышала.

— Нет, те, в зоосаде, непьющие. А в джунглях, где есть еще дикие слоны. Вот они напиваются каким-то пьяным соком, приходят в такое состояние, что им ужасно хочется все разнести вокруг. Они выходят на дорогу, правда, в одиночку, и вспоминают все старые обиды, совершенно как пьяные люди. И тогда они вспоминают, что их главные враги — машины, особенно грузовики, которые воняют на все джунгли грязным бензином. И такой пьяный слон валит дерево на дорогу. Перед завалом останавливается несчастный водитель, думая, что это сделал ветер. А слон, как гангстер, выскакивает из засады и начинает разносить в щепы грузовик. Счастье, если шофер сумеет быстро взобраться на ближайшее дерево. Оттуда он смотрит, как слон громит его машину. Лесной бродяга работает хоботом и бивнями, ногами, срывает бока; деревом, как рычагом, ломает кузов, кабину, топчет колеса. Не успокоится, пока не превратит все в кучу обломков...

Он, наверно, думает, что мстит какому-то слону, ставшему в руках людей неузнаваемым и дурно пахнущим. Я раз сам напоролся на такого слона. Я ехал на легковой. Встреч-

ный шофер предупредил, что на таком-то километре буянит пьяный слон. Я спросил, когда он его встретил. Он сказал: «Ну, я думаю, что слон уже ушел». Прошло несколько часов. Я просил шофера развить на подходе к этому месту наивысшую скорость. Он мчался как мог. И мы проскочили. Было темно. И вдруг что-то непонятное затрубило нам в уши, что-то шлепнуло за нашей спиной в машине и исчезло. Мы, оглушенные этой трубой, сначала даже не поняли, что слон хотел остановить нас и его хобот попал в открытое окно автомобиля, к счастью за нашей спиной. Его рвануло, и он, боясь оставить хобот в машине, поспешно вырвал его, предварительно заорав во всю силу, и оглушил нас... А что это у вас за вороний концерт? Я давно хотел спросить: чего так разгалделись вороны?

Они вышли на террасу. Джон, увидев такое множество ворон, пожал плечами. Разглядев лежавшую посреди дворика мертвую ворону, он шутливо закричал:

— Смотрите, миссис Айлен, кто-то уже начал охоту, и вот трофей! Вот как дать по ним,— он поднял ружье к плечу,— сразу бы разлетелись кто куда... А чего они орут?

— Пусть орут,— сказала Айлен, тронув его за плечо,— не надо в них стрелять. Они берут пример с людей...

Джон свистнул и сказал восхищенно:

— Ох, вы и скажете, миссис Айлен! Так скажете, как никто не умеет сказать!...

Широкоплечий, грузный, почти квадратный, похожий на боксера тяжелого веса, доктор Норман Райт чувствовал себя в доме миссис Айлен Броуден как дома. Это была очень старая дружба, не омраченная никакими размолвками. Доктор вместе с Генри Броуденом участвовал во многих экспедициях и обследованиях, знал тропики, как никто, провел много времени среди глухих, труднодоступных мест, среди диких, первобытных племен, населяющих такие острова, как Новая Гвинея, Андаманские, Соломоновы острова.

Сейчас он уезжал надолго в Европу и зашел проститься с Айлен. Слуга принес чай, печенье, прохладительные напитки. Жара уже заполнила дом, налила комнаты какой-то огненной сухостью, и вороны кричали так, точно умирали от жажды.

Сидевшие за чайным столом переговорили о всех делах, связанных с отъездом Нормана Райта в Европу — у него та-

кое событие было не частым. Его старшая дочь кончала в Лондоне художественный институт. Из Лондона они собирались проехать к друзьям в Париж, а оттуда на всемирный конгресс врачей в Рим. Это не такое малое путешествие, если принять во внимание еще одно обстоятельство, что дочь собирается выходить замуж.

— Так что надо все посмотреть и принимать решения,— сказал Норман Райт.— Вам ничего не нужно в Лондоне?

— Нет,— сказала Айлен.— Я в свое время взяла от Лондона все, что может взять женщина, когда она молода. Сейчас у меня другие заботы, и мой возраст не тот. Но я давно хотела задать вам, дорогой Норман, один вопрос, который вам, может быть, покажется странным, и я бы не задала его, если бы вы не уезжали так надолго. Он меня давно мучит, и я хотела спросить именно вас...

— Пожалуйста, спрашивайте.— В ее голосе он уловил оттенок какого-то беспокойства.— Мы такие старые друзья, что даже если это какая-то тайна, то я нем, как могила. Но я смеюсь, какие у нас тайны!.. Все известно, все понятно...

— Не все известно, не все понятно, Норман. Скажите, что такое, по-вашему, тропики, вот все эти окружающие нас страны, которые совсем недавно мы называли своими колониями?

Норман Райт даже улыбнулся, как улыбается серьезный человек на вопрос наивной девушки, начитавшейся книг про дикарей и приключения. Но перед ним была Айлен, старая знакомая, вдова его друга, известного доктора Генри Броудена, и, по-видимому, в ее вопросе было что-то другое. И поэтому, немного подумав, он отвечал со всей серьезностью и как бы в раздумье:

— Тропики! Видите ли, Айлен, они разные для разных людей. Для людей искусства — это чудеса и тайны; для деятелей мирового рынка, людей торговли и коммерции, банков и биржи — это неслыханные богатства природного сырья, земных недр, дешевого труда; для политиков — это большая игра, в которой играют головами миллионов людей; для туристов — праздничная поездка, отдых и удовольствие...

Все это так! Но для нас, врачей, нет праздничных тропиков, мы не играем на бирже и не участвуем в заговорах, для нас не существует восторгов праздных путешественников, ищущих острых развлечений, восторгов туристов, которые восхищаются при виде голых людей, в костюме Адама и Евы, или в неизвестных европейцу живописных одеяниях. Для

нас, врачей, тропики полны больных и голодных людей, живущих в тяжелых, антисанитарных условиях. И те, кто считает себя господами, так же, в сущности, больны, как и последние нищие, но больны по своей вине... Тут, в этих краях, вся природа ополчается против людей. И в воздухе, и в траве, и в лесу — всюду вредные, очень вредные бактерии...

— И они ведь не похожи на европейские, эти здешние болезни? — сказала Айлен.

— Нет, не похожи, здесь целая галерея — набор каких-то библейских редкостей, начиная с желтой лихорадки и кончая проказой. Только позавчера я осматривал крестьян, больных вухерериозом — слоновой болезнью. Поздно: уже нельзя помочь. А похожая на проказу фрамбезия...

— Да, я видела этих несчастных довольно много,— спокойно сказала Айлен.— Их тела, покрытые ярко-красными пятнами и язвами, трудно забыть.

— Фрамбезией, как вы знаете, болеют миллионы. И она не такая безвредная — она вызывает деформацию костей. Ею переболели целые народы. Сейчас мы разгадали ее и можем изгонять этого страшного беса простым пенициллином... А шестизоматос...

— Я все-таки жена врача.— Айлен тяжело вздохнула.— Мне о нем рассказывал Генри. Он занимался этой болезнью. Это страшный зуд от личинок, проникших через кожу.

— Их много, этих тропических бичей: тропическая малярия, билгарциоз — те же личинки, вызывающие цирроз печени, общее истощение организма, черная оспа, парагениоз, который гнездится в клешнях краба. Ну, и царицы бала — чума, холера. Но вы все это знаете от Генри, который всю жизнь боролся с ними. Зачем вам сейчас нужны эти болезни?

Айлен покачала головой.

— Конечно, я слышала о них, но меня сейчас интересуют не болезни, другое...

— Простите, Айлен, я вас тогда не понял, но вы спросили про тропики. Я сказал, что я о них думаю как врач.

— А скажите, исходя из вашего опыта врача: могут европейцы жить в тропиках совершенно спокойно?

— Совершенно спокойно жить — это формула не для нашего нервного века. Кто сейчас живет спокойно где бы то ни было? Тем более в этих странах Азии, где все бурлит и все меняется.

— Норман, а зачем белые вообще пришли в эти страны?

Доктор Райт искренне засмеялся.

— Все знают, Айлен, ваше неизменно хорошее настроение, ваш оптимизм и остроумие. Но, дорогая, этот вопрос касается историков и политиков. Я только врач, меня не интересуют вопросы эволюции человечества. Зачем арабы и монголы приходили в Европу? Пусть на это ответят специалисты...

— Ну хорошо, я хотела еще спросить: могут ли, по-вашему, белые люди естественно жить в тропиках рядом с желтыми и черными?

— Могут, но, конечно, им жить труднее, чем цветным народам, старожилам этих мест. Например, даже лошади не могут жить на Цейлоне. Они живут, им это не очень нравится. На Цейлоне не растут яблоки, груши, виноград. Но белые люди — враги сами себе. Они привезли из Европы слишком много ненужных привычек. Они погибают от пьянства, оттого, что едят много больше, чем нужно человеку, причем не то, что нужно есть в тропиках. Они слишком расстроили свои нервы, многие из них ведут сидячий образ жизни, они злоупотребляют табаком, сигарами, наркотиками. Ну, а за последнее время выросли психические заболевания на почве подавленности психики, «атомной истерии», тревоги за себя и за свое шаткое, хотя и безбедное существование. Это все укорачивает их жизнь. Если бы они соблюдали правила гигиены и задумались бы над своим образом жизни, они жили бы дольше... Потом они погибают от своего сверхвластолюбия, эгоизма и от одиночества. Как ни странно, они очень одиноки, эти покорители тропиков. Ну, и от неизвестных нам, пока еще не разгаданных болезней. Мы, европейские врачи, хотим разгадать все загадки этих древних стран. Наш старый друг Генри погиб от лихорадки с примесью какой-то болезни, нам пока неизвестной. Фактически мы только начали наступление на все эти болезни, которыми болеют здесь миллионы людей. И мы не хотим заноса их в Европу!

Айлен спросила так тихо, что доктор Норман Райт должен был наклониться к ней, чтобы расслышать, что она сказала:

— А большие неприятности доставил бы европеец, если бы он явился в Европу с неизвестной или известной, но ужасной азиатской болезнью, с тропической болезнью?

Норман Райт даже положил трубку на стол и взмахнул руками, точно отгонял видение.

— Невероятные неприятности, Айлен, вы не можете себе представить, что произошло бы, если бы такой человек по

приезде в Европу умер и было бы установлено, что болезнь неизвестна или что она что-то вроде черной оспы. Пришлось бы поднять мировую тревогу, на всей пройденной им дороге, на всем маршруте, которым он пользовался, отыскать всех, кто с ним встречался, кому он что-то посылал, с кем он беседовал, пил и ел. Ведь он может стать носителем страшной эпидемии, о которой в Европе или мало знают, или не знают ничего. Такие случаи, увы, бывали... Но это слишком печальная и мрачная тема, дорогая Айлен... Почему вам это пришло в голову?

— Да, почему мне это пришло в голову? Я знаю почему. Я последнее время читала много фантастических романов, и там были как раз и неизвестные болезни и эпидемии, но это хорошо, что это только в книгах, а в жизни всего этого кошмара нет...

— Ну, читать ужасы в книгах — это безопасно. Книги, полные медицинских происшествий, отклонений от нормы, сейчас дело обычное. Есть специальные фильмы ужасов и извращений. Это, кстати, тоже свидетельство расшатанной психики, нервных потрясений нашего времени и неуверенности в будущем...

— Да, мы слишком много говорили об ужасных вещах. Это все порождение нашего века. Мы, белые, вырастили в трудных тропических условиях целые поколения людей, которые принесли много пользы человечеству своими знаниями, своими трудами...

— Конечно, Айлен. Нам надо передать наши знания людям других рас, чтобы получить помощников в борьбе с бедствиями человечества. Те болезни, что мучают народы, изучены нами, европейцами, и мы не скрываем своих знаний ни от кого. Скажите, Айлен, совсем о другом: Алиса, конечно, уже виделась с вами и говорила о нашей поездке?

— Да, я очень благодарна ей, что она была у меня. Мы долго сидели с ней. Когда вы вернетесь, мы соберемся, и я буду целый вечер слушать ваши рассказы. Вы уезжаете ведь надолго?

— Не очень. Месяца на три. Я еще хочу поработать с нашим общим другом Оливером в его институте. Он пишет труд о некоторых тропических болезнях, как наш знаток — доктор Клифорд.

— Норман, дорогой, подождите минуту, не уходите. Я хотела бы сделать один подарок нашей милой Алисе...

Она поднесла доктору маленький голубой футляр. Рас-

крыв его, он с минуту смотрел на то, что было в футляре, и на Айлен. На бархатной подушечке лежал драгоценный камень, и его удивительный блеск освещал футляр, как будто по нему пробегал солнечный луч. Камень был сильной, ослепляющей яркости.

— Это мой любимый темно-синий сапфир, мой любимый камень,— сказала Айлен.

— Так почему вы его дарите Алисе? — воскликнул Норман Райт, не сводя глаз с чуда в коробочке.

— Ее день рождения через месяц, когда вы будете в Англии. Она моя любимая подруга. Мы прожили вместе несчетное количество лет. И мне очень хочется, чтобы она имела это как память от меня...

— Это царский подарок, Айлен. Я никак не могу прийти в себя. Ведь Алиса вернется через три месяца. Вы подарите ей сами...

— Я прошу вас вручить мой подарок не сейчас, а в Лондоне в день ее рождения. Я хочу, чтобы в этот день она вспомнила меня. А сейчас спрячьте этот сапфир. И скажите ей, что этот камень приносит счастье...

Когда они вышли на террасу, они услышали то же карканье, что было и утром и днем; может быть, оно стало чуть тише, потому что птицы прилетали теперь поодиночке и многие сидевшие с утра уже улетели. Айлен показала Норману дворик с лежащей посередине старой вороной. Он увидел ворон, ходивших вокруг нее...

Он сказал:

— Впервые вижу подобное. Это какой-то ритуал. Право, вам стоит досмотреть это до конца. За ваши наблюдения мой товарищ, орнитолог Эвередж, он живет в Мадрасе, будет вам очень признателен.

Айлен не успела как следует подремать в своей комнате, как явилась миссис Моррис. В своей миссионерской черной одежде, с сухим, шакальим выражением лица, с острыми злыми огоньками в глазах, она бесшумно вошла в дом, оглядываясь по сторонам, точно сомневаясь, туда ли она попала. Она смотрела на Айлен, как будто хотела сказать что-то очень официальное, что могло начинаться: «Именем закона!» Но сейчас же, став сладкоречивой, она повела речь об общих знакомых, рассказывала о своей поездке в Индию, к хайдарабадским сестрам во Христе, о жизни их религиозной общины,

и Айлен никак не могла понять, зачем пришла эта черная, недобрая женщина.

Излив поток льстивых похвал в адрес Айлен, она вдруг спросила самым обыкновенным голосом:

— Мы слышали, что вы хотите продать ваш дом. Вы, кажется, уезжаете к своей двоюродной сестре в Англию?

Айлен стало не по себе. Ей хотелось грубо ответить этой лицемерке, но она сдержалась.

— Моя двоюродная сестра живет в Австралии, а не в Англии, и я не собираюсь ни уезжать, ни продавать свой дом, как вы говорите...

Но мрачная женщина, пробормотав что-то про себя, уныло взглянула и сказала, как будто не слышала слов Айлен:

— Нам говорили, что вы уезжаете в метрополию, чтобы поправить свое здоровье. У меня в Мейдстоне, около Лондона, брат — хороший терапевт. Я могу дать письмо к нему...

Краска бросилась в лицо Айлен. Это уж чересчур! Но она ответила почти с благодарным поклоном:

— Мое здоровье отлично. Спасибо, я не нуждаюсь в хорошем терапевте. Я чувствую себя вообще хорошо. А какие ваши успехи,— вероятно, большие?

Черная кукла заговорила металлическим голосом:

— Наши успехи все хуже и хуже. С этими новыми временами, с этими новыми реформами туземцы не хотят поддерживать нас. Они натравливают на нас банды буддистов, индуистов, даже католиков...

— А что, они возвращаются к вере старых богов? — рассеянно слушая ее, спросила Айлен.

— Нет! — резко возразила черная женщина.— Они стали безбожниками, они стали коммунистами. Иностранцы боятся за свои жизни в случае беспорядков...

— Я боюсь, что вы преувеличиваете. Конечно, существовать сейчас не просто. Страна должна подумать, как жить в такое сложное время. Им не до философии. Надо накормить и одеть народ, надо позаботиться о завтрашнем дне!

— Пока здесь были англичане, порядок был, и никто не имел забот о завтрашнем дне. А потом, хотя они и черные, но душа у них есть. И эту душу наша обязанность приблизить к свету истины...

— Не знаю,— сказала растерянно Айлен.

— «Не знаю» — так говорят все, кто, как Пилат, умывает руки,— начала миссионерша сурово, но сразу же стала тихой

и благостной и спросила очень вежливо: — Простите, но я слышала какой-то странный слух!

— А что именно вы слышали? — настороженно спросила Айлен.

— Нет, это, конечно, просто слух. Смешно даже... о нем говорить всерьез. Я не хотела бы об этом говорить именно с вами. А с другой стороны, с глазу на глаз...

— Пожалуйста, говорите. Я, вы это знаете, прямой человек.

Гостья ехидно улыбнулась.

— Нет, я, конечно, не верю, говорят, есть такой слух, что вы хотите подарить ваш дом буддистам в пику нам, христианам?

На Айлен смотрела жестокая маска, в прорезях которой застыли хитрые глаза. Они ждали ответа. Айлен задумчиво посмотрела на нее.

— Я не собираюсь в моем доме устраивать молельню. И он не подходит под монастырь. У меня в доме нет даже будд, кроме одного, которого мне подарил один хороший человек.

Миссионерша встала, как будто ее подняла пружина.

— Не волнуйтесь, дорогая миссис Айлен Броуден,— сказала она с самой холодной вежливостью.— Я тоже так думала. И я не поверила этому слуху. Правда, ваш покойный муж,— сказала она уже на ходу,— доктор Броуден не очень-то уважал тяжелый благословенный и благородный труд миссионеров...

Уже стоя на террасе, она продолжала:

— Но его уже взял господь, справедливый и милостивый судия, взял в свои владения, и не нам судить его деяния на земле, и да простятся ему все его прегрешения.

Она уже хотела спускаться по ступенькам, но ее остановило воронье карканье. Миссионерша подбежала к краю террасы и увидела дворик и ворон, которые были и в воздухе и на земле. Ее стало трясти при виде этого зрелища.

— Вороны! Боже мой! Это же все силы чёрного колдовства окружили ваш дом! Надо освятить его немедленно! Надо дать отпор черной силе. Я сейчас прочту одну молитву, и они — эти слуги нечистой силы — исчезнут! Надо их сейчас же разогнать!

И она было начала какое-то заклинательное молитвословие, но Айлен, взяв ее под руку, повернула к выходу, твердо сказав:

— Нет, не надо их разгонять. Никакого колдовства тут нет. Мы все-таки живем в век атома и космоса. А это особенности местной природы. Конечно, в Англии этого не увидишь!

— Это настоящая нечистая сила, самая настоящая нечистая сила! — кричала миссис Моррис, спускаясь с террасы.

— Я думаю,— сказала устало Айлен,— что это чистая сила биологического процесса, одинакового как у людей, так и у животных. При чем тут бог?!

— Я не могу слышать, когда богохульствуют! — воскликнула уже у ворот миссионерша.— Хотя сейчас все люди забыли бога. Я ухожу! Но вам это особенно надо помнить. Когда человек болеет, да еще так тяжело, как вы, он должен чаще смотреть на небо и думать о том, что дни его в руках всевышнего...

— Хорошо, хорошо,— сказала Айлен,— смотрите лучше за своим здоровьем, мое вас не касается...

Черная женщина своим приходом истощила нервные силы Айлен. Ее бросало в жар и в холод. Начались боли, тягостные вестники непонятной болезни, о которой никто не знает, кроме доктора Клифорда. Было в этом неясном поединке с болью что-то угнетающее, пригибающее ее к земле. Где она могла получить эту болезнь? Может быть, в тот год, когда ливнями были разрушены древние плотины на севере и вода прорвалась, погибли деревни, скот, люди, образовались болота среди лесов, и там среди испарений, по колено в красной грязи она спасала детей и женщин и помогала устраиваться беженцам. Мириады москитов летали там, болото отравляло людей гнилостными испарениями. Много больных прошло через ее руки при эвакуации бедняков из разоренных деревень.

Она лежала в тягостном изнеможении, и, когда находил покой обморока, начинались бреды, которые мелькали, как перепутанные кадры непонятных фильмов. А когда она открывала глаза, дом становился призрачным.

То ей казалось, что все живы — и Генри Броуден, и ее брат, и Эмрис,— сидят за одним столом, и она разливает им чай, а они собираются в новую далекую экспедицию, то все это проваливалось в бездну, и сплошной грохот разноцветного базара обрушивал на нее прибой голосов, криков, воя. На стенах мелькали красные пятна, как от бетеля, который плюют во все стороны. Горы ананасов разлетались брызгами.

Какие-то медные блюдца танцевали, стоя на ребре. Весь Петтах, этот квартал торговли и нищеты, выворачивал перед ней свои внутренности. Кокосовые орехи стукались о прилавки, где были разложены шелковые и сатиновые ткани, которые водопадами всевозможных красок падали на разноцветные фрукты и зонтики. А кругом кишели люди — мужчины и женщины в одеяниях такого странного цвета и покроя, что все это казалось маскарадом, праздником Перахеры, с разряженными слонами и танцорами.

Потом вырастали подстриженные аллеи, и с детства знакомые улицы большого Лондона, и Темза с набережными, и силуэт адмирала Нельсона, и барашки, которые в честь королевы Виктории пасутся в Южном Кенсингтоне,— и все это на фоне золотых, черных, синих облаков. Голос матери, и густой смех доктора Генри Броудена, и тихий голос доктора Клифорда, говорящего почти на ухо: «Будем пока знать об этом мы двое. Но вы сильная женщина. Не показывайте только никому вида». И тут она увидела черного буйвола, стоящего по плечи в зеленом пруду. Он поедал розовые лотосы, и, когда он съел последний, набежала новая толпа видений. Картины жизни, с которой надо проститься. Но почему? Но как? «По-хорошему»,— сказал голос из мрака.

Она приподнялась на постели. Слуга, наклонив голову, сказал:

— К вам пришли, мэмсаб!

Это не видение. Это голос живого человека. Она посмотрела на часы. Какой длинный день! Да, это пришел сам Маналагара. Она сказала:

— Проведи его в столовую. Я сейчас выйду. Приготовь чай и соки.

Сама она ничего не хочет, не может есть. Она только выпила чашку бульона и съела немного мяса.

Да! Она пригласила на этот час Маналагару. И он пришел. Опять кричат эти вороны. Это тоже походит на бред. Неужели они никогда не остановятся? Будут кричать непрерывно — день за днем! С ума можно сойти!

В столовой сидел Маналагара. Это лучший друг дома, может быть лучший человек острова. Его знают далеко за пределами Цейлона. Можно подумать, послушав рассказы о нем и не видя его, что это великан, что он могуч, как Рама, и что сильнее его нет никого среди всех носящих оранжевые тоги. На самом деле это человек среднего роста в одежде буддийского монаха. У него бритая голова, широкие, улы-

бающиеся добродушно губы, легко обозначенные скулы, на лице спокойствие человека, знающего истинную цену всему.

Он бережно положил коричневый портфель на стул. Движения его неторопливы. Он носит большие круглые очки в простой оправе. За очками такие глаза, что, поздоровавшись с ним, оправившись от сонного бреда, Айлен сказала ему так естественно, как говорят человеку, которому открыто сердце:

— Знаете, какие у вас глаза? Вы смотрите так, как будто хотите сказать какую-то правду, которую сказать еще не пришел час, но вы ее скажете. Да?

Лицо его как будто слеплено из красноватой земли этого острова. Он улыбается такой светлой улыбкой!

— Может быть! Возможно!

— Вы счастливый человек: вы верите! — сказала Айлен.

Глаза его заискрились.

— Я раздумываю, я рассуждаю... Есть вечные истины, и есть вечный их искатель — человек, которому дано пройти по пути истины всего несколько шагов, иногда в темноте...

— А я,— сказала она, запнувшись,— я не верю ни в какое высшее божество, ни в какую силу свыше...

Маналагара давно привык к ее иногда вызывающему на спор тону, но он обладал даром доброй беседы. Он только спросил:

— Вы искали, но как вы искали и что вы нашли?

Она тяжело вздохнула. Нет, болей не было. Она могла говорить не корчась и не притворяясь здоровой. Она сейчас здорова.

— Что моя жизнь? — сказала она.— Что я искала? Когда я была девушкой, в Англии, я жила просто, весело, беспечно, не думала ни о каких народах и странах. Я не знала ничего об обществе, в котором жила. Не имела понятия об ответственности. Ничего я не знала. Я жила на простой, понятной земле. Как это было хорошо! Почему я не осталась в Англии навсегда! У меня была бы другая жизнь, другие впечатления, другие воспоминания. Но что об этом? Я встретила Генри, отчаянного, смелого, стремящегося. Я пошла за ним. Я покинула Лондон, я первые полгода провела беззаботно и вдруг сразу поняла, что у меня нет ничего за душой, что я ничего не достигла, что я бесполезный для общества человек, что я не могу помогать мужу, потому что ничего не знаю о странах, куда мы приехали с мужем жить и работать.

Я стояла как перед каменной стеной, с которой на меня смотрели не то демоны, не то боги, не то маски непонятных мне существ. И пошел этот Восток годами вбирать меня в свою странную, нелепую, удивительную жизнь. Я увидела насилие, неравенство, ужас бессилия, безвыходность жизни, такую нищету, такое народное бедствие, что невольно стала спрашивать, что за мир вокруг меня. Почему все нищие и голодные?

Это был необъяснимо жестокий мир, и, если бы Генри не объяснил мне многого, я сошла бы с ума. Но с годами я стала понимать, что случилось здесь с людьми, со странами, со временем и со мной.

Когда я читала историю покорения европейцами этих стран, мне казалось, что мы только и занимались грабежами и убийствами. Вот говорят, что мы убили всех ткачей Бенгалии и на их костях достигли процветания нашей промышленности. А как мы усмиряли народные восстания, как мы задерживали культурное развитие порабощенных народов, как мы заставляли миллионы людей умирать с голоду!

Я потеряла мужа, сына, брата в этих странах. Я думала, что это — просто возмездие мне, но тут же впадала в горькое раздумье: возмездие мне — за что? Муж спасал простых людей от страшных болезней; мой сын, юный, сильный, не испытавший радостей жизни, защищал Индию от японских самураев, завоевателей, несших новое иго, может быть тяжелей английского; брат мой, полный лучших надежд, как-то хотел помочь туземцам и был осмеян. Кому нужно благоустраивать жизнь каких-то дикарей Саравака? Его загнали в безвыходность, в отчаяние, в смерть! Мне объясняли умные люди, называвшие себя патриотами, что все это нужно для величия Англии, для истории человечества. Я заблудилась в этом мире и начинаю верить, что история — самая жестокая богиня, поглощающая бесконечное количество жертв и всегда алчущая их, всегда требующая угнетения и насилия, и все это бесконечно. Что вы скажете мне, дорогой друг Маналагара?

Он сидел не шевелясь, углубившись в себя. Можно было подумать, что все, что здесь говорилось, не доходит до его слуха, до его понимания. Но после минуты молчания он заговорил, лицо его точно осветилось изнутри, глаза расширились, губы уже не улыбались.

— Я уроженец этого острова, и я священник-буддист, который был свидетелем многих печальных событий в жиз-

ни Цейлона. Я учился в молодости в Индии. И там я понял, что надо свергать иго англичан. Сначала мне показалось, что политика непротивления, ненасилия — это правильный путь. Но скоро я убедился, что она требует все равно жертв и не дает ничего народу. Я перешел к тем, кто занимался террором, кто нападал открыто и убивал представителей власти, где только удавалось. Я лично не убивал, но сочувствовал этим людям, с оружием идущим на врага. Но это тоже не привело к победе. Меня сажали в тюрьму и в Индии и на Цейлоне.

Я за многие годы научился отличать настоящих борцов от простых говорунов, видел бесстрашие и честность коммунистов, видел людей многих партий, но мое сердце стало понимать, что только когда весь народ поднимается, как волна, он сметает угнетателей. Так и случилось.

Мы получили политическую самостоятельность, но сейчас этого мало. Империалистический мир стоит против мира миролюбивых народов и думает, как бы вернуть потерянное. Этот мир создал атомную опасность. Он стал угрожать жизни всех народов на земле.

Те иностранцы, которые потеряли власть над бывшими колониями и желают возврата времен насилия, они не должны вернуться в наши страны. Хорошие люди есть у всех народов. Ваш муж был таким. Он шел всегда помогать больным и беднякам. Он согласился сразу ехать со мной и другими на остров Рождества, когда там вставали смертельные столбы атомных взрывов, ехать, чтобы воспрепятствовать новым ядерным испытаниям.

И мы благодарны всем, кто бескорыстно помогает жить освободившимся народам, помогает найти сокровища, скрытые в сердцах людей и в недрах их земли. Мне жалко злых, потому что их злоба породит их гибель...

— Но бывают в жизни такие положения, когда трудно делать добро,— сказала, сжав руки, Айлен.

— Какие?

— Если человек, к примеру, заболел в чужой, тропической стране неизлечимой болезнью, смертельной, его болезнь неизвестна и, может быть, представляет опасность для окружающих. Как должен такой человек вести себя!?

— И у медицины нет средств спасти его?

— Допустим, нет...

— Он должен вести себя так же, как вел до болезни. Он не должен подчиняться ей, не должен ожесточаться,

меняться к худшему. Он должен оставаться самим собой до конца. И приносить людям добро до конца!

— Преодолев боль силой воли?

— Боль можно всегда преодолеть, если подчинишь ее себе всем напряжением своего существа...

— Скажите мне: правда ли, что мой муж доктор Генри Броуден, когда решил отправиться с вами на остров Рождества, он знал, что это почти наверняка может кончиться смертью?

— Да, знал!

— Как и вы?

— Как и я! Мы оба знали, и наши друзья, что были с нами, шли на это, чтобы люди узнали о нашей смерти ради своего же будущего. Мы своей гибелью предупреждали о том, что надо остановить преступную руку, готовую задушить человечество.

— Тогда скажите мне, что такое смерть?

Ни одна жилка не шевельнулась на сосредоточенном лице Маналагары.

— Я лучше скажу вам, сестра, что такое жизнь, потому что смерть — только переход из одной формы жизни в другую, скрытую за темным занавесом. А жизнь, как говорит моя вера,— это непрерывный поток последовательных состояний, связанных законом причинности. Это — одно мгновение вечности. Посмотрите на мою оранжевую одежду, ту, что на мне. Она сделана, скроена, выкрашена и сшита в один день. Хлопок собрали рано утром, и в тот же день до заката солнца была соткана материя и стала одеждой. Так есть утро, день и есть вечер жизни, а ночь — это уже новый хлопок, новая одежда, новый момент, то, что называется вами душой, а на самом деле непрерывный поток сознания переходит из одного тела в другое. Вы живете иллюзией о существовании постоянной души, и это является причиной вашей привязанности к миру страданий.

Поэтому вы и не в силах побороть страдание и освободиться от него. Любите не страдание — любите жизнь, неиссякаемую, торжествующую, необозримую.

Вы прожили счастливо свои годы, потому что все ваше существо дышало и дышит добротой. Вы прошли все круги положенного: вы были юной, были девушкой, были женой, матерью, в вечер жизни вы окружены друзьями и любовью добрых людей.

Один мой ученый и мудрый друг, его труды известны

во всем мире, однажды сказал так: «Смысл жизни не в том, чтобы усложнять ее, а в том, чтобы уметь быть счастливым и делать других счастливыми. Для этого не нужно ни телевидения, ни радио, ни многих других достижений цивилизации. Не они дают счастье. Радость дают самые простые вещи. И нужно уметь находить время, чтобы спокойно сесть и размышлять».

Сегодня у нас у всех одна задача — спасти человечество от гибели. В мире сейчас слишком много ненависти. В мире душно от ненависти. Она все растет, и к ней прямо призывают. Человечеству нелегко нести свою жизненную ношу. Только общими усилиями можно облегчить ее. Соединим же их! — он замолчал.

— Вы замечательный человек, дорогой друг Маналагара, мне с вами так хорошо, что я могла бы, не считая часов, слушать вас. Теперь я лучше понимаю многие вещи. В награду за вашу доброту я хочу сделать вам подарок... Я подарю вам весь этот дом, со всем имуществом...

Маналагара встал и слегка склонил голову.

— Благодарю вас, сестра, но я, как монах, не должен иметь никакого имущества.

— Я знаю, что вы не можете принять сами этот подарок. Я решила, когда я переменю, как вы говорите, место обитания души, отдать этот дом сиротам, которых вы отберете. Я оставлю деньги, чтобы этот приют был школой, где бы их учили ремеслам. А чтобы все было по закону, этим в свое время займется один достойный человек, которому можно верить. Вы его знаете, это доктор Клифорд.

— Вы хотите сделать доброе дело, но я думаю, что вы слишком рано говорите о нем. Вы здоровы и полны жизни.

— О да, я всегда здорова и всегда жизнерадостна, как говорят мои друзья. Но бывает в жизни всякое, а я одинока, как моя магнолия...

Потом они стояли на террасе. Вороний крик, не такой уже горластый, но все же шумный и тоскливый, висел в воздухе.

— Вы всё знаете,— сказала Айлен.— Что такое происходит здесь с утра? — И она рассказала о вороньих прилетах, которые длятся весь день...

Они прошли на конец террасы. Ворона все так же лежала посреди дворика, как она лежала и рано утром. Но

птиц вокруг стало заметно меньше. Одни, видно прилетевшие позже всех, стояли полукругом около лежавшей или прохаживались перед ней. Вороны, сидевшие на ветвях, перекликались с теми, что сидели поодаль, на стенке маленького пустого водоема и под стеной сарайчика.

Маналагара не выражал никакого удивления. Он спокойно смотрел на них, потом сказал:

— Вы знаете, что у животных нет рабства, как у людей. Им неизвестен колониализм. Они не воюют из-за наживы. Я видел, как слоны хоронят своих мертвецов. Это — поучительное зрелище. Оставьте их! Мы никогда не вмешиваемся в их жизнь. Эта ворона, вероятно, была хорошей птицей, иначе к ней не прилетали бы со всех сторон ее сородичи и друзья, со всего города, как вы говорите, чтобы отдать ей последнюю почесть. Она выбрала ваш дом. Это добрый знак — высокого доверия. Мы любим животных и птиц и бережем их. Европейцам всегда было всё всё равно. Они походя истребляют все живое. Хотя не всё и не все. Доктор Генри, ваш муж, был добрым и смелым. Он спас много жизней, и он не смотрел, желтые они или черные, христиане или буддисты.

Некоторые вороны посмотрели в его сторону, точно поняли, что речь идет о них.

Маналагара издали благословил их, как благословлял деревья в своем монастыре и людей, работающих в поле.

— Животные,— продолжал он,— не знают человеческой развращенности и жажды убийства ради убийства, из ненависти и жадности. Они питаются только тем, что нужно их организму, не истребляя из любопытства или из кровожадности, и никогда не убивают, чтобы любоваться мучением своей жертвы. Они прекрасно знают, какие листья, цветы, плоды, травы им полезны, какие нет, они знают, чем лечиться от ран, от болезней, от старости. Они знают, как найти целебные источники. А главное, они не угрожают миру и будущему человечества. Оставьте их в покое!

И он еще раз сказал им какие-то уже непонятные, на священном языке пали, слова, которые прозвучали как прощальное приветствие. После этого он попрощался с хозяйкой и пошел своим неторопливым шагом, и его оранжевая тога, открывая голое, блестящее правое плечо, светилась живым огнем. Было совсем не смешно, что этот похожий на древнего отшельника человек нес в правой руке большой коричневый портфель.

После легкого, быстрого, светлого ливня как раз к пятичасовому чаю приехал Дональд Геймс. Всякий раз, как он приезжал в Коломбо из своей высокогорной Нувара Элии, он обязательно навещал дом Броуденов. Первое знакомство произошло очень давно, и с этого первого знакомства Айлен почувствовала, что Дональд Геймс следит за каждым ее движением, смотрит на нее какими-то удивленными глазами, хочет привлечь к себе ее внимание.

Одним словом, с течением времени ей стало ясно, что для старого холостяка, каким был Дональд Геймс, она представляет предмет некоего неясного обожания. Но, несмотря на всю внешнюю сторону такого положения, когда Дональд ничем, никогда не нарушил семейного порядка дома Броуденов, всегда подчеркивал свое уважение к доктору Броудену и свое преклонение перед Айлен Броуден, он не снискал их любви и особой дружеской симпатии, которая могла бы родиться за долгие годы знакомства. Это имело свое объяснение. В доме Броуденов любили людей большого, самозабвенного труда, а такие баловни природы, как Дональд Геймс, здесь не пользовались уважением, и к ним относились довольно иронически.

Он был далеко уже не молод, но у него был свежий вид человека, проводящего много времени на воздухе в хорошем климате и не обремененного никакими мучительными заботами. Чайные плантации, которые достались ему в наследство от дяди, управлялись специалистом, взявшим на себя всю ответственность. Когда-то Дональд Геймс учился всяким наукам и в Англии и даже немного времени в Соединенных Штатах, но по приезде в дом дяди на Цейлон, поддавшись чарам восхитительной природы Нувара Элии, чей прохладный климат так непохож на знойный ад Коломбо, он зажил, как он говорил, сытой провинциальной жизнью, ленивой и медлительной, и единственное, что соеди́няло его с цивилизованным миром,— это то, что он рассеянно следил за разными философскими европейскими и американскими журналами и фантазировал немало в этом направлении.

Он терпеть не мог никаких разговоров о революциях, переворотах, народных движениях. Его пугала самая мысль, что ему придется обратиться в бегство от восставшего народа, расстаться с таким привычным образом жизни, очутиться как в лодке посреди бушующего океана.

Дональд Геймс был распространенный тип маленького колонизатора, спрятавшегося за спины тех властных и шум-

ных деспотов, которые расправлялись с народом кнутом и пулей. Мало кто знал, что тихий философ — большой любитель выпить.

В европейских кругах Коломбо к нему относились равнодушно. С особым чувством приходил он в дом доктора Броудена. Туда его влекло удивительное, непонятное ему явление, которое звалось Айлен Броуден. Ему трудно было бы объяснить самому себе, что́ в ней ему нравилось. Когда-то она казалась ему женщиной, вышедшей из картины и опять уходившей в картину. То он воображал ее героиней какого-то виденного фильма, то она становилась видением его любовных фантазий, особенно после хорошей выпивки с чайными феодалами Нувара Элии. Бывая в Коломбо, он привык вести с ней бесконечные беседы, рассказывал ей свои философские сны, любил, когда она смеялась, слушая его, и глаза у нее становились веселыми.

После смерти доктора Генри он приезжал утешать ее, но слова утешения были какие-то бесцветные, и он прекратил это бессмысленное занятие. Сегодня он приехал очень надменный, подчеркнуто строго одетый, с видом человека, решившего сделать большой шаг в своей жизни.

Айлен поила его чаем, но неожиданно для него принесла виски и сказала:

— Это шотландское «Кинг Джордж Четвертый». Очень хорошее, попробуйте...

И даже налила рюмку себе. Они выпили, и все стало как-то проще. Айлен сидела против него, возбужденная, порозовевшая от виски, в новом белом костюме с короткими рукавами.

— Вы сегодня чем-то взволнованы, и вам это идет,— сказал он и попросил разрешения курить.— Я давно заметил, что, когда вы взволнованы, вы становитесь еще красивее...

— Я слышу это уже не первый раз,— сказала она с некоторым лукавством.

— Да, мы с вами знакомы целую бесконечность. И за это время не было для меня большей радости, чем видеть вас и говорить с вами...

— Милый Дональд, это тоже я уже слышала. Последний раз в прошлом году на дне моего рождения...

— Ничего не поделаешь, Айлен. Вы сегодня в хорошем настроении. Я вас давно не видел такой. Вы меня радуете...

— Ах, я всегда, как вы знаете, стараюсь не докучать

людям скукой. Все так заняты, так загружены работой, такими большими заботами, у всех жены, дети, дела. Надо их понимать и бодрить их. А потом, надо самой быть доброй и внимательной. Это всегда было моим правилом в жизни, и вам, по-моему, мое поведение нравилось. Не правда ли?

Дональд Геймс в душе побаивался Айлен. Кто знает, что там у нее, на самом дне ее сказочного колодца? Она может сделать такое, что вся ее доброта исчезнет в один миг и неизвестно какой дракон бросится на Дональда в самый неожиданный момент.

— Вас иногда называют в обществе,— сказал он,— «эта смешная миссис Броуден» или «эта странная миссис Броуден». А иные — «эта фантастическая миссис Броуден. Она не устает нас удивлять». А я бы сказал: «эта прелестная миссис Броуден». Но почему вы вдруг стали серьезной, очень серьезной?

— Но и вы сегодня очень чем-то озабочены. Что-нибудь случилось? Как ваша жизнь отшельника? Вы что-то давно не были в Коломбо?

— Последнее время приходится возиться с чайными плантациями, самому заниматься этим. Там не все благополучно. Есть участки, зараженные какими-то паразитами, борьба с которыми трудна. Помните, как было с кофе...

— Я не помню, как было с кофе.— Она покачала головой, и ее пышные каштановые волосы засверкали в солнечных лучах.

— В один ужасный для всех хозяйств острова день выяснилось, что все кофейные плантации захвачены ржавчинным грибком и безвозвратно погибли. С тех пор кофе исчез из экономики Цейлона и заменился чаем. Но на чай, по крайней мере на мой чай, напали враги. Я уже связался со специалистами, и они обещали помочь в беде, изжить паразитов. Эти враждебные личинки все-таки влияют на мое настроение, потому что мои чайные плантации — мой капитал, добытый большим трудом моей семьи. Но это скучная история. У меня есть кое-что повеселее...

День приближался к концу. Айлен боялась одного. Если боли появятся сейчас, она встанет, и уйдет, и бросит этого уже хмельного гостя на произвол судьбы. Но от виски, кажется, становится легче. Она пила его маленькими глотками и чувствовала, что от выпитого как-то светлеет голова, становится легче дышать, приходит легкость речи и можно даже смеяться. Но, взглянув на Дональда, она заме-

тила, что Дональд пьет виски, почти не разбавляя содовой. Его загорелое лицо стало кирпичным, и он удивительно напоминал чем-то портрет португальского диктатора Салазара, когда тот был помоложе. Этот портрет она видела в старом иллюстрированном журнале. Этому сходству можно было посмеяться, но смеяться было нельзя.

— У вас есть кое-что повеселее... Я буду рада услышать что-нибудь радостное, что касается вас...

Дональд поднял руку, как дирижер, призывающий оркестр к вниманию.

— Не только меня! Как вы себя чувствуете?

Она засмеялась: ну конечно, он похож на Салазара средних лет, но она этого не сказала. Она сказала:

— К счастью, у меня нет таких личинок, которые портят жизнь...

И вдруг он спросил нахмурившись:

— Вы были у Клифорда?

Айлен ни на мгновение не задержала ответ.

— Я пойду к нему завтра,— сказала почти небрежно, точно речь шла о прогулке в магазин на Прайнс-стрит.

Дональд как-то странно заерзал на стуле.

— Дорогая, зачем вы меня обманываете? Вы были у него вчера.

— Вы так следите за мной? Ну, хорошо, я была у него вчера. Он пригласил меня на чай.

— И что он сказал вам?

Смотрите, какой любопытный этот Салазар средних лет.

— Видите, Дональд, я могла бы не отвечать на этот вопрос, но вам по старой дружбе отвечу. Пусть это будет между нами. Клифорд сказал, что я просто мнительна и волнуюсь по пустякам. Это — возрастное. И волноваться не следует. Нервы должны быть спокойными у человека моих лет. Вот видите, и в наказание за любопытство я вам налью еще «Кинга Джорджа Четвертого»...

Они выпили дружно, как молодые студенты.

— Ничего со мной не происходит. Происходит со всем миром, ну, и с каждым, кто в этом мире живет. Я все поняла: мы не принадлежим себе. Вы любите философию и дайте мне немного пофилософствовать... Мы не принадлежим себе. Мы принадлежим истории, государству, и оно с нами делает что хочет, то, что ему нужно и полезно. Это называется, Дональд, прогрессом; правда, кого только я ни

спрашивала, никто не мог мне объяснить, что такое прогресс и почему от него одним хорошо, а другим худо...

Дональд широко развел руками.

— То, что вы сказали о Клифорде, меня устраивает. То, что вы сказали о прогрессе,— это верно и неверно. По Флюллингу, близится век космополитизма, и все достижения, все открытия будут наднациональны. И человек не будет принадлежать какому-то одному государству. Он будет гражданином мира. Но по Расселу, личность, созданная общественными условиями, сама изменяет эти условия. Для Англии это будет сделано только англичанами, а не какими-то там пришельцами-иностранцами. Ясно одно, что мы с вами живем среди вихреобразных систем, теорий и событий, в жестоком мире, желающем тщетно скрыть свою жестокость, и в такие времена, как наши, никто не позаботится о нас с вами, если мы сами не позаботимся о себе...

— А это возможно? — спросила Айлен, прислушиваясь к затихающему вороньему карканью. Оно становилось все тише, как будто птицы устали кричать.

— Возможно! И я хочу вам сказать, что пришла пора, когда вы должны выслушать меня самым серьезным образом! Это смелый, я бы сказал, дерзкий шаг с моей стороны, может быть, и я для храбрости налью себе еще этого доброго напитка. А вы?

— Я с удовольствием сегодня пью с вами. Такой тихий, спокойный, дружеский вечер. Такой добрый «Кинг Джордж Четвертый»! Так все ясно...

Дональд выпил свое виски и посмотрел на нее, чуть сбитый с толку.

— Ясно! Что ясно? Вам все ясно?

— Конечно, а вам нет?

— Что же вам ясно?

— Но я всегда чуть опережаю вас, Дональд. Ясно, что вы сейчас скажете, что вы давно до бесчувствия в меня влюблены и что теперь самое время нам быть вместе... Правда, вы это скажете? Ну скажите, я жду!

— Да, это так.— Он отер пот с лица и поправил галстук.— Как хорошо, что вы почувствовали это так же, как я. Значит, нам не надо даже погружаться в воспоминания...

— Не надо, это лишнее,— сказала Айлен,— тем более что они не такие, какие могли бы нам пригодиться сейчас!

В его голосе послышалось подобие волнения:

— Вы помните, как после смерти доктора Генри Броу-

дена я просил вас не чувствовать себя одинокой. И помнить, что около вас друг, друг, который всегда будет рядом. Я знаю, что такое одиночество. Оно терзает меня уже много лет. И теперь оно терзает вас. Согласитесь! Что сказал доктор Клифорд: это — возрастное, и волноваться не следует! Согласитесь, что это так!

— Соглашаюсь,— бодро сказала она,— соглашаюсь: я одинока, но рядом старый, верный друг...

— Конечно, Айлен! Я сейчас открою вам свои планы. Они будут нашими планами. У меня есть брат, он моложе меня, но он большой бизнесмен. Мы с ним очень дружны. У него в Бугенвиле на Соломоновых островах хорошее современное хозяйство. Там прелестно. Я приведу в порядок при помощи специалистов свои чайные плантации, продам их, продам старый дом, и мы уедем в совершенно другую страну. Там вечерами — сказка! Я там был несколько раз. Над нами будут колонны старых, огромных кокосовых пальм. Солнце зажжет океан. И мы, как первые люди, в тени кокосовых пальм будем лежать на песке, купаться в воде, где нет ни акул, ни морских ежей... Вы улыбаетесь?

— Я улыбаюсь потому, что я поеду от одних кокосовых пальм к другим кокосовым пальмам. Я шучу! Я понимаю: те пальмы — другие. Нам будет, конечно, хорошо. Только вот как с первыми людьми на песке? Из нас не очень-то выйдут Адам и Ева. Вы забыли свои и мои годы!

— Айлен, при чем тут годы? Вы не должны оставаться одной. Мы продадим и ваш дом...

— Мой дом? Кому? Найдется на него покупатель?

— Я уже нашел. Миссионеры готовы купить его в первую очередь. Миссис Моррис. Я ее встретил вчера, и она сказала, что будет говорить с вами...

— Она была у меня сегодня!

— По этому вопросу?

— Да!

— И что же вы ей ответили?

— Я сказала, что подумаю...

— О Айлен, милая, вы опережали всегда мои мысли. Нам так будет хорошо на райском острове Бугенвиле.

— Наш остров здесь тоже зовут райским, и у него огромные кокосовые пальмы, и тоже есть места, где можно купаться, не опасаясь акул и морских ежей, и есть плантации — мы с вами знаем его достаточно.

Дональд замахал руками, как на футбольном матче, когда мяч у ворот и болельщики готовы на все.

— Нет-нет, там совсем другое. О, как хорошо, что вы согласны ехать со мной туда, где нас не знает никто и никакое прошлое не будет нам препятствием. Я чувствую, что я начинаю новую жизнь, вернее, без вас у меня не было бы жизни. Теперь дайте я выпью еще стаканчик за нашу жизнь в Бугенвиле. Как приятно пить с вами! Мы кутим у себя в Нувара Элии, иногда я целую ночь пью один и философствую. Но пить одному мрачно, скучно. Я все сделаю, чтобы поскорее приступить к ликвидации плантаций и наших домов... Айлен, неужели я слышу это своими ушами, что вы согласны?..

— Вы, кажется, сказали, Дональд, что вы поедете сначала к брату в Бугенвиль?

Он пошатнулся, и вдруг она увидела, что он пьян, сильно пьян. Его щеки стали малиновыми. Его глаза потускнели. Он твердил одни и те же слова, растягивая их, не договаривая. Иногда к нему возвращалась четкость речи, и он чувствовал себя оратором перед массовой аудиторией.

— Конечно, я поеду, да, я поеду сначала один, я должен присмотреть вкусный участок с домом, все приготовить для переезда. Чтобы и плантация была в порядке и чтобы подыскали хорошего покупателя...

— А сколько же это все займет времени?

— Я думаю, что для этого хватит, да, хватит, и в Бугенвиле и в Нувара Элии, три месяца, да, не больше трех...

— Три месяца, хорошо! А скажите, только честно, Дональд, вы, если бы не было на свете меня, все равно перебрались бы в Бугенвиль или нет?

Дональд погрозил пальцем, нахмурился, потом, к удивлению Айлен, подмигнул ей, прежде чем заговорить.

— Я скажу честно! К счастью, это совпало. Прежде чем заговорить, я открою одну тайну — между нами. Один верный человек сказал мне, чтобы я быстрей ликвидировал свои чайные плантации, потому что там такая эрозия, вы знаете, что значит такая эрозия почвы, что ее никак не поправишь, кусты постарели, выродились, никуда не годятся. Этот проклятый управляющий, я его выгоню, отхлещу стеком, он работал, как хищник, он обескровил все плантации, а там еще болезнь, которую можно задержать только на время, и надо продавать, пока все не погибло. И надо бежать, бежать подальше. Когда откроется, что я продал плантации не в том

виде, лучше быть в другой чудесной стране. Это замечательно, что вы согласились. Это — совпадение жребиев судьбы. Что нам до жестокого мира? Там, в Бугенвиле, мы будем далеки от всех треволнений и угроз. Я все сказал честно...

Айлен поднялась со стула и стояла, испытующе смотря на потевшего от возбуждения, тяжелоплечего, большого, пьяного мужчину, который раскрывал перед ней райские картины будущего. Веселым голосом она провозгласила:

— Старый, честный Дональд, благодарю вас от всего сердца за вашу откровенность. Теперь я вижу, какой вы верный друг и предусмотрительный человек. Я, кажется, пьяна, простите меня. Я никогда не пила столько, тем более «Кинга Джорджа Четвертого». Я пьяна и от шотландского виски и от неожиданности, которую вы принесли...

Он тоже вскочил, вытирая лицо салфеткой.

— Мы едем, Айлен!

— Мы едем, Дональд, через три месяца мы едем!

— Да,— сказал он, дрожащими руками доставая сигарету и раскуривая,— да, к сожалению, дорогая, раньше это не удастся, но мы ждали годы. Я годами, скажу теперь не таясь, завидовал, честно скажу, счастью Генри, я искренне удручен его смертью. Сколько в этих краях еще опасностей для жизни белого человека! Я сам чуть не заразился какой-то лихорадкой, но меня вовремя вылечили. А теперь пусть завидуют мне. Какое счастье, Айлен!..

— Когда вы уезжаете в Бугенвиль?

— Я кончу за этот месяц все расчеты с Нувара Элией и через месяц выезжаю в Бугенвиль, а оттуда я явлюсь — никто не будет знать об этом, никто. Это будет сюрприз для наших друзей и для нас самих...

— Прекрасно! Через три месяца мы отправляемся в страну неведомого!

— Да, мы уедем в такие места! Здесь больше жить нельзя. Тут меняется все: условия жизни, люди, наступает хаос, как во всех этих сбросивших, как они говорят, иго колонизаторов государствах, где нас еще вспомнят и позовут на помощь, но будет уже поздно...

Он говорил неожиданно трезвым голосом:

— Нас, белых, осталось тут несколько тысяч — пустяки. Правда, они делают большие дела. Мне, знаете, тоже предложили включиться в графитную спекуляцию. Графит сейчас очень нужен. Он требуется в атомной промышленности, он нужен для хранения атомных и водородных бомб. А здесь,

на Цейлоне, его добывают до десяти тысяч тонн. Но мне осточертели эти дикари, и даже большими деньгами меня не соблазнишь. Я твердо решил расстаться с Цейлоном. Тут нельзя ждать ничего хорошего для делового белого человека...

— Видно, для такого философа, как вы, выхода нет,— сказала Айлен, иронически улыбнувшись.— Я вижу, что вам действительно надо оставить этот остров. Он вас раздражает и таит многие угрозы. Не будем говорить об этом. Вы совсем становитесь другим, когда говорите о Цейлоне.

Дональд Геймс сделал несколько шагов к выходу. Он чувствовал, что он сильно пьян, но что-то очень важное совершилось сегодня в этой комнате в этот вечер. Какой-то туман мешал ему до конца понимать происходившее.

А может, эта женщина все-таки выпустила своего дракона со дна колодца, и все еще неизвестно.

Прилив смешанных чувств качал его, и он, уже выходя на террасу, остановился и сказал от всей, как ему казалось, глубины сердца:

— Простите, Айлен, старый друг, дорогая, но эти голые туземцы — неблагодарные скоты и невежественные дикари, грязные и больные. Их напрасно лечил Генри. Их не вылечишь. Посмотрим, как они обойдутся без нас. Посмотрим! В Бугенвиле,— он помахал шляпой в воздухе, точно уже подплывал к Бугенвилю и приветствовал своего брата,— в Бугенвиле еще крепкие порядки, и там можно жить. Мой брат — сильный человек. И я — сильный человек,— добавил он и вдруг, изменив тон, сказал, наклоняясь к Айлен: — Я исчезаю! Я исчезаю на три месяца. А через три месяца — в Бугенвиле!

— Конечно,— сказала усталая Айлен,— в саду райского острова, под огромными кокосовыми пальмами!

Он сделал слабую попытку обнять ее, но это ему не удалось. Он ушел в золотистую туманность вечера, шатаясь, разговаривая сам с собой и обмахиваясь большой серой шляпой.

Айлен стояла одна, прислушиваясь к тишине вечера. Она стояла и смотрела на золотистый занавес неба, сотканный из неисчислимых светящихся нитей, струившихся на землю. Черные вырезные ветви пальм, как черные птицы с узкими крыльями, засыпающие после долгого дня, сливались с чернотой листвы. Где-то в море уходил гигантский раскаленный шар, и, по мере того как он опускался в волны, красно-золотистый занавес темнел и становился сиреневым, и по

небу, как фламинго, проходили высокие розовые облака, а потом хлынула легкая синяя мгла, и на ней как будто начали, зазвенев, тихо двигаться звезды, и одна из них напоминала тот сияющий темно-синий сапфир, который она подарила сегодня доктору Райту.

В густой синеве вверху и внизу замелькали несчетные искры сверкающих светляков. Теперь ее окружала тихая ночь. Она задержалась на террасе, медленно прошла до того угла, с какого виден был дворик. Ей захотелось засмеяться, но на глазах выступили слезы.

— Счастливая, всегда веселая Айлен. Ты действительно уедешь в райские края раньше, чем через три месяца. Это правда! Доктор Клифорд сказал мне под страшной тайной. Он сказал: «Вам осталось жить не больше двух месяцев. У вас неизлечимая болезнь. В последний месяц она валит человека с ног. И больше не отпускает. Вас ничто не может спасти. Вы можете быть в последний период опасны для окружающих. Никто не должен знать об этом, потому что иначе я вас должен изолировать. Оставайтесь на свободе. Я прослежу, чтоб вас не беспокоили. Простите меня, я сделал все, что мог. Но это из тех болезней, которые не одолел и доктор Броуден. У вас в распоряжении еще три недели... а дальше...» Вот что сказал доктор Клифорд только вчера, бедная Айлен!

Взошла луна, окруженная дымчатыми вуалями облаков в голубовато-зеленом нежном небе. Айлен стояла у края террасы. Перед ней на пустом дворике лежала мертвая ворона. При свете звезд и луны она была сказочно красива. Она отливала черным и серым шелком. Айлен стояла и смотрела на нее не отрываясь. Неслышно подошел ночной сторож со своей облезлой собакой. Айлен сказала ему сквозь слезы, указывая на ворону:

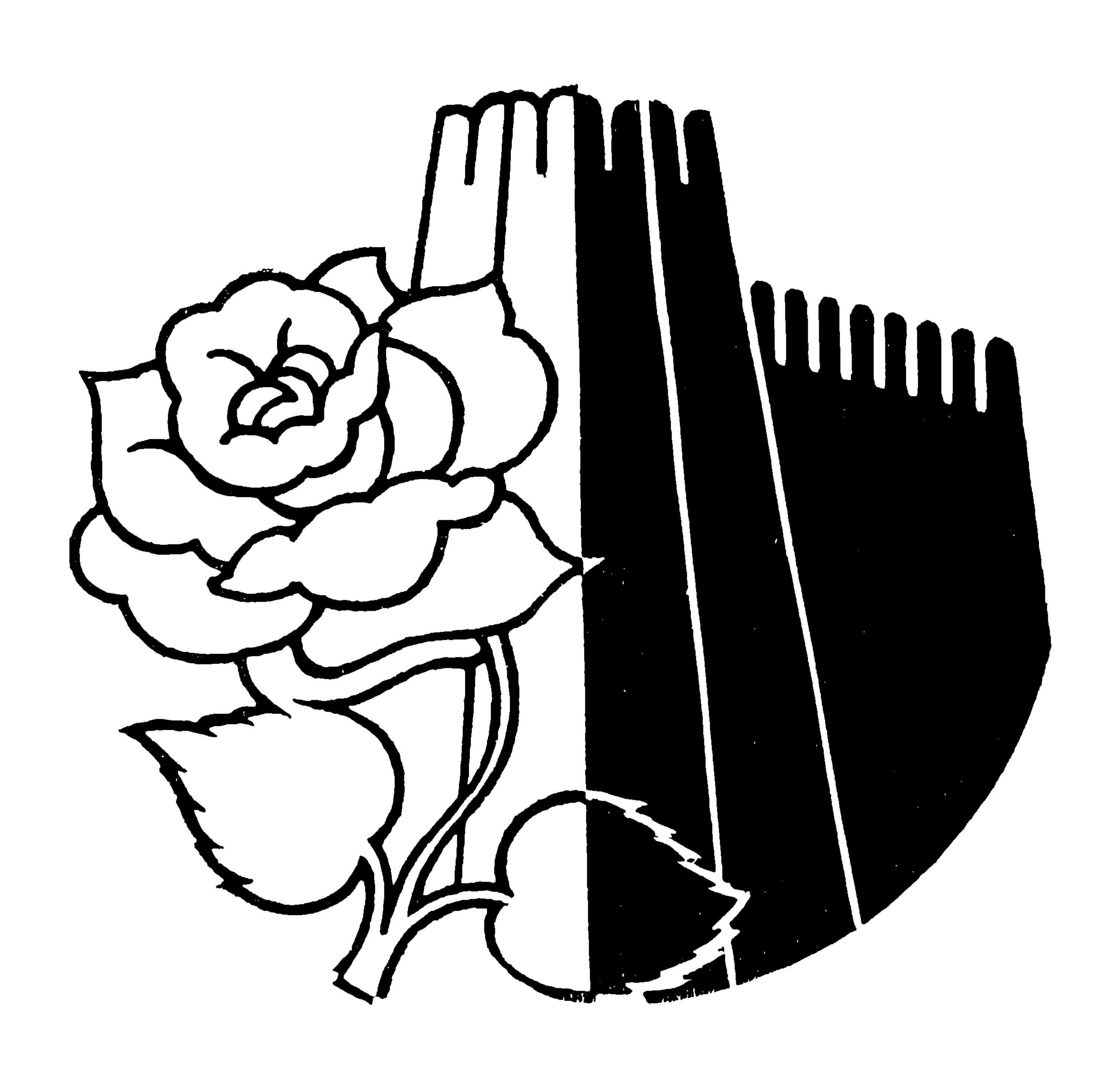
— Это я, старая, добрая ворона, а может, и не такая добрая!

Старик не понял ее. Он пробормотал что-то собаке и спросил, отступив на два шага:

— Можно ее убрать? Солнце село! Все птицы улетели!

Айлен вздрогнула, но сейчас же сказала:

— Конечно, но ты закопай ее под магнолией. Раз она выбрала это место, пусть там и будет!



В августе 1891 года небольшой отряд полковника Михаила Ефремовича Ионова, преодолев снежные выси Гиндукуша, перевал, названный впоследствии именем Ионова, выдержав тяжелый буран, прошел по неизведанным горным дебрям и, выйдя через Барогиль, спустился в долину Вахан-Дарьи.

Позади были холод, головоломные тропы, голодные дни, когда жили на одних сухарях, и неизвестно было, чем кончится эта весьма рискованная попытка отыскать путь с севера в долину Инда.

Тропа в пустынном ущелье выводила в тыл маленькой крепостицы Сархад. Полковник отдал приказ быть наготове и выслал вперед двух казаков, которые, пригнув головы к жестким гривам своих малорослых, но выносливых коней, чуть петляя, начали приближаться к укреплению.

Рассказ

Полковник поднял бинокль и увидел, что на дороге стоит человек, который тоже в бинокль рассматривает скачущий отряд. Ионов усмехнулся и перевел коня на рысь.

Дозорные казаки уже поравнялись со стоявшим и, придержав коней, пристально рассматривали человека в афганской одежде. Подъехал весь отряд. Ионов видел, что перед ним английский офицер, притворяющийся афганцем.

Полковник подозвал переводчика, и офицер сказал, что он комендант укрепления Сархад и, кроме него, никого в укреплении нет.

— А где же гарнизон? — спросил Ионов, играя камчой и заранее предугадывая ответ.

— Как только гарнизон узнал, что со стороны Индии двигаются русские, сейчас же разбежался. Я не могу оказать вам сопротивление. Я один!

— Ну что ж! Это хорошо! — Ионов, прищурив глаза, смотрел на незадачливого коменданта, прекрасно понимая, что англичанин во что бы то ни стало хочет, чтобы его при-

нимали за афганца.— Это хорошо! — повторил он и громко сказал толпившимся сзади казакам: — Англичанина-то его молодцы не поддержали. Кто куда дал ходу, охоты нет за него сражаться!..

Комендант, стараясь сохранить выдержку и думая, что он обманул русских и они действительно принимают его за афганца, сказал не без достоинства:

— Когда бы со мной были мои афганские солдаты, вы бы не прошли так просто. Но эти трусливые скоты из пастухов — на что они способны?! Я прошу,— обратился комендант к полковнику,— понять мое тягостное для командира положение и не входить в мою крепость, не производить ее обмеров.

Полковник Ионов с легкой улыбкой смотрел в светлые, горевшие скрытой ненавистью глаза коменданта. Кругом открыто хохотали казаки:

— Ай да армия! Ай да вояки!

Загоревшие щеки офицера потемнели. У англичанина чуть дрожали руки.

— Такую неприступную твердыню взяли да бросили! — Урядник с показным остервенением зло сплюнул в сторону.— Вот это герои, я понимаю. Братцы, крепость-то — глиняный горшок, а он, видишь ты: не входите, не обмеряйте... Чистая фарса!..

Ионов усмехнулся в свои широкие, взлохмаченные усы, сказал коменданту:

— Не беспокойтесь. Мой отряд пройдет мимо этого укрепления, не заходя в него.

И, отвечая на приветствие коменданта, небрежно приложил руку к папахе, и весь отряд загремел по камням мимо одинокого стража пути, и скоро только столб пыли остался крутиться за поворотом ущелья, а потом и он растаял на пустынных камнях.

...Катта-Улла проснулся с тяжелой головой. Что за дикий и странный сон приснился ему! Он был еще весь во власти этого томящего сновидения. Перед ним пронеслась с яркой отчетливостью картина того далекого дня, которая была давно погребена на самом дне памяти. И вдруг ослепительно ожила.

Катта-Улла увидел снова маленькую круглую крепостицу. Так близко от него были каменные стенки, завалепные со стороны дороги большими камнями. Он увидел бойницы, обложенные земляными серыми мешками, небольшой

ров, обегавший всю постройку, освещенную скупым осенним рассветом.

Как живой стоял перед ним отец, с которым они пригнали в укрепление баранов, горцы в разноцветных одеяниях, махавшие ружьями и отчаянно спорившие. Пронесся слух, что с гор, от Барогиля, спускаются русские. И то, что они шли со стороны Индии, а не с севера, сбивало с толку, и никто не хотел оставаться в крепостице.

Паника охватила людей, и они разбежались с такой скоростью, что, когда англичанин вышел из своей комнатки, никого уже в укреплении не было.

Катта-Улле было тогда четырнадцать лет, он был силен и юн. Ему захотелось увидеть русских — что это за люди. Он полз между камней, как ящерица, залег на верху небольшого выступа, распластавшись, прижавшись к камню, слившись с ним своими серыми лохмотьями. Он все увидел. Он не понимал, о чем говорил начальник русского отряда с комендантом, но он близко видел маленьких горбоносых коней и казаков в незнакомых ему теплых толстых одеждах, с косматыми папахами на головах. Один из них осматривал копыта своего коня, другой поправлял подпругу. Остальные крепко сидели в седлах. Все они были бородатые, темнолицые, широкоплечие. Так ему показалось. Было их совсем мало. Человек двадцать, не более.

Особенно запомнился начальник. У него были густые черные усы, концы которых были так расчесаны, что казались широкими кружками, как будто приклеенными к щекам. Он вертел коричневой камчой и говорил громко, уверенно. Казаки чему-то смеялись, а он только улыбался. Все они были какие-то удивительно похожие на местных жителей.

Потом они исчезли, как будто их никогда тут и не было.

Все это было так невероятно давно и вдруг вернулось ему сегодня в долгом тяжелом сне. Катта-Улла заново ощутил себя среди камней перед казаками, совсем не как тени прошли лошади и люди. После сна осталось странное чувство, точно все это произошло вчера. Он, еще не совсем проснувшись, думал: к чему этот сон? Что он предвещает? Может быть, кроме него, нет никого в живых из участников этой встречи?

Сейчас Катта-Улла — один из самых старых людей в деревне, а тогда ему было четырнадцать лет. Последним всплеском сна пронеслось пустое, голое ущелье, вихрь пыли... Он

проснулся окончательно, сел на старом тюфяке, сбросил с себя одеяло и оказался совсем в другом мире.

В старом горном доме было тихо. Он вспомнил, что жена ушла гостить в соседнюю деревню к старой своей подружке, сын — на пастбище в горах, внучка, конечно, внизу у большого тута, где вечерами собирается молодежь.

Ему захотелось пить. Он спустился по деревянной шатучей лестнице в нижнюю комнатку, где стоял кувшин с водой, пил жадно, прямо из кувшина, плеснул водой на лицо, пошел опять наверх, на террасу, где четыре столба подпирали крышу, сложенную из потемневших от времени дубовых толстых досок. В полумраке вечера он споткнулся о скамейку и, схватившись за нее, нащупал шкуру снежного леопарда, убитого им недавно. Он выследил зверя вместе с внучкой Умой. Это был убийца и вор. Он крал черношерстных коз, овец, иногда нагло, среди бела дня, нападал на людей и загрыз пастуха. Зверь мертв, и его шкура лежит в доме Катта-Уллы.

Он облокотился о доски, отделявшие балкон от обрыва. Внизу были слышны голоса. Там, на поляне, танцевали девушки. Там пели песни. Так велось изо дня в день. По горе были раскиданы деревенские дома, большей частью глинобитные или каменные. В них, как и в доме Катта-Уллы, стояли низкие деревянные кровати, на них лежали мешки с соломой или сухой травой. В углу светильник или маленькая керосиновая лампа. За перегородкой в высоких корзинах — зерно, овощи, сушеные яблоки.

Горы, как волны, поднимались вокруг. В их пересечениях, запрятавшись от остального мира в глухие щели, жили люди племени Катта-Уллы. К их селениям вели крутые, тяжелые тропы. Селения имели сады. Шелковица, тут, яблони, ореховые деревья росли около домов. По склонам изредка были разбросаны рощи гималайской сосны, росли дубы.

Тишина стояла в этом заповедном уголке заброшенной горной страны. Тишину нарушали грохоты далеких лавин на снежных громадах.

Когда сюда пришли и поселились люди, никто не знал. Был слух, темный и сказочный, что жители происходят от воинов легендарного Искандера, оставшихся навсегда в этих недоступных узких долинах. Об этом как будто говорили формы местных кувшинов, чаш, домашних светильников, узоры, сходные с древнегреческими.

Но так как суровая жизнь горцев вся была заполнена

заботами о доме и пище, то некогда было им, не знавшим никакой грамоты, выяснять свое происхождение. Да никто об этом и не думал.

Где-то за горами находился другой мир, полный неведомых тревог, обольщений, угроз. Он казался отсюда далеким, как луна...

Катта-Улла был особенным в своем селении. Всю жизнь он провел с отцом в блужданиях, в трудных дорогах, в службе против пуштунов, которые боролись за свою вольность.

Он привык к этой кочевой жизни, имевшей, правда, свои прелести. Он повидал и такие города, как Пешавар и Джалалабад, и такие дебри, как ущелья момандов или скалы Вазаристана. Он выбирался счастливо из самых безвыходных положений. Не раз кривой клинок афганца был занесен над его жилистой шеей. Но вот он все-таки цел и может рассказывать о таких приключениях, что вздрогнут самые бывалые. Его земляки неграмотны, они не знают, что такое книга, что такое перо или карандаш.

Уже несколько лет, как он не был на великой дороге, ведущей из Пешавара в Кабул, не ходил по пограничным тропам, не сидел с приятелями в караван-сарае. Семьдесят лет с небольшим для горца не предел, но разбрелись, умерли или убиты былые приятели. И вот приходят старые-престарые сны, и с ними приходит тоска.

Видно, надо собираться в дорогу! Надо ехать в Пешавар, надо увидеть, что там происходит на Хайбере, как сегодня живут там люди, надо бежать от скучного сумрака горного вечера. Унылое однообразие дней надо, надо стряхнуть с плеч! В этой трущобе он начинает задыхаться! Пора! Надо порастрясти старые кости!

Как кстати они с внучкой подкараулили этого убийцу оленей и коз, презренного снежного леопарда! Его шкуру можно продать в Пешаваре за хорошие деньги. Ума — храбрая, сильная девушка. Таких много в горных селениях. Из них выходят хорошие хозяйки и жены. Она прекрасная плясунья, а пляски любят и люди, и добрые духи, и сам покровитель очага, защищающий горцев от всяких несчастий и бед.

Придет пора, и Ума выйдет замуж, и будут пляски на ее свадьбе, родится у нее новый маленький горец — будут плясать, не жалея ног. Умрет старый Катта-Улла, его не понимают и боятся, но уважают, как много повидавшего в жизни человека, и с удовольствием молодежь спляшет на его похоронах... Таков обычай!

Надо отправляться в Пешавар! Старый конь как-нибудь дотащит через высокие хребты. Катта-Улла знает, что где-то там, за перевалом, уже ходят машины и они могут подвезти его, если он пойдет пешком, но надо показать последнюю доблесть, вспомнить давние времена, снарядиться в дорогу по всем правилам, ехать верхом, не торопясь, гордо, со шкурой снежного леопарда, закрываться старым пастушеским плащом от непогоды, заводить разговоры на пути со стариками, понимающими толк в делах, ночевать в караван-сараях, у костра, готовиться к предстоящим подвигам, последним приключениям на долгом жизненном испытании... Недаром снился вещий сон о русских, о былых годах, о далекой, как юность, крепостице Сархад.

В нем просыпается жажда приключений. Он хочет участвовать в интригах, в заговорах, в стычках, в подкупе вождей племен. Он жил в своей глуши в те годы, когда весь мир был охвачен войной и были слухи, что японцы хотят завоевать Индию. Но годы прошли. Исчезла та война, и японцы исчезли. И вот два года назад, в 1947 году, начались сражения между индийцами и пакистанцами. А что, если они продолжаются, а он сидит в своих горах? Надо ехать! К кому ехать?

Перебирая имена, он вспомнил Афзала Наир-хана. Разве не ему он спас жизнь, разве они не спали долго у костров, прикрываясь одним плащом? Надо заехать к нему. Он теперь живет в Ленди-хана, как раз по дороге в Пешавар! Поехали, старый грешник Катта-Улла!

Большая, бетонированная, гладкая, как темное стекло, магистраль ведет из Пешавара в Кабул. Она крутит между двумя голыми хребтами, иногда под нависшими, крутыми скалами, и по ней проходят автобусы, раскрашенные, как сундуки, пролетают легковые машины всех марок мира, как заводные жуки, бегут легкие «пикапы», с тяжелым хрипом одолевают высоту грузовики, нагруженные так высоко, что люди, лежащие и сидящие на ящиках и тюках, кажутся расположившимися на движущемся холме.

Рядом, по другой дороге, параллельно автомагистрали, идут гуськом длинные ряды верблюдов — и кажется, что их больше, чем людей, спешат тонги, и сытые лошадки отстукивают свою рысь, как бы пританцовывая, а плюмажи над головой развеваются, напоминая ярмарку. Женщины с ног

до головы в черном гонят черношерстных овец; идут, глубоко вздыхая, ишаки со связками хвороста.

А рядом, чуть выше, вылетает из тоннеля с оглушающим свистом поезд, мелькнув и снова исчезнув в новом черном входе в следующий тоннель.

Неожиданно, пропоров воздух ревом четырех моторов, как демон, несущийся очертя голову и презирающий все земное, проносится самолет, и долго в воздухе стоит его удаляющийся сверлящий грохот.

От Пешавара до границы нет и шестидесяти километров. За Ленди-хана, в девятистах метрах, первый афганский пост — Торхам. На запад и на восток идет твердо установленная черта — государственная граница. В совсем недавние времена тут совершались мрачные кровопролития, плелись заговоры, крались торговцы оружием, делались засады, грабили купцов и караваны, вершились удивительные по неожиданности и таинственности дела.

Катта-Улла неотчетливо представляет нынешнее положение дел. Он плохо осведомлен о том, что происходит в мире. Он видит, времена изменились. Много нового, непонятного. Но остался в силе священный закон гостеприимства.

Он сидит в доме старого друга, который моложе его на двадцать лет. Давно не видел его Катта-Улла. Он без стеснения рассматривает его. Афзал Наир-хан стал другим. Почти ничего не осталось от бывшего сурового воина. Мягкая борода выхолена и расчесана веером, широкое лицо с заплывшими жирком морщинами, гладкие руки человека, отвыкшего от тяжелой работы, и спокойные глаза, в которых уже не побегут снова огоньки тревоги и жажды схватки.

Он не одет в ширвани, национальный костюм пакистанца, на нем зеленый френч, тюрбан, зеленые форменные широкие брюки, часы на руке. На ногах у него не сапоги и не сандалии, а богатые легкие домашние туфли — салимшахи.

Он толст и смотрит на Катта-Уллу с каким-то непонятным превосходством. Как хозяин, вводящий долго отсутствовавшего гостя и друга дома в курс событий, он рассказывает о том, как сын его Акбар служит в армии в Равалпинди, дочь учится в Лахоре. Селима живет там с его сестрой Зульфией, членом ученого общества. Гость не спрашивает Наир-хана о его жене. Он знает, что Фару-ханум давно умерла, и не стоит о ней вспоминать, тем более что она не благоволила к Катта-Улле, считая, что он вовлекает ее мужа в опасные дела.

Со своей стороны и Афзал Наир-хан про себя отмечает все изменения, происшедшие с его старым другом. В черной бороде горца много седых волос; хотя они и прихвачены хной, но проглядывают довольно явно. Морщин сильно прибавилось. Он еще высок и прям, но что-то старческое в его движениях, в походке, усталость на лице и недоумение в глазах, хитрых и по-птичьему острых. Его одежда поизносилась, но это не мешает ему иметь независимый вид.

Что привело его в Ленди-хана? Он так давно не спускался с гор, не покидал темного родного гнезда, где в наш культурный век непростительно, по-дикарски живут его соплеменники, не зная ни врачей, ни школ, ничего из того обилия возможностей, что предоставляют гражданам Исламской республики новые, просвещенные времена.

Но во имя старой боевой дружбы, совместно перенесенных опасностей хозяин и гость мирно и дружески разговаривают, окуная пальцы в горячий, рассыпчатый рис. Хозяин угощает на славу. Пулоу превосходен. Карри честно горит во рту, обжигает внутренности приятным жаром. Хороши и чапатти с подливой из раскаленного красного перца. Можно запивать прохладной сывороткой, бросать в рис куски топленого сливочного масла и снова погружать в душистый, волшебный рис жирные пальцы. В перерывах можно пробовать ароматный гороховый соус, в который добавлены душистые горные травы и толченые орехи. Измельченное тушеное мясо с овощами, сдобренное гвоздикой, тмином, луком и карри, тает во рту.

Афзал Наир-хан — таможенный чиновник. Он страж границы без оружия в руках, но он важная персона в этих краях. К нему обращаются почтительно. Он приказывает своим помощникам негромко и коротко. Катта-Улла убедился за короткие часы, проведенные на границе, что Афзал Наир-хан повысился в своем звании и стал совсем ученым, знающим, как и с кем разговаривать о самых важных вещах: о грузах, следующих через границу, о чемоданах знатных путников, о бумагах иностранцев, о том, чем полны тюки караванов и карманы купцов, следующих в Лое-Дакку.

Рыгнув от удовольствия, испытывая радость от тепла комнаты и сытости, Катта-Улла сказал, вытирая губы большим красным платком:

— К тебе теперь надо обращаться — дженаб! Не меньше! Ты вырос, ты как самое высокое тутовое дерево у нас в селении. Под твоей тенью пляшет молодежь и старые гово-

рят о жизни. Ты стал Хан-сагиб! Скажи мне, всезнающий и глубоковидящий, что значит видеть такой сон, какой видел я. Имей в виду, что все, что мне снилось, было почти шестьдесят лет назад...

И он рассказал подробно, как он заснул под вечер в своем доме в горах и увидел во сне, как русский сардар, придя со стороны Индии, смеялся над английским комендантом маленькой крепостицы, потому что у того разбежался весь его гарнизон, и хорошо, что, когда русские прошли, все вернулись обратно, а иначе коменданту было бы плохо от начальства...

— А как ты сам думаешь? — спросил Наир-хан, не совсем понимая, куда клонит свой вопрос его гость.

— Я ничего не мог придумать и пошел к толкователю снов. У нас нет в горах ученых, но есть искусные люди, для которых сны лежат как на ладони...

— Что же сказал тебе толкователь снов?

Катта-Улла вытер потный лоб и щеки и пожал плечами:

— Для толкователя снов не все сны легкие. Он долго прикидывал и так и этак. И наконец сказал, что мой сон означает, что я снова увижу русских. И как сон был неожиданным, так неожиданной будет эта новая встреча...— Тут горец замялся и сказал, облизывая губы: — Видимо, будет война, большая кровь, я так думаю, сказал толкователь снов.

Наир-хан засмеялся, и его лицо приняло хитрое выражение.

— Ты очень долго не спускался с гор. А твой толкователь снов прав только наполовину. Большой крови больше нет места. Здесь мир!

Катта-Улла задумчиво смотрел на жемчужные пересветы риса, которые соблазняли его еще попробовать пулоу, пройтись пальцами в его глубину.

— А как же о нас дошли вести, что с того дня, когда разделилась Индия, начались беженцы и сражения, и до сих пор наши братья истребляют нечистых почитателей коров во славу всемогущего и всех наших горных богов!

Афзал Наир-хан взял серьезный и поучающий тон. Он сказал:

— Были сражения и много жертв во славу аллаха, но мы имели большой успех, и от нас бежали с позором индийцы, и сикхи, и джайны, и мы приняли много братьев, бедствующих и поныне повсюду от Кашмира до Карачи. Но теперь у нас декабрь тысяча девятьсот сорок девятого года, а уже с пер-

вого января этого года заключено соглашение о прекращении боев, и кровь не льется больше...

Катта-Улла не хотел так просто расстаться со своим сном.

— Но, может быть, недаром снились русские? Может быть, они придут и мы с ними будем драться?

Наир-хан, боясь обидеть старика резким словом, сказал как можно спокойней:

— Ты знаешь ведь, что теперь Советский Союз, а не царская Россия?

— Я давно это знаю, но что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, что твой толкователь снов прав только наполовину относительно русских. Мы не будем с ними драться, потому что незачем. А то, что ты мог их увидеть здесь,— толкователь прав...

— Почему же только мог увидеть?

— Потому, что делегация из Советского Союза приехала сюда вчера. Ты опоздал. Они вчера проезжали границу и были в Ленди-хана. Люди из Москвы!

— Большой отряд? — заинтересованно спросил, нахмурившись, Катта-Улла.— Куда они делись?

— Их было пять человек, но это не были воины. У них другое оружие. Они поэты. Они пишут стихи на радость людям. Ты любишь стихи?

Катта-Улла усмехнулся:

— Это же как песни. Мы все любим песни. У нас каждый вечер поют песни во всех селениях. Под старыми тутами и дубами. Таков обычай...

— Вот и они, приехавшие, все пишут песни-стихи. Но среди них был знаменитый, славный певец из Таджикистана. Молодой, смуглый, ясноглазый, как юный месяц. Он мне читал такие стихи, что горы дрожали от восторга, а мое сердце ликовало. Когда есть такие очарователи, значит, наступил мир и войны быть не может. Делегаты пришли во главе с ним, как вестники мира...

Катта-Улла осторожно потрогал амулет, висевший у него на шее, и спросил, чуть наклонив голову, смотря в веерную бороду хозяина:

— А ты помнишь, как там далеко, у Амбалеха, в Бушире, когда проклятый амазай хотел разрубить тебя надвое своим кривым мечом, кто тебя спас?

— Ты спас, сердце моего сердца! — сказал Наир-хан с чувством.

— Значит, ты не забыл. Теперь расскажи, я хочу слышать о людях из Москвы. Зачем они пришли?

— Они пришли в гости к поэтам Пакистана, к ученым людям, чтобы увидеть нашу страну и рассказать, как живут в Советском Союзе. Трое из них были русские. Один — высокий и широкий человек, как палаван, сильный, может унести тонгу, если захочет, но глаза и голос у него добрые. Второй — совсем седой, старый, но крепкий, жизнерадостный. Третий сказал, что стихов не пишет, а только читает чужие. Но так как он прижимал к груди большой портфель, то я не поверил ему. Наверное, его портфель набит разной ученостью. Четвертый был узбекский поэт, очень известный. С длинными черными волосами и глазами, черными как ночь в горах. В них горели костры стихов. Но мне больше всех понравился знаменитый гость из Таджикистана. Какая радость, что его будут слушать и ученые и простые люди! В наших краях не было еще такого поэта, такого, как он. Он читал мне стихи, как другу. Я встретил его, как только он вышел из машины, приветом в стихах, потому что я заранее знал, кто он. Потом, когда мы пили чай, я велел принести стихи несравненного нашего учителя и мудреца Мухаммеда Икбала. Ты слыхал о нем, Катта-Улла?

— Мы знаем Икбала,— ответил Катта-Улла.— Молодежь в горах знает его и поет. Не думай, что если мы неграмотные, то у нас нет понимания. Мы всё понимаем. У нас по вечерам в каждом селении собирается молодежь — танцует, поет песни. Знаешь, сколько песен, а голоса как соловьи. А не может таджикский соловей прилететь в наши места?

— Они уехали в Лахор и дальше — в Карачи. Я не знаю, будет ли у них время...

— Скажи по совести. У нас поют песни и про любовь и про войну. А почему не хотят снова воевать в этих краях? Поэты всегда восхваляли победителей и героев.

Ах этот хитрый, темный, непростой горец! Он, видите ли, на старости лет захотел воевать. Мало он воевал в своей жизни...

— Теперь нельзя воевать, как еще недавно воевали...

— Почему? Это нужно, чтобы молодежь была храброй...

— Когда кончалась война с японцами, американцы сбросили на японцев такую бомбу, что убили сразу десятки тысяч людей и десятки тысяч искалечили. Бомба эта превращает людей в пепел, в пыль. Лучше мир и стихи, чем такое бедствие. Как у вас в горах — ведь слыхали про бомбу?

— Конечно, слышали, но ведь это было давно и от нас далеко. В моих горах тишина. Вон здесь какой грохот на дороге. Ты говоришь — это двадцатый век! А у нас неизвестно, какой век! Говорят, что мы происходим от самого Искандера. Может быть, и происходим. Но мы живем, видимо, как жили при Искандере. Нет у нас никаких машин — ни таких, что кричат разными голосами, ни таких, что летают над головой. Ни электричества, ни книг, ни кино, ничего нет! И дорог нет! У нас есть хорошие колдуны, и им трудно, потому что некого лечить. Все здоровы и умирают вовремя, по-хорошему. Но зато поют песни; когда человек родится, поют, когда умирает, поют. И пляшут в честь живого и в честь мертвого. Есть у нас снежные леопарды и волки. Я знаю их повадки. И жить в Пешаваре я не смог бы,— закончил он совершенно неожиданно.

— А зачем идешь туда? — спросил Наир-хан.

— Хочу продать шкуру снежного леопарда. Это шкура убийцы любимой козы моей внучки. Мы вместе с Умой кончили его. А в Пешаваре хорошо платят. Есть знакомый купец, еще с давних времен. Я давно его знаю...

Наир-хан позвал слугу, убрали остатки обеда и принесли чай, жареный миндаль, фисташки, халву и сладкие шарики — шакар-пара, пешаварские яблоки и сухие фрукты. Принесли кальяны.

Окружив себя облаком голубого дыма, Наир-хан сказал:

— Все, о чем ты говорил, Катта-Улла, придет в твои горы. И твоя внучка узнает, что такое машина, которая поет и плачет и под которую пляшут новые танцы, такие, что тебе покажется, что это злые духи пытают людей. И ты увидишь такие фильмы, что волосы на твоей голове зашевелятся или, наоборот, ты будешь бросаться на экран с криком мщения. Автобусы поднимутся к твоим селениям по гладкой дороге и будут останавливаться у твоего дома. И радио будет тебе докладывать каждый вечер, что случилось в мире. Мой старый Катта-Улла, времена изменились, и тут ничего нельзя сделать...

Катта-Улла поднял на говорившего свои узкие глаза, в которых были сомнение и лукавство. Он сказал:

— Может быть, может быть, все так случится, как ты говоришь! А скажи, мы будем так же свободны и независимы, как были, или над нами будут господа, которые принесут нам все эти радио и кино и приедут к моему дому на автобусе, чтобы потребовать за все это такую плату, что все мы

станем сразу нищими и слугами этих господ? Тогда зачем нам песенки, которые будет петь ящик? Мы и так их поем. Зачем в нас вселятся злые духи и будут корчить наши тела, когда мы сейчас плясками славим добрых духов и они оказывают нам покровительство? И запомни — мы еще не разучились стрелять у себя в горах!

Наир-хан улыбнулся и отвечал уклончиво:

— Как говорит великий наш Икбал: «Сначала меч и борьба, потом красота и музыка». И еще говорит он: «Не один ты вступаешь в эту борьбу, рядом с тобой встают миллионы».

— А этот великий прорицатель жив сейчас? Можно с ним поговорить?

— Нет, он умер одиннадцать лет назад. Сейчас ему строят хорошую гробницу — мавзолей в Лахоре. Икбал писал о том, как любовь пустилась в поиски и как встретился ей человек. Он светился изнутри своей бренной оболочки. И солнце, и месяц, и звезды можно отдать за эту горсть праха, наделенную сердцем...

— Ача! — сказал восхищенно Катта-Улла.— Послушай, ты стал таким мудрым, что тебя я буду величать «муншиджи». Раз так, объясни мне, старому горцу, что такое поэзия?

— Это то, что крепче железа и нежнее цветка! Поэзия выше всего! Она дает жизнь всему и скрепляет ее на века. Она говорит голосом сердца и возносит человека на вершины духа...

— Ты говоришь так, точно поклоняешься поэзии, как богине!

— Я не поклоняюсь ей, как богине, но помню, что Икбал сказал, что он как легковоспламеняющийся тростник. На него упала искра, а свежий утренний ветер раздул ее, и сухой тростник горит как порох и зажигает своим пламенем сердце друга...

— Ача! Хорошо, очень хорошо! — Катта-Улла прищелкнул языком в полном восторге. Он медленными глотками пил чай, ему было сытно и уютно, но все же он не мог никак принять до конца перемену, происшедшую с его другом. Времена другие, но как жестокий, крепкий человек пограничных стычек и походов стал толстым, спокойным любителем стихов? Это невозможно было понять. Никогда раньше он не подозревал, что в этом неистовом молодом искателе приключений обнаружится душа таможенного чиновника, ушедшего в разговоры, мирные приказания и стихи.

Наир-хан, как будто отвечая на тайные мысли гостя, говорил, затягиваясь и прислушиваясь, как булькает вода в кальяне.

— Мухаммед Икбал родился в Сиалкоте, откуда родом и я. Он учился даже в Англии, он превзошел всю мудрость мира. Знай, что великий полководец и покоритель царств Бабур был прекрасным поэтом, которого помнят и сегодня. «Бабур-наме» — великая книга, которую читают в школах и университетах. Икбал — это голос наших народов. Он назвал нашу страну Пакистаном. Я знаю наизусть множество его стихов. Я даже достал розовый куст из его сада и посадил его чуть выше этого дома, в горах. Туда идти недолго. И никто не трогает этот куст, потому что имя Икбала охраняет его. Я подрезал так розы, что только одна выше всех, яркая, единственная, роза поэзии цветет там. Роза одна, как и Икбал один! Поэт из Таджикистана читал наизусть Джами, и Саади, и Икбала. Я провел с ним восхитительные минуты. Я поднялся с ним на гору и показал эту розу ему. Советские поэты были в восторге от того, как у нас ценят стихи. Не в каждой стране встречают дорогих гостей стихами, и не в каждой стране гости тоже отвечают стихами.

Я сам не пишу стихов. Но в юности писал, когда еще учился, а ты знаешь, что я получил хорошее образование, однако родные хотели, чтобы я стал военным, и я был неплохим офицером. Но всегда, особенно в наших суровых горах, когда я слышал песни таких горских девушек, как твои, я решал, что уйду с этой тропы, где мне наскучили засады, и выстрелы, и отрезанные головы, в жизнь, где можно мирно работать и знать радости, не требующие крови.

Старый хитрец Катта-Улла видел, что Наир-хан не притворяется, не обманывает его. Ему нравилось, что он не забыл старого, не стал важным и надменным и с ним можно говорить откровенно, сказать ему о себе все, что хочется сказать. И он начал так:

— Ты раскрыл себя, и я вижу, что, зная тебя много лет, я не знал тебя до конца. Я могу только сказать, что, когда мы с тобой проводили дни, полные тревог и опасностей, ты вел себя достойно, ты был воином, о котором говорило начальство в Пешаваре и давало тебе чины и отличия. Но ты всех перехитрил, потому что твоя страсть, твой ум, все твои помыслы ты отдавал своей поэзии. Видно, это и есть твоя настоящая жизнь. Но не каждый раз к тебе будут приходить

поэты. Могут прийти и другие люди, тайно или явно несущие с собой оружие и замышляющие против тебя и страны...

Пойми и ты меня. Всю жизнь с четырнадцати лет я в дороге со своим отцом, который любил блуждать по горам и нести тяжелую службу того времени. Не пересчитать, сколько раз я был ранен и сколько раз видел смерть. Ты знаешь, что за жизнь в горах. У кафиров за стол совершеннолетних садились даже мальчики, если они достигли совершеннолетия по обычаю горцев. А чтобы стать совершеннолетним, для этого юноша должен был принести старикам напоказ голову врага, отрезанную им собственноручно. И никто тогда не спрашивал, сколько ему лет. Он имел право садиться за стол со взрослыми воинами. Ты сказал, что тебе надоели отрубленные головы. Но такова была жизнь. Зато я знаю границу, как никто. Теперь я стар, и ноги мои говорят: не всегда мы тебя вынесем так скоро, как нужно, и руки не те. Глаза еще хорошо видят; может быть, потому, что я не портил их, читая книги. Я не скажу, что мне не нравилась моя жизнь, другой я не знаю. Темные ночи гнали меня в такие дебри, откуда нелегко вернуться и опытному следопыту. Я наслаждался, когда удавалась военная хитрость, и тогда, когда я, притворяясь кем угодно, проникал в стан врага и потом наносил верный удар сынам дьявола.

Я могу читать наизусть свои воспоминания, как ты — стихи. Вот и во сне я видел так ясно эту крепостицу на Вахан-Дарье, как будто я снова посетил ее. Я все помню. Все живет во мне. Мне было всего восемнадцать лет, когда я уцелел случайно. Вождь из Джондолы Умра-хан около Мастуджа уничтожил весь английский отряд, а я притворился мертвым и был сброшен со скалы — и спасся. Я помню, как мы голодали в Читральском форту и как полковник Келли освободил нас. Наиб-уд-дин поднял момандов, и я пробежал с донесением пятьдесят километров, почти не отдыхая. Меня убивали и не убили сваты, перед тем как афридии захватили эти места и весь Хайберский проход. Это были дни безумия. Форты Мод, Али-Меджид, Ленди-котал были разрушены, сожжены, уничтожены. Трупы людей и животных валялись повсюду.

А сколько было пограничных стычек и троп, где платили головой за неосторожное движение! Из года в год я ходил по горам, сидел у костров, врывался в одинокие селения, отражал выстрелы из засад. Это была моя жизнь. Я сейчас лежу на матрасе в своем доме, где ковры, и посуда, и доста-

ток, и еда, и покой, а что мне с ними делать? Я был как вольный снежный леопард, а сейчас я как леопард, пойманный в сеть. Такая была жизнь и позже. Одни красные рубашки у Пешавара чего стоили. А восстание племен против Амануллы! А хитрости племен, сражавшихся с Баче и Сакао! Гром войны потрясал горы. Все это было и живет в моих костях! И во всем этом я участвовал! О! — Катта-Улла горестно вздохнул и закрыл глаза.— И все это кончилось. Ты говоришь, наступил мир. Я не хочу верить, что он наступил. Ты обманываешь меня невольно, потому что веришь в мир. А из-за похищенной коровы или случайного выстрела горы снова могут вспыхнуть, как тот сухой тростник, о котором ты говорил... Что делать храбрым, старым воинам в мирных твоих горах?

Афзал Наир-хан снова огладил бороду и, прижав в знак почтительности руки к груди, слегка поклонился.

— С великим вниманием я слушал тебя, но прости меня, храбрейший Катта-Улла, за то, что я сейчас скажу. Все это делал ты, не раздумывая о том, что служишь в конце концов английским сардарам и сагибам! Тебе нравилось твое бездумное непрерывное приключение, но ты не подумал никогда о том, что ты несвободен. Но теперь, говорит великий Икбал,

Если ты осведомлен о коварстве людей Запада,
Откажись от качеств лисы и стань подобным льву!

— Опять Икбал, опять стихи! — застонал Катта-Улла.— Скажи мне просто: неужели нельзя сейчас вызвать какой-нибудь пограничный инцидент, чтобы я мог участвовать в нем, вспомнить старое, ну, хоть сделать небольшую стычку, а? Неужели нельзя?

— Нет, этого нельзя сделать, чтобы не осложнять наше положение — Пакистанского свободного государства.

— И нельзя никого обвинить в измене, чтобы я встретил этого человека на узкой тропе ночью в горах?

Афзал Наир-хан сказал без улыбки:

— Для этого сегодня есть другие средства, если измена доказана!

— И никого нельзя подкупить, чтобы потом уличить его в двойной игре и схватиться с ним один на один для пользы власти и мира на границе?

— Нет, сегодня подкупы не ко времени. Не те времена!

И племена не нужно подкупать. Они сами знают, где их настоящий путь. И мы это знаем.

— Да, теперь я вижу, я отстал от жизни в своей глуши. Все стало мирным и тихим, какие-то есть тайные средства, о которых я ничего не знаю. Видно, только со снежным леопардом был у меня честный бой, и то, если бы не помогла моя внучка Ума, зверь бы ушел от меня, опозорив старого охотника... Неужели,— воскликнул он в горе,— я поеду домой, вернусь, ничем не порадовав старое сердце?! Я чувствую, что, видно, больше сюда с гор не спущусь. У меня уже не те силы, и это правда...

— Ах ты, бохадур! — невольно вскричал Афзал Наир-хан.— Чего же ты хочешь?

— Ну, если ты не можешь при всей своей власти сделать что-то большое для утешения старого воина, то дай участвовать хоть в каком-нибудь приключении. Пусть это будет безобидная шутка, но чтобы я мог смеяться у себя там, дома, в горах...

Наир-хан добродушно захохотал. Его щеки стали пунцовыми от внезапного припадка веселья. Он ударил ладонями о колени. Он окутался синим покрывалом дыма. Успокоившись, он начал говорить, постепенно понижая голос:

— О! В приключении я не могу тебе отказать. Я могу устроить так, что ты не уйдешь с пустым хурджином. Он будет полон смеха. Послушай меня хорошенько. Тут у дороги и в самой Ленди-хана много всякого народу, пришлого, темного, невесть откуда взявшегося, невесть куда идущего...

И вот появился среди других бродяг еще один бродяга. Зовут его Дугда, и откуда он взялся — неизвестно. Одни бродяги промышляют на базаре, другие грабят на дороге, где пустынно, третьи пристраиваются при караван-сарае, а этот дурак, жадный и темный, выбрал меня. Мне рассказали, что он проследил, как я хожу в гору, на ту площадку, где розовый куст учителя нашего Икбала, и сижу там обычно лунной ночью, думаю, вспоминаю, смотрю на розу, тихо про себя читаю стихи и наслаждаюсь тишиной мира и светом луны. И теперь он, прячась, каждый раз тайно сопровождает меня туда и лежит в камнях, наблюдая за мной...

— Он что, хочет убить тебя и ограбить?

— Нет, это я тоже выяснил, потому и не принимаю никаких мер. Он проболтался раз, что он думает, что я около этого розового куста закопал клад, спрятал свои сокровища, и он хочет уловить такой час, когда я что-нибудь добавлю

в свой тайник или выну что-то из него. Он верит в этот клад, он с ума сошел от этой мысли. И каждое полнолуние он сопровождает меня, как тень. Он сторожит мой клад, чтобы его похитить. Он никогда бы не поверил, что роза — клад моей души.

— Расскажи мне, где твоя роза. Я знаю здесь вокруг каждый камень...

Афзал Наир-хан подробно рассказал, как пройти на площадку к розе.

— Так я же отлично знаю эту горку! Я все понимаю! — воскликнул, развеселясь, Катта-Улла.— Этот сын случайно не повешенного отца получит добрую тамашу. Сегодня полнолуние! О! Это уже что-то, от чего будет смеяться Катта-Улла и о чем можно будет рассказать там, в горах.

— Но ты не убьешь его, старина! Жалко поганить кинжал о такую мразь!

— Зачем его убивать! Пусть и он расскажет, что с ним случилось в Ленди-хана. Дай твое ухо, сладость моего сердца, и я тебе расскажу, как все это будет.

И они заговорили, перебивая друг друга, усмехаясь в бороды, переглядываясь и прикладывая палец к губам. Они, как дети, радовались возможности хитро провести назойливого бродягу, который не дает покоя почтенному человеку и который по своей тупости и темноте не понимает, что тонкость чувства — и какая еще! — присуща и солидным чиновникам границы в наше удивительное время.

Когда наступил час луны, они каждый своим путем отправились в назначенное место. Афзал Наир-хан уверенно и легко шел по сухой, заваленной мелкими камнями тропинке, туда, где благоухала избранная роза из сада Икбала. Где пробирался Катта-Улла, он не знал. Горец шел бесшумно, как полагается старому ходоку.

Наир-хан чутко прислушивался и усмехался, когда улавливал справа от себя, то выше, то ниже, глухие звуки и шорохи. То скатывался камешек, сброшенный неосторожным движением, то как будто тяжелое дыхание слышалось в ночной тишине, как будто еще один ночной гость пробирался к заветному месту.

Площадка, расчищенная от камней, была ярко освещена. Лунные лучи, как прожекторы, осветили каменную скамью, высокие прутья, окружившие розовый куст и огромную, пышную, неестественно живую, как будто говорящую розу. Вид ее среди пустынных скал и беспорядочно набросанных

камней поражал воображение. Чудом искусства было взрастить на этой, казалось бы, бесплодной почве такой волшебный цветок. Понятно, что у суеверного населения этих мест ни у кого не поднималась рука на розу, перенесенную сюда из сада самого великого Икбала.

Афзал Наир-хан скромно поклонился розе, как знатной даме, сел на каменную скамью и предался размышлениям. В воздухе горной ночи всегда рассеяно тревожное ожидание, какое-то неясное ощущение угрозы. Поэтому молча сидящий человек и пейзаж, скованный неподвижностью, должны были производить на постороннего наблюдателя особое впечатление.

На губах Наир-хана появилась улыбка. Сначала он шепотом читал стихотворение за стихотворением. Шепот становился громче. Это был еще какой-то душевный разговор с самим собой. Потом стихи стали звучать в полный голос. Читавший как будто обращался к розе, читал для нее, ждал от нее ответа.

Наир-хан заговорил с убыстренной скоростью, и стихи стали догонять друг друга, сливаясь в какие-то длинные строки, в которых уже нельзя было разобрать отдельных слов. Слова гремели на пустынной площадке, как заклинания, как обращение к ночи, к темноте, к пустыне, к горам.

Наир-хан встал, шатаясь от напряжения, замер на месте, потом, раскачиваясь из стороны в сторону, пошел через площадку. Стихи уже взлетали гневными всплесками, потрясая тишину ночи, похожие на вопли. Затем как будто невидимая сила подняла его и бросила вперед. Он побежал и почти набежал на розу и, набежав, остановился и начал описывать круги вокруг цветка, следившего за его движениями, полузакрыв малиновые глаза.

Наир-хан кружился вокруг розы, как дервиш, или так, как крутится танцор, исполняющий афганский танец сабель. И вдруг он дико закричал. Воздух наполнился непонятными именами. Были ли это имена древних поэтов или героев их поэм, демонов или богов — нельзя было разобрать в громком вопле. Призывы летели в ночь. Луна походила на переливающийся жемчугом щит. Казалось, незримый великан ударит в нее, как в гонг, и страшный звук пронесется над миром от этого удара.

Теперь было ясно, что человек на площадке — могучий колдун, зовущий к себе на свидание темных духов гор. Взывающая, властная, темная сила выбрасывала в воздух еще

одно одинокое имя. Оно рождалось в паузах между воплями, но тем более ясно звучало оно, когда становилось отчетливей, как будто его выносили напоказ. Это имя было: «Дугда! Дугда!»

Дугда! — отвечали, как эхо, камни, и из темных глубин гор возвращалось на площадку это имя.

— Дугда! — воскликнул страшным голосом Наир-хан, простирая руки в сторону выступа.— Дугда! Дугда! Явись немедленно! Огонь истребления наготове! Огонь, который готов пожрать тебя! Что нам сделать с Дугдой! Демоны, отвечайте!

И вдруг откуда-то со стороны донесся глухой, как бы смятый расстоянием крик, который все приближался и загремел где-то рядом:

— Убьем его! Убьем его!

Наступила длинная тишина. И в этой тишине тяжелый, хриплый стон пронесся над площадкой. Точно страдающий удушьем больной захлебывался в мучительных попытках схватить глоток воздуха.

— Явись, Дугда! Последний раз зову Дугду! — закричал громовым голосом Наир-хан, отступая к своей каменной скамье, и, как только он поравнялся с ней, черная фигура, в лохмотьях, с всклокоченной головой, выскочила из-за камней и остановилась, не зная, что ответить на колдовской зов.

И тут в скалах, позади царственной розы, раздался мяукающий, раздраженный рев снежного леопарда. Этот рев неподражаемо умел воспроизводить Катта-Улла. И голова самого зверя с раскрытой пастью возникла из мрака. Дико закричав, Дугда упал лицом вниз, и руки его скребли камни в последнем приступе отчаяния.

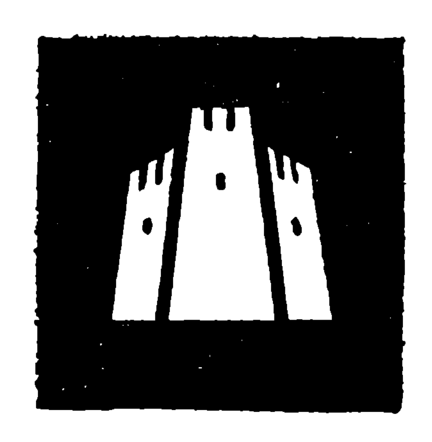
Зубы его стучали. Он задыхался от ужаса. Застывшая морда снежного леопарда точно висела в воздухе, и это делало ее еще более непонятной и зловещей. Это была голова несомненного оборотня, ракзахи, привидения.

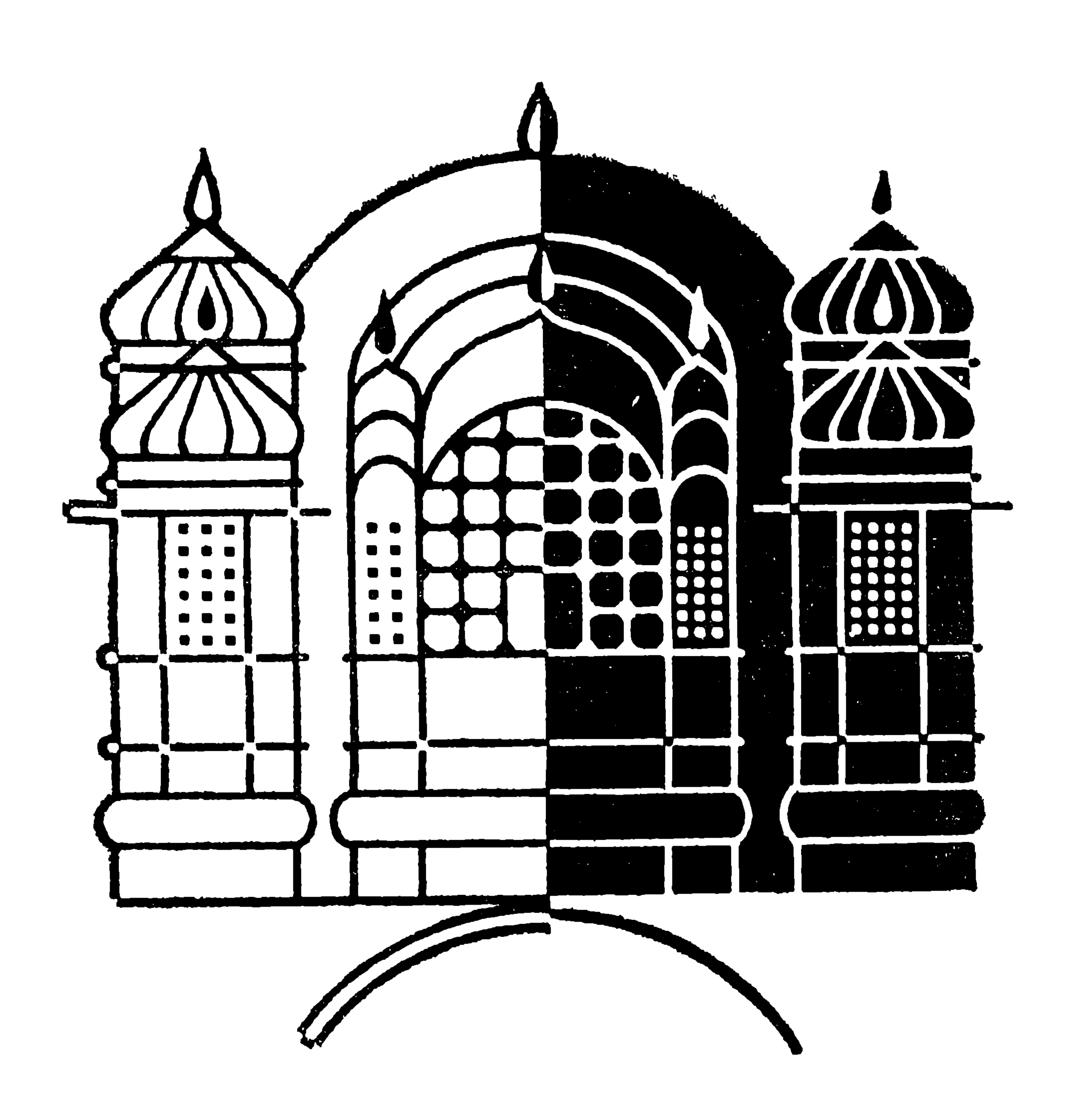
— Дугда! — пролаял леопард, как-то скосив свою пасть.— Уходи из этих мест! Это места мои! Тебе оставили жизнь, исчезни навсегда! Беги! Беги! Беги сейчас же!

Страшный, раздраженный рев был хорошим дополнением сказанного. При последних звуках этого рева Дугда вскочил, споткнулся, упал, на четвереньках побежал по площадке, потом поднялся, и слышно было, как он бежал по тропинке, сметая мелкие камни. Он бежал шумно, и долго был слышен треск камней, потом все стихло.

Катта-Улла сел рядом с Афзалом Наир-ханом, гладя шкуру снежного леопарда. Он давился от беззвучного смеха. Потом он понял, что демоны могут смеяться своим дьявольским смехом открыто, захохотал и похлопал по плечу Наир-хана.

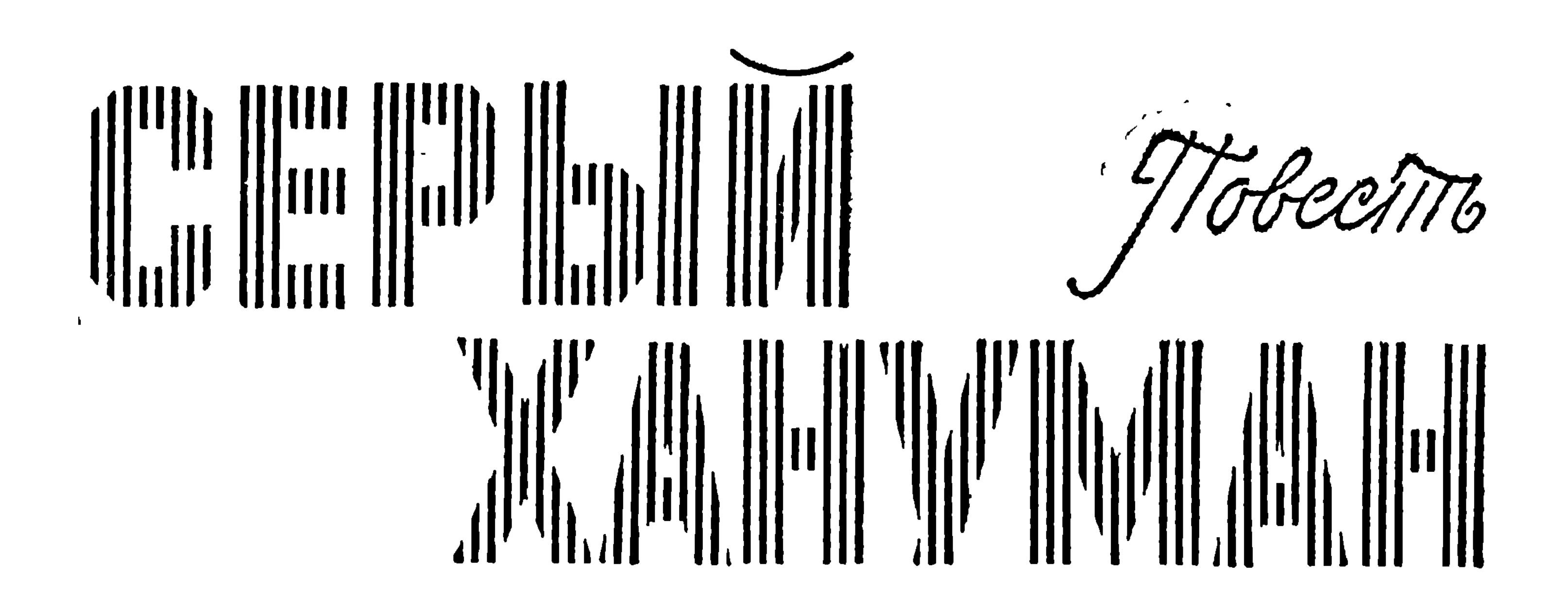
— О-хо-хо! Ноги ведут туда, куда их ведет сердце. Я знал, что я должен был прийти к тебе. О друг мой Афзал Наир-хан! Ты мне говорил: новые времена! Двадцатый век! Из тебя вышел бы такой большой колдун и толкователь снов, что другого такого не было бы в горах от Камдеша до Хунзы. Брось свою службу и контору в Ленди-хана, поедем со мной в наши горы! Твои стихи и моя шкура снежного леопарда будут делать чудеса, получше играющих ящиков и кино! А я, слушай, я карабкался прямо по скалам, как в молодости, в обход вражеского отряда, и напал действительно врасплох и, употребив военную хитрость, с тылу!А как он бежал, этот сын случайно не повешенного отца! Ача! Все прекрасно. Будет что рассказать дома про последнее приключение старого Катта-Уллы! Да славятся добрые боги и умные люди! Мы провели славно время. Зиндабад Пакистан!





Они не впервые сидели в прославленном «Моти Махале». Ресторан, как всегда, был переполнен. Но Яков Бомпер рассеянно разглядывал посетителей, а Ив Шведенер с нетерпением ждал, когда Бомпер расскажет ему о своей поездке в Калькутту и в Бенарес, куда он его направил затем, чтобы тот повидал нечто необычное, что должно было поразить воображение европейца, никогда не покидавшего родную Европу.

Они были большими друзьями еще со времен студенчества, когда совсем юношами, в Цюрихском университете, нашли, что их стремления совпадают, а их взгляды на жизнь, полные дерзких дерзаний и поисков неведомого, требуют объединения молодых сил и крепкой дружбы.



Теперь им было уже за тридцать, они стали журналистами, оба были заядлыми холостяками, говоря, что этого требует профессия. Шведенер на вопрос, почему он не женится, отвечал словами одного американца: «Я хотел бы иметь виллу в горах Явы и жить там с японской женой, китайским поваром и американской уборной, но, так как это для меня недостижимо, я подожду лучших времен». Яков Бомпер отвечал проще: «Моих приятельниц пугает слово — жена. И я их понимаю. Они — передовые женщины, и нечего их отбрасывать в средневековье».

Ив Шведенер, как журналист, в погоне за материалом, часто исчезал и, появившись невесть откуда, привозил всякие сногсшибательные новости из какого-нибудь только что родившегося африканского государства или из дебрей Южной Америки, вместе с высушенными до размеров кулака человеческими головами, которые он выдавал, правда не очень на-

стаивая, за головы высокопоставленных эсэсовцев, скрывавшихся в джунглях Амазонки.

Яков Бомпер не имел таких широких возможностей и поэтому тихо трудился в деловой, будничной Женеве, прибавляя к своему скромному газетному заработку гонорар за литературные радиокомпозиции, за легкие сценки для телевидения, очерки нравов, зарисовки. Он даже выпустил маленькую книжку рассказов, не нашедших широкого читателя.

Но никто не знал, что этот честолюбивый, сосредоточенный молодой человек с фигурой спортсмена целые ночи проводит, заполняя маленькие узкие листочки своим тяжелым, крепким почерком и эта работа длится уже много месяцев.

В конце концов книга появилась на свет и произвела сенсацию. Нет, это был не роман. Автор обиделся бы, если бы его произведение назвали романом. Это было то, что на языке литературных отрицателей романа как такового называлось новой-новой прозой. И все-таки это была книга. Книга называлась «Игра теней» и представляла гонку различных сцен и положений, с разорванной композицией, с полным нарушением цельности действия, с эротическими и мистическими картинами, и все это, вместе взятое, пестро взрывалось перед читателем, оглушало и на какое-то время овладевало его воображением. Это был успех, и не такой уж малый.

Если бы Якова Бомпера спросили, как он рискнул поставить ставку на такую книгу, он бы и сам не мог этого объяснить. Но, присмотревшись к тому, что выносит книжный океан к ногам читателей, ко всем успехам героев от гангстерства, шпионажа и черных ужасов, он понял, что должен найти особую линию, ни на что не похожую.

В его книге главными персонажами были муж и жена — люди самостоятельные, не нуждающиеся в деньгах. Муж был ответственным чиновником в министерстве иностранных дел одного государства, жена — свободной художницей. У них были тайные хобби. У него — привидения, как это ни странно. Он делал их из пластмассы. Они могли передвигаться, выть, хохотать загробным басом, светиться и рыдать. Он продавал их владельцам старых замков, и они имели успех, особенно в странах Севера. Кроме того, для себя он изобрел способ передавать на известное расстояние фотографии своих знакомых, превращая их в бесплотные тени, смущающие и пугающие своим правдоподобием.

Ее же хобби было колдовство на самом высшем современ-

ном уровне, недаром она была заместительницей председательницы Всеевропейского союза прогрессивных ведьм.

После многих ссор, главным образом в постели, изображенных изысканно и откровенно, они разошлись и стали мстить друг другу утонченными способами. Он — путем разных усовершенствованных зеркал и передач на расстоянии,— стал придавать ее облик привидениям и пускал в ход эти тени своей бывшей жены в обращение в самых неподходящих местах — в танцевальных залах, на приемах, в гостиных, где ее хорошо знали. Смущая присутствующих, появлялась среди них всем известная дама в обнаженном виде и производила большое впечатление.

Она мстила ему тем, что свое хобби — власть просвещенной ведьмы — пускала в ход против него, и в его доме начали твориться разные странности. Вещи двигались сами, выказывая враждебность,— раз даже шкаф напал на него, как бандит; стены издавали демонический хохот ночью, рядом с постелью, где он был не один... Постепенно игрой теней становилась сама жизнь. Женщины, мужчины превратились в тени, проносящиеся в жутком смешении призрачного и действительного. Этого и хотел автор. Мир рассыпался, и его уже нельзя было собрать снова в целое. Полный иллюзий, окруженный видениями, он стал зыбким и шел к катастрофе. Людьми овладела апатия или тревога. Но все же надо было как-то кончать произведение. И, перепутав все и поставив разные государства на грань атомной войны, дипломат-изобретатель погибал в автомобильной катастрофе. По воле автора с ним было покончено.

Но оставалась жена-ведьма, и от нее надо тоже было отделаться. Она влюблялась в любителя-летчика, богача, который вел себя, конечно, очень странно. Его спортивный самолет носил женское имя «Элла», и он признался своей новой возлюбленной, что самолет — одушевленное существо, влюбленное в него и ревнующее его к ведьме.

Сцена последнего объяснения происходила в Сахаре. Новая любовница поклялась, что, как ведьма, силой своего колдовства она погубит соперницу. Над Сахарой в воздухе началась их жуткая битва. Ведьма, вызвав песчаную бурю на голову врагини, не могла с ней управиться, и гибли все — и летчик, и ведьма, и самолет-оборотень.

И только их тени, отраженные облаками, проносились над Африкой и Европой. Такова была «Игра теней» — творение удачливого Якова Бомпера. Книга разошлась в Европе и

в Америке. Отрывки передавались по радио и телевидению. Какой-то продюсер предложил экранизировать произведение. Пока Ив Шведенер торговал в печати засушенными человеческими головами с Амазонки и африканскими заговорами на скорую руку, Яков Бомпер получил изрядные деньги. Проживая их с похвальной осторожностью, он признался Шведенеру, что ему нужен новый сюжет, еще более поразительный. Шведенер, хорошо знавший Индию, сказал, что лучше Индии нет страны, где ошеломляющие сюжеты валяются просто на дороге.

И вот они сидели в «Моти Махале», и перед ними сменялись тарелки со всякими вкусными блюдами, где рис, рыба, шашлыки, курица, сдобренные крепчайшими соусами и карри, являли все богатства индийской кухни. Они запивали кушанья коньяком, с оглядкой наливая его в крошечные чашечки из маленького, украшенного желтыми розами чайничка, как будто пили крепкий чай.

В «Моти Махале» пить алкогольные напитки запрещалось, да и вообще в городе их продавали иностранцам в определенные дни и по такой цене, что бутылка джина или виски могла поглотить месячное жалованье иного низшего служащего. Шведенеру, как постоянному посетителю, сделали уступку — налили принесенный им коньяк в чайничек.

Шведенер смотрел с восхищением на своего друга, так преуспевшего и так обогнавшего его в своей карьере. Яков Бомпер, вообще от природы очень смуглый (его мать была итальянка с юга Италии), под индийским солнцем еще более потемневший, со своими черными, короткими усами, очень походил на интеллигентного индийца, и поэтому не удивительно, что на него так внимательно смотрел какой-то гость, сидевший в небольшой компании, через несколько столиков от них.

— Ну, как Калькутта? — спросил Шведенер.— Каков индийский Вавилон? Тысяча сюжетов?

Яков Бомпер налил себе новую чашечку коньяку из чайничка.

— Можно было не приезжать,— сказал он, горько усмехнувшись,— это скука, скука, сводящая скулы, скука бесчисленных человеческих тел, однообразно полуголых и голых, скука душных ночей скучного ада...

Шведенер был удивлен и пробовал возразить:

— Но все же есть там и кое-что. Ну, например, храм джайнов. Ты видел его?

— Храм джайнов! — усмехнулся Бомпер.— Это, пожа-

луй, смешно. Скучно и смешно. Там стоят боги, похожие на пожарных, в касках. Там львы, опирающиеся на шары, и павильончики, как на выставке в маленьком французском провинциальном городке... Откуда они достали эту дешевку? Был я в храме Кали — вонючие козлы, черные, с красными глазами алкоголиков. От их запаха тошнит за десять шагов. А улицы, там прыгающие, ползающие уроды хватают за ноги, нищие клянчат со всех сторон, а реклама как во всех городах мира. А Бенарес! — серая икра грязных тел в воде Ганга, отвратительные костры, мертвые, полумертвые сумасшедшие, совершенно голые, и тут же надписи: «Берегись карманных воров». Правда, перед коровами останавливают трамвай. Их украшают цветами, как кинозвезд. Мажут разными мазями фаллусы всех цветов и размеров. Но про это я читал давно в книжках, еще в школе. Интересно ввести бы это у нас в Женеве, перед фонтаном на озере... Скучно, скучно, черт возьми! Я зол, как никогда. Мне жаль растраченное зря время. Сюжеты? Какие тут сюжеты? Ты еще скажешь мне про Рамайяну. У нас век атома и стриптиза...

— Но подожди,— воскликнул Ив Шведенер,— ты же хотел все это видеть! Ты же умолял меня показать тебе Индию. Ты же был так увлечен. Помнишь виллу того богача, с которым я тебя познакомил в Женеве. Ты был в упоении от вечера. Вспомни, на чем основывалось твое желание немедленно ехать в Индию и видеть ее тайны, которые должны быть сюжетом новой книги — необыкновенной, удивительной. Ты же сам говорил, что будешь писать о том, о чем в Европе даже не подозревают... Вспомни, пожалуйста. Ведь это же все было с тобой...

Да, он вспомнил тот вечер, когда Шведенер привез его на виллу индийского богача, которая стояла высоко над озером. Это был странный, как сновидение, дом, точно перенесенный из предгорий Кашмира. В нем было все, что должно было говорить европейцу о восточном стиле. Низкие, широкие диваны, маленькие столики с инкрустацией, фигурки неизвестных изящных божков, непонятные благовония, ковры, разноцветное освещение комнат, книжные полки, покоящиеся на спинах крошечных слонов.

Гостей было немного. Под стать важному хозяину они тоже были титулованными особами. Темнолицые слуги бесшумно разносили превкусные индийские штучки. Пили виски, вино, разные соки. Ели плоды душистого манго и мороженое. С террасы открывался вид на вечерний город. Внизу уже

сверкали огни. Их было много. Они были все разные. Казалось, что Женева опутана нитями ожерелий, небрежно брошенными на землю, на живописные склоны холмов и гор. Закат над горами отгорел. Жара спала.

В прохладном воздухе пахло дождем. Где-то у Монблана в дальних горах была гроза. Далеко светились зеленые молнии. Небо в муаровых облаках с розовыми разливами спускалось все ниже. Земля сливалась с облаками. Потемневшей латунью в глубине под ногами лежало большое уснувшее озеро.

Снизу, на склоне, внезапно появившись из-за розовых кустов, к террасе шли мужчина и женщина, легкие, как призраки, и условные, как этот вечер. Женщина была в темном, с золотистыми искрами, сари, мужчина в черном сюртучке, с тонкой тросточкой. Голова женщины светилась, потому что в волосы были вколоты белые цветы жасмина.

Конечно, этот вечер звал куда-то, был полон трепета новых ощущений. В нем было столько же фантазии, сколько ее отсутствует здесь. Здесь сидели индийцы, много людей в белых одеждах, пили такие же соки, какие пили там, ели те же кушанья, что подавались и там,— а какая огромная разница между той неведомой Индией в Женеве и этой, которая воочию здесь. И его еще разглядывает какой-то неприятного вида человек с угрюмыми глазами, как будто решает — индиец Бомпер или европеец.

Он вздохнул, и Шведенер засмеялся:

— Но ведь пейзаж там, на вилле в Женеве, не может сравниться с пейзажами, когда ты ехал из Бенареса в Дели?

— Пейзажи! — Бомпер безнадежно взмахнул рукой, точно отмахивался от скучного видения. Он закрыл глаза и представил себе, как он ехал целый день, нескончаемый день, по мирной, тихой Гангской долине. Поля сменялись рощами, кое-где вставали рыжие холмы, иногда река приближалась к поезду, и был виден желтый Ганг, широкий, с отмелями, с островами, с плоскими берегами, широкими затонами. В поле народу было мало. Кое-где стада — овцы, буйволы, козы. Иногда попадались верблюды. На вокзалах разносили чай, везли тележки со всякой горячей пищей, оглушительно кричали носильщики, чинно и как-то даже приниженно шли смазчики в черных костюмах. Бомпер видел вывески, говорящие, что имеется комната, где буфет с мясом, не вегетарианский. Люди были одеты и раздеты по-разному. Жара на вокзале пахла раскаленным металлом и красками.

Потом снова поезд набирал скорость. Проходили дома с

черепичными крышами, сменяясь после постройками, похожими на склады. Глинобитные стены без окон, плоские крыши. Попадались гробницы — маленькие мазары. В тени одиноких деревьев сидели люди. Это пешеходы, присевшие отдохнуть. Женщины стирали белье в маленьких прудах, где обязательно в стороне стоял аист или марабу на одной ноге. Дети барахтались в лужах. Потом долина стала желтая, пошли рощи, луга.

Вечерело. Все уходило в сумрак, без движения, без огней, без звуков. Он ехал как в полусне. Дали становились невидимыми, только еще кусты и деревья у самой насыпи можно было различить, и черноту отдельных ветвей, свободных от листвы, и крону одинокой пальмы.

Сидящий под пальмой пилигрим в такой час, наверно, погружался в какую-то нирвану, сладостную и беззвучную.

Темнота сгустилась мгновенно. И уже синяя ночь с яркими звездами опустилась на землю. Потом в темноте замерцали огни. Поезд прошел с грохотом по нескольким мостам, перекинутым через протоки Джамны. Появилось много розовых и зеленых огней, бежавших навстречу. Это был Дели...

Яков Бомпер чокнулся чашечками со Шведенером.

— Выпьем за преодоление скуки, охватившей мир. Ты мне говорил: тысяча сюжетов. Где хоть один, подобный моему замечательному, давшему мне известность шедевру: «Игра теней».

Он выпил, раскусил перец, и огонь, как кинжал, ударил его в нёбо. Он схватил белые анисовые кругляшки с сахаром, но огонь жег его рот, и он выплюнул анис с гримасой страдания.

Шведенер выпил свою чашечку и сразу налил еще.

— Твоя книга, скажем между нами,— достижение модного увлечения. Да, она имела успех. В этом ей нельзя отказать. И фильм, если будет, будет самый игровой. Привидения в стриптизе еще никто не видел...— Шведенер, довольный собой, аккуратный, румянощекий, похожий на француза-коммерсанта, носящий такие же короткие усы, как и Бомпер, с улыбкой поднял палец: — Ты поразил, но можешь ли ты поразить еще раз? Не было ли это просто удачей, сознаемся,— это ведь не изобретение нового стиля. Это распад стиля... А что будет дальше?

Бомпер принял вызов.

— Видишь, я писал книгу с намерением, тщательно избегая всего обычного. Растворение личности, игра теней —

вся эта наносная зыбкая пелена угрозы и будущего уничтожения, вся эта осыпь старых понятий и туман сегодняшней действительности — все это вещи, которые пугают и привлекают в одно и то же время. Общество просто жаждет, особенно молодежь, сумасшедшей чувственности, ужасов, смены вкусов. У нас эпоха эротических, философских, политических миражей. А тут? Какой Индией ты хочешь меня поразить? Я пришел по Чанди Чок. Что я увидел? Те же радиоприемники, самопишущие ручки, патефонные пластинки, телевизоры, электрические бритвы и утюги, как всюду в Европе, в Африке... Типичный шум и гам Востока — это уже вчерашний день. У нас в Европе есть хоть какое-то своеобразие в наших пороках, в нашем разложении. Чего стоят хотя бы наши блузон-нуары с их дикими выходками и их сексуально распущенные девчонки. А тут что?

— Подожди,— сказал Шведенер,— здесь тоже дойдет до этого. Уже на Коннот-Плейс есть и дорогие рестораны с европейскими блюдами, и ночные ревю, есть джазы...

— Хо-хо! Джазы в Дели! Удивил, братец!

— Но слушай, Яков, здесь можно найти притончики, как в любом европейском городе, еще почище...

— Это все не то.— Бомпер сломал сигарету и бросил ее.— Что за город, где на улице нет пьяных ни днем, ни ночью...

Шведенер сказал иронически:

— Ты можешь написать статью под заголовком: «Я обвиняю!» Обвиняй дальше!

— Пожалуйста! С девушкой нельзя зайти в кафе. Тебя выпроводят в отдельную комнату. От соблазна. В кафе молодежь, как овечки, пьет чай и так сидит часами. Из фильмов, сказали мне, вырезают все поцелуи, я уже не говорю о другом. Вот уж скука так скука.— Он посмотрел в зал: — Нет, этот абориген начинает меня раздражать. Он что, изучает меня? Не хватает еще, чтобы он оказался сумасшедшим или фанатиком...

— Тебе кажется, что он тебя изучает,— ответил Шведенер,— они просто все очень любопытны и своеобразны. Тут ведь нравы как в детской сказке. Я тебе скажу, что здесь бывает такое, что в нашей старушке Европе дети будут смеяться. Приехал один неопытный молодой человек сюда на работу в некое посольство. Это не играет роли. Живет он одиноко в своей комнате. Спать не может, потому что в наружной нише, над окном, поселилась пара сов, и молодая сова

пилит всю ночь своего супруга. Приезжий терпел, терпел, мочи нет, взял камень и швырнул его в совиное гнездо. Утром оказалось, что он убил сварливую совиху. Он успокоился, но заметил, что с этого дня туземная прислуга стала саботировать и презирать его. Потом его позвал посол и сказал: «Молодой человек, в этой стране не убивают животных. Зачем вы это сделали? Пусть это будет в последний раз». Он раскаялся и просил прощения. Но в душе был рад, что избавился от кошмара. Несколько времени все шло хорошо. Однажды ночью снова раздался знакомый крик и шум. Ему показалось, что прилетел призрак строптивой совы; оказывается, молодой сыч привел новую жену, но у нее были все повадки старой. Что же делать теперь? Убивать уже больше нельзя. Он позвал сторожа, дал ему денег, и тот перенес обеих птиц в новое гнездо, подальше от обиталища молодого человека. Вот это разве не сюжет?

— Анекдот,— сказал Бомпер.

— Это не анекдот — это было со мной,— сказал Шведенер.

— Все равно идиотизм.— Бомпер зевнул.— Все это нестерпимо скучно. Я подожду еще немного и буду в положении того туриста, который объехал полсвета и сказал после поездки: я мог бы все это почувствовать, никуда не выезжая. Слушай, Ив, у тебя дома есть что-нибудь спиртное? Мне хочется еще посидеть и выпить, но мне надоело пить тайком из чайника, хотя это единственное смешное явление в этой кромешной тоске...

— У меня, конечно, есть кое-что. Мне самому надоело лакать, как котенок, из чашечки...

— Тогда поедем!

Они расплатились и покинули «Моти Махал». На стоянке они отыскали машину Шведенера.

— Как видишь,— сказал Ив,— теперь у меня не «Линкольн континенталь», а наша цюрихская «Симка», но она меня вполне устраивает. Садись!

Дом, в котором жил Шведенер, был у самой проезжей дороги. Далеко за дорогу уходили густые заросли, а немного в стороне виднелась стена полуразрушенного древнего форта.

Они сидели на открытой небольшой террасе, пили, курили и болтали, как во времена молодости. Бомпер с наслаждением потягивал виски и говорил:

— Ну, смотри, как хорошо, никого нет. Никакой фанатик не рассматривает тебя с непонятными намерениями.

Можно не наливать, оглядываясь, из чайника. Подумать только, расскажи нашей братии дома, никто не поверит. И все же, дорогой Ив, ты неправ...

— В чем я неправ?

— Ты говорил, что моя книга потому только имела успех, что она удачно отвечала настроению читателей. Это не так. Настроения проходят, а это процесс, уже идущий и чем-то знаменательный, так как имеет распространение. Мой сюжет освещает какие-то неизвестные стороны жизни, как фото обратной стороны Луны,— обратную, невидимую сторону нашего существования. Все хотят безумно нового, небывалого. Возьми женщин... Всегда были моды, и они сменялись от сезона к сезону. Но я недавно встретил над нашей зеленой, мирной, патриархальной Арвой женщин с раскрашенными лицами. На их лбах и щеках были квадраты, и розы, и ромбы разного цвета. Сегодня это были одиночки — завтра так будет с миллионами женщин. А посмотри, что делается с женской одеждой в старой, но омолаживающейся Европе. Объявлено, что скоро появятся платья, издающие музыкальные звоны на разные тона. Появятся платья будущего — самохолодящие и самообогревающие одежды. Все это вполне реально. И чудеса бытовых открытий, и наука — все идет к неведомым дорогам будущего. А удивительное всемирное увлечение суперменами и космическими романами! Это все неспроста. Мне нужен новый сюжет, сногсшибательный, потрясающий сюжет в развитии той линии, что я так удачно начал в своей книге «Игра теней».

Шведенер развел руками. Он никогда не мог ничего придумать ни смешного, ни трагического.

— Что же мы будем делать, дорогой Яков? Где же мы найдем эту пеструю птицу? Но мы, конечно, поищем. Твое здоровье, дружище! Чтобы в Индии не оказалось дьявольски чудовищного... В это я не верю... Что с тобой?

Яков Бомпер смотрел в сторону кустарников, стоявших черной стеной через дорогу. Оттуда слышались шорохи, которые то исчезали, то появлялись и росли в самых разных направлениях. Казалось, будто какое-то животное хотело преодолеть колючие и ползучие ветви зарослей, в которых запуталось.

Шведенер прислушался тоже и захохотал.

— Ах, это,— сказал он,— можешь не опасаться за свою жизнь. Это не тигры. Это всего-навсего обезьяны. Их здесь сколько хочешь. Я все убираю с террасы из-за них. Когда

стемнеет, они ходят всюду и тащат все, что попадется. И удирают в свои логовища, в эти непролазные кусты. Вонючий, воровской народец. И нет на него управы. Стрелять в них нельзя, ловушки ставить — тоже. В Европе из них давно бы сделали перчатки или модные консервы, а тут, видишь, так было, так будет...

Они вернулись к своим стаканам.

— Я все думаю, как помочь тебе в поисках сюжета. Буду думать. Разыщу кое-кого — пошлю к тебе разных умников... Не сердись, что я не смог поехать с тобой в Калькутту. Будь я там, я кое-что нашел бы, кроме храма джайнов, для тебя и молодящейся американки...

— А, ты уже знаешь. Ну, какое это приключение? Я едва отвязался от нее и не потащился в какие-то храмы, где, она говорила, только одни неприличные изображения. Она хотела разогреть свое пресыщенное воображение, но мне ее хватило на неделю. Черт с ней! Она подобрала какого-то ученого статистика...

Было уже поздно, когда Шведенер отвез Бомпера в его отель. Стояло время васанты, условно называемой индийской весны. Это дни с середины марта до середины мая. Восхитительное время, когда звезды кажутся ярче, ближе к земле, когда вокруг много цветущих деревьев и жара смягчает свое душное тиранство.

В номере была тишина и прохлада. Бомпер только теперь почувствовал усталость от дороги, принял ванну и лег в кровать. Но заснуть сразу он не мог. Он взглянул на потолок и увидел желтое пятно. Пятно шевелилось. Он перевел взгляд на стену. Там под самым карнизом бегало что-то желтое. По соседней стене взметнулась светло-песчаная ящерица. За ней — вторая. Это были всего-навсего домашние гекконы, которых много повсюду в Индии.

Но хотя Бомпер знал про них и видел их много раз, он снова содрогнулся от отвращения и закрылся с головой одеялом.

Поток белых фигур на велосипедах казался нескончаемым. То они мчались широкими рядами, заполняя всю ширину улицы, то вдруг растягивались цепочкой, и тогда было видно, что на иных велосипедах едут по два, даже по три человека. Тысячи мелких служащих и чиновников Нью-Дели ехали на работу. Каждый день на утренней ранней прогулке

Яков Бомпер видел это зрелище. Оно рождало в нем какое-то неясное ощущение, и, если бы у него был под рукой велосипед, он, не раздумывая, присоединился бы к этой массе. Он не верил тому, что они все спешат по определенным адресам, к определенным зданиям, где разойдутся по комнатам канцелярий, банков, контор или уйдут в лавки, в магазины и станут за прилавками и будут разговаривать с посетителями. Ему начинало казаться, что это не так, что они едут за город, на зов какого-то всемогущего существа, которое не возвращает их обратно в город, они больше никогда не вернутся, а вместо них завтра поедут другие, и так день за днем будет продолжаться это бегство из города, пока Дели не опустеет. Промчится последний велосипед, и настанет очередь автомобилей, и тогда по утрам будут мчаться грузовики, машины всех марок, перегруженные пассажирами, которые не знают, что они мчатся к пропасти, от которой нет спасения.

Когда мозг Якова Бомпера начинал поиски невероятного, когда его воображение изменяло окружающий мир, превращая каждый предмет в игрушку, он мог зайти далеко в своих мечтаниях.

Он останавливался, замирая, у разложенных на газоне разноцветных ожерелий из сердолика, агата, яшмы,— ожерелий, где тепло светились красные, зеленые, желтые неизвестных ему пород камни, смотрел жадными глазами на серебряные браслеты с позеленевшей, покрытой мелкими трещинами бирюзой, тяжелые кольца, медные кувшинчики, брошки, древние обломки с чуть видными рисунками, бронзовые коробочки для хранения притираний и талисманов. Над этими товарами стояли мрачные выходцы из далекого Ладака, малого Тибета, одетые, как монахи, а их женщины, тоже в черных платьях, с толстыми платками на головах, сидели, глядя на остановившихся пешеходов глазами заклинательниц.

Их неподвижные позы, их каменные лица не предвещали ничего доброго. И опять Яков Бомпер уносился куда-то в сторону от этого такого обыкновенного уличного базарчика. Ему казалось, что эти люди притворяются. И совсем не затем пришли они из далеких своих ущелий сюда, в столицу, чтобы продавать обломки старых сосудов и ожерелья из камней, выглаженных горными речками. В их угрюмых лицах можно было прочитать о какой-то древней трагедии, жертвами которой стали когда-то их предки, а теперь они отбывают бесконечные годы наказание за преступление, смысл которого потерян. И никто не помнит, за что осуждены эти люди, кото-

рые из своих уединенных мест приходят в обыкновенный сегодняшний город и предлагают странные вещи случайным покупателям. И люди, приехавшие из самых дальних стран, охотно покупают все эти камни и бронзовые и серебряные вещицы. И опять горцы уходят в горы, чтобы принести новые ожерелья и кольца, изготовленные старыми мастерами. Это тоже бег времени, похожий на бесконечное стремление велосипедистов — промчаться утром по пустым улицам. Только те были во всем белом, а эти во всем черном... Тут уже начиналась какая-то тайна. И, думая об этом, Бомпер возвращался в гостиницу, совершив прогулку. Его не интересовали одиночные фигуры прохожих. Какое-то дерево, все усыпанное алыми цветами, без листьев, как факел горело перед ним, но он, почти не заметив его, прошел мимо. Оно ему ничего не говорило.

У себя в номере он сел за стол и вынул книжку в синем мягком переплете. Это была его любимая записная книжка, с которой он не расставался. Любой человек был бы поражен отрывочностью, беспорядочностью этих записей. Там вперемежку, среди телефонов разных городов Швейцарии, и не только Швейцарии, адресов многих мужчин и женщин, были вклеены газетные вырезки, значение которых понятно было только хозяину записной книжки; за анекдотами и песенками снова шли телефоны, длинные и короткие заметки, нарочно написанные неразборчивым почерком или просто зашифрованные, записи ощущений, пейзажей, настроений, целые сценки, выписки из книг, изречения, мало что говорившие постороннему и полные смысла только для Бомпера.

Казалось, он нарочно дробит записи или так анализирует их, чтобы скрыть их настоящий смысл.

Сейчас он записал довольно отрывочно слышанный им позавчера рассказ Ива Шведенера о молодом человеке, не ужившемся с совами, затем вспомнил что-то калькуттское, о чем он забыл и сейчас счел нужным записать. Он писал твердым почерком широким пером:

«Я видел, как у окна ювелирного магазина, в тени под навесом из полосатой ткани, стоял большой черный бык и не мигая смотрел на богатства, выставленные на витрине. Солнечные лучи проходили сквозь щелки в навесе и играли на драгоценных камнях в футлярах. Зеленые, рубиновые, алмазные огни вспыхивали в разных местах витрины, и бык переводил глаза с футляра на футляр, наморщив большой широкий лоб и сжав замшевые губы. Он не обращал внима-

ния на толпу пешеходов, которая, не смея побеспокоить, обходила его, стараясь не задеть. Я ехал по делу, и, когда возвращался через два часа, мне захотелось посмотреть, что стало с быком. Он стоял там же в полной неподвижности, только глаза его переносились с одного украшения на другое, как будто сияние драгоценных камней загипнотизировало его. Он был божественно прекрасен. Я понял, кто он. Он — Юпитер, собирающийся снова похитить Европу, и выбирающий, какое ожерелье ей подарить, и все никак не могущий решить — какое. Камни горели олимпийскими блесками.

Утром я уезжал на аэродром. В лилейном сумраке наступающего дня автомобиль уже проезжал предместьями, город остался позади. Пошли жалкие лавчонки под старыми искривленными деревьями. Я велел остановиться. Я вышел из машины и пошел к ближайшей лавчонке. Она была закрыта. Людей не было. Но от самых дверей начиналась очередь коров. Одни из них лежали на траве, другие стояли и смотрели сонно на дорогу. Они не мычали, ждали молча, совсем как в человеческой очереди, где одни женщины вяжут, другие читают газету, третьи дремлют. Но это были коровы. Чего ждали они? И в этой же очереди, скромно, как полагается толстому мужчине, стоял бык. Я узнал его. Это был мой Юпитер. Как он поблек! Ничего божественного в нем не было. Он был жалок на фоне этих уверенных матрон, не обращавших на него внимания.

— Что это такое? — спросил я у шофера.

— Это лавка,— ответил он,— где продают зелень. Придет хозяин и они выберут себе овощи, какие получше, съедят их и пойдут в город на весь день. А он начнет торговлю. Таков порядок...

— Какое же молоко у этих коров? — спросил я словоохотливого шофера.

Он засмеялся:

— Какое молоко может быть у коров, которые целый день шляются по магазинам...

И мой Юпитер стоял в очереди...»

Бомпер перевернул страницу и записал другое:

«Никогда не думал, что в Ганге водятся дельфины. Он называется «сусук» или гангский дельфин. Сверху он серовато-черного, снизу — грязно-белого цвета, длиной до двух метров. Он плавает в Ганге и в его притоках. У него нет глаз. Это так кажется. Их, правда, трудно найти. Они спрятаны в складки толстой кожи. Вода грязная и желто-мутная, и он

не смог бы очистить глаза от грязи, если бы не прятал их глубоко в кожу... Так и у меня глаза внутреннего зрения спрятаны от того, чтобы их не залепила муть нашей человеческой цивилизации. А простые глаза я не берегу. Муть жизни так сильна, что я плохо вижу сквозь нее, если бы не внутреннее зрение».

Когда он кончил свои записи и убрал книжку в карман, перехватив ее толстой резинкой, в дверь осторожно постучали. Вошел неизвестный человек, в очках, среднего роста, в темно-сером европейском костюме, с задумчивыми глазами, добрым лицом, с хорошей простой улыбкой.

Этот индиец с вежливыми мягкими жестами приветствовал Бомпера, как старого знакомого.

— Вас прислал Шведенер? — спросил Бомпер, так как никого не ждал.

— К сожалению,— сказал с подчеркнутой вежливостью вошедший,— я не знаю никакого мистера Шведенера.

— Но вы пришли с каким-нибудь предложением?

Гость с достоинством улыбнулся:

— У меня нет никакого предложения, мистер Бомпер. Я не ошибся — вы мистер Бомпер?

— Да, это я, но я не имею чести вас знать...

— Меня зовут Рамачария. Я знаю вашу книгу «Игра теней». Вы написали ее?

— Я! — Бомпер пригласил гостя сесть. Теперь он вспомнил этого индийского писателя, про которого что-то смутно слышал, но книг его, конечно, никаких не читал. И даже не мог бы сказать, о чем он пишет вообще и давно ли он писатель.

Бомпер закурил и предложил сигареты гостю, но тот, поблагодарив, отказался. Рамачария рассматривал его с дружеским вниманием. Потом он заговорил спокойно, медленно, с уважением:

— Простите, что я пришел к вам без приглашения для того, чтобы приветствовать ваш приезд в Индию. Я прочел вашу книгу. Теперь мне понятно, в каких поисках обновления духовного мира вы приехали в Индию. Я слышал, что в Европе сейчас увлекаются индийской философией, даже изучают систему дыхания йогов. Но, говоря серьезно, вас ждет в Индии прекрасный жизненный материал. Мы, индийские писатели, много пишем о своей стране, но голос европейского писателя — совсем другое. У него другой авторитет, его свидетельство о жизни нашей страны приобретает миро-

вое значение. Мы вам покажем Индию такую, какая она есть. Мы ничего не будем прятать от вас. Вы узнаете радости и печали нашего великого народа...

Бомпер хотел возразить, по гость твердо сделал просительный жест — не прерывать его — и снова заговорил:

— Еще великий наш учитель Ганди сказал в свое время: «Я хочу такого искусства и такой литературы, которые могут говорить с миллионами». Наш народ страстно жаждет просвещения, света науки, в народной массе таятся сотни, тысячи настоящих талантов, которые еще покажут себя всему миру. Но как трудно живется сейчас народу! Я знаю, что всюду трудно, что три пятых человечества голодают. Ученые считают белковый голод самым опасным видом голода. Минимальная дневная потребность в белках человека — это семьдесят граммов животного и растительного белка. В Индии среднее потребление белков — всего шесть граммов в день, в то время как, например, в Японии — двадцать три грамма. В стране страшная нищета. Три миллиона туберкулезных. От постоянного недоедания даже животные становятся меньше ростом. Посмотрите, в Бихаре какие ослы — вы их примете за большую собаку. Голод — последствие жуткой засухи — уносит неисчислимые жертвы. Такой засухи не знали пятьдесят лет... У крестьян нет земли...

— Зачем вы мне все это говорите? — воскликнул, прервав его речь, Бомпер.— Какое отношение это имеет к литературе?

— Прямое, мистер Бомпер, самое прямое, демократия только тогда имеет власть в жизни, когда ее можно назвать экономической демократией. Надо именно рассказывать о помещиках, о ростовщиках, о спекулянтах, которые перекупают и прячут хлеб. О реакции, она против реформ, которые должны дать крестьянину землю. Сколько их, пустых земель, по всей стране! Надо дать землю и воду крестьянам...

Бомпер больше не мог выдержать. Он рассердился. Он ходил по комнате, потом снова сел.

— Зачем вы все это мне говорите? — повторил он.— Я не врач, чтобы исцелять больных, я не социолог, чтобы изучать недостатки вашего социального строя...

Индиец возразил невозмутимо:

— Но вы в вашем новом романе, в новой книге скажете всем об этом. И я вам помогу собрать великолепный материал, чтобы только правда в нем говорила полным голосом. Вы должны разбудить людей для больших исторических дел,

для работ, которые поднимут миллионы на высоту современной жизни. Вы написали условную книгу — сказку, теперь вы создадите реалистический роман о том, как человек рвет путы, сковывающие его жизнь, его будущее...

Бомпер засмеялся почти добродушно. Ему показалось, что один из тех утренних велосипедистов вошел к нему, чтобы сказать, что он не хочет ехать к далекому горизонту и просит разрешения сломать свой велосипед.

— Почему вы смеетесь? — спросил, удивившись его смеху, Рамачария.— Вам, может быть, смешно, что я, индийский писатель, прошу вас написать роман, который мы должны были бы написать сами? Мы пишем, хотя я сознаюсь вам совершенно искренне, что еще не так хорошо знаем жизнь наших рабочих, но мы, я скажу не без гордости, мы имеем произведения мирового значения. Но раз вы здесь и будете писать об Индии — вы не можете плохо написать о людях нашей страны...

Бомпер нахмурился. Как заблуждается этот, по-видимому, добрый человек, называющий себя писателем.

— Послушайте,— сказал он, стараясь говорить медленно чтобы в его словах не было обидного волнения и нажима,— вы слышали, что такое антигуманизм?

— Это что-то направленное против человека? — спросил Рамачария.

— Совершенно верно. Я хочу вам пояснить. Человек больше не центр мировой жизни. Вы сами говорите — он в массе голоден, нищ, грязен, болен. Так повсюду. Герой — это деталь прихоти воображения. Литература не имеет никакого соприкосновения с действительностью, с политикой. Все прошлые века перемолоты, и пыль развеяна. Мы сейчас в том периоде, когда человечество сменяет все, вплоть до отношения к космосу, к богу, к ощущению окружающего мира, к женщине, к морали, ко всем отмирающим чувствам. Чем больше будет хаоса, тем скорее явится новый мир.

Роман, о котором вы говорите, пригоден для кого? Европа настолько ушла вперед, далеко ушла, что возвращаться к содержанию, взятому из так называемой народной жизни,— это нечто такое, элементарнее чего трудно себе представить. Зачем роману нужен человек? Какая чепуха — какое-то действие. Это все было в прошлом, которое стало предрассудком. Мы идем сквозь материальную сторону жизни, свободные от повседневности. Шестидесятые годы будут бессвязными, беспокойными, с энергией, растрачиваемой во все стороны.

Правда, для отсталой Азии такая форма, как бывший роман, еще сохраняет свою силу. Вы еще можете писать о человеке, но нам — передовым европейцам — человек ни к чему. Это тоже предрассудок. В мире наступила полная неустойчивость. Мир — это театр абсурда, это распад всего, что составляло ложное основание цивилизации. Мы, передовые писатели,— за распад. Пусть придет распад — в нем зерна будущего!

Он замолчал и смотрел, как Рамачария вынул платок и вытер пот со лба. Он был налит волнением, но сдерживался.

— Так вот что такое дегуманизация! — наконец сказал Рамачария.— Теперь мне кое-что ясно. Не все, нет, я, наверное, действительно отсталый человек.

— Да,— твердо сказал Бомпер, снова прохаживаясь перед гостем,— человек, повторяю, не центр жизни. Мы, как художники, должны встать над «человеческим». Искусство не обязано брать на себя защиту интересов человека. Сверхдействительное — единственное, что еще осталось,— мир сновидений!

— Но кто же вы? — спросил Рамачария, протирая свои очки и смотря на собеседника с жалостливой улыбкой.

— Я — проводник нечеловеческого! — ответил с вызовом Бомпер.

Рамачария грустно улыбнулся одними глазами.

— Я вижу,— сказал он после некоторой паузы,— что вы не отказываетесь от литературы, но вы все ваши усилия направляете на то, чтобы увести читателя, современного человека от реального мира с его глубокими трагическими проблемами. Вы хотите создать произведения-наркотики, полные литературного героина, которыми подмените настоящее искусство, но я не могу понять, зачем вам это нужно. Может быть, вы хотите, чтобы эти голодные люди впали в некий гипноз, вошли в мир призраков и забыли о том, что за стенами, например, кино, где кинофицированы ваши книги, где им покажут мир снов, есть жестокая, беспощадная жизнь? Вы хотите, чтобы ваши читатели усыпляли себя сонной лихорадкой и скользили, усыпленные вами, в бездну, которая вполне реальна, потому что это бездна социальной несправедливости, бездна рабства и унижения человеческого духа...

Бомпер даже замахал руками перед лицом своего противника.

— Послушайте, я не хочу ничего знать ни о коррупции, ни о положении рабочего класса, ни о том, как укрепить ваш государственный сектор или как устранить голод в деревне,

где ослы стали ростом с собаку, я не хочу знать ваших отношений с капиталистами и ростовщиками или найти довод, чтобы Китай перестал угрожать Индии...

Рамачария встал. Он с достоинством поклонился и сказал, направляясь к двери:

— Мистер Бомпер! Иностранцы, приезжающие в Индию, привыкли называть ее страной чудес. Но сегодня я услышал чудеса, которые появились с Запада. Я желаю вам успеха в ваших сверхчеловеческих поисках...

— А я,— сказал Бомпер,— желаю вам кончать с чепухой о человеке. Напишите в старом духе роман и назовите его «Последний роман о человеке». Это будет сенсация, и вы станете всемирно известны!

Рамачария раскланялся и тихо вышел из комнаты, ничего не ответив.

Когда Яков Бомпер в своих сомнениях достиг предела, подводя итог бесцельной своей поездке, не обогатившей его никакими ошеломляющими открытиями, и решительно собирался прекратить дальнейшую растрату времени, появился Шри-гуша.

Он возник так неожиданно, бесшумно, незаметно, как будто вышел из стены. Обернувшись, Бомпер увидел перед собой человека, смотревшего на него с такой признательностью, с таким обожанием и с таким упорством, точно он давно был его преданным слугой и только особые обстоятельства разделили их в свое время, и теперь вновь наступило давно ожидаемое свидание.

Человек сказал:

— Намасте (здравствуйте). Я — Шри-гуша! — и сложил руки подобающим образом.

Что-то в этих приподнятых бровях, в жгучей темноте бронзового лица, в небритости щек, в черной, точно приклеенной шевелюре показалось Бомперу знакомым, и он от растерянности сказал:

— Ну и что!

Человек повел руками, приподнял плечи, сладко улыбнулся, сказал:

— Ача хай, шукрия (спасибо, хорошо)!

И тут Бомпер все вспомнил. Этот наглец тогда в «Моти Махале» рассматривал его так долго и откровенно, сидя за дальним столом. И чтобы ошеломить пришельца, он спросил:

— Это вы были в «Моти Махале» несколько дней назад? Я видел вас там и запомнил, да, запомнил. Это были вы?

Человек не выказал никакого удивления.

— Это был я! Я увидел вас со своим знакомым и долго решал, подойти или не мешать вашей беседе,— вот отчего я так смотрел на вас. И решил, что не подойду, не буду вам мешать...

— Так вы знаете Шведенера? — искренне удивляясь, спросил Бомпер. Так вот кого Ив послал к нему. Все было естественно.

— Да, я хорошо знаю вашего друга,— сказал Шри-гуша.

— Садитесь,— пригласил Бомпер и сам сел и предложил посетителю сигарету.

Тут же он вспомнил свой разговор с Рамачария и окинул подозрительным взглядом черный сюртучок и длинные узкие белые брюки Шри-гуши:

— А вы не писатель, не журналист? Как ваше настоящее имя? Как вас зовут — Шри-гуша?

— Шри-гуша,— с почти насмешливым полупоклоном ответил индиец.— Я не писатель. Писатель — вы, и вам нужны, как всякому писателю, особые переживания?

Лицо его стало непроницаемым. Он умолк, ожидая, что скажет Бомпер. И вдруг на Бомпера нашло раздражение. Он с некоторой резкостью начал говорить, что если Шри-гуша пришел предложить ему разные поездки и осмотры древностей, памятников, богов, разных Тадж-Махалов, то пусть поищет кого-нибудь в другом месте.

Шри-гуша осматривал его со спокойной сосредоточенностью.

— Вас интересуют живые ощущения,— сказал он без улыбки.— Начнем с самого легкого. Как мистер относится к красоткам и каких он предпочитает? Все прелести стран Востока к его услугам. И — Запада,— добавил он, помедлив.

«Однако,— подумал Бомпер,— это уж очень примитивно».

— Нет,— сказал он,— никаких красоток.

Шри-гуша не моргнул глазом.

— Восточные поэты хорошо воспевали то, что в таком спросе сегодня в свободном мире,— Ганимеды?

Бомпер удивился, но не показал удивления. Он сказал:

— Вы, видимо, где-то обучались по западному образцу. Откуда вы знаете про Ганимеда?

— Я окончил католическую школу... правда, не полный курс.

— Ганимеды не пойдут. Что еще?

— Есть очень просвещенные, богатые жены раджей. Это трудно, у них большие требования, но для такого знатного гостя я готов поискать...

Бомпер рассмеялся, представив в своих объятиях толстую размалеванную, в бриллиантах, красотку, у которой на крыле носа алмазная звездочка.

— Не ищите. Жены раджей — вчерашний день.

Шри-гуша пожал плечами.

— Я понимаю, что для писателя нужно что-то новое. Я могу свести с людьми, которые крадут девушек...

— Зачем? — спросил Бомпер.— Для себя, чтобы жениться на них?

В глазах Шри-гуши пробежал темный огонек.

— Нет, не для того. Девушек увозят в Сингапур. Их продают и дальше. Это опасное занятие. Если хотите познакомиться... Такие девушки бывают на вес золота.

Бомпер не заметил, как начал разговаривать со своим странным посетителем, как со слугой.

— Я вижу, уважаемый Шри-гуша,— сказал он насмешливо,— что у тебя большой выбор. Но я не занимаюсь ни гангстерскими фильмами, ни детективными романами.

— А я очень люблю детективы,— сказал Шри-гуша,— я хожу в кино только на них...

Бомпер пропустил эти слова мимо ушей.

— Что у тебя еще есть?

— Есть особые, ни на что не похожие удовольствия...

— Именно? Что ты хочешь предложить искушенному европейцу?

— Помимо того, что идет в ход сегодня в Европе и в Америке, кроме героина, которого везде много.

— А! Ты знаешь даже о героине?

— Шри-гуша не был бы Шри-гушей, если бы он не знал таких простых вещей. Кроме героина, ЛСД, опиума, гашиша, анаши, есть неизвестные, чисто индийские наркотики. Писатели любят их, я знаю. Вам они дадут такие переживания, какие вы нигде не получите. Устроит вас это? Подобного вы не найдете нигде в мире. Шри-гуше вы скажете благодарственные слова. Вы скажете: «Ты ввел меня в рай! Я не думал, что есть такое на земле...»

Бомперу стало весело. Он даже похлопал по плечу Шри-гушу, и странно — такое мягкое, вялое с виду плечо было железным, точно под сюртучком была кираса.

— Шри-гуша, несколько дней назад в этой комнате я сказал одному человеку, что литература Индии отстала. Теперь я вижу, что чудеса, которые ты предлагаешь, тоже вчерашнего употребления. Ни намека на что-то современное... вне обычной нормы...

Шри-гуша вздохнул, точно напрягая память и ища там нечто необыкновенное. Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза Бомперу:

— Я могу вам предложить то, чего нет в Европе и нигде...

— Что же это такое?

— Святая!

— Что? — сказал, не понимая, Бомпер.— Кого ты предлагаешь?

— Я предлагаю святую женщину!

— Что она из себя представляет? Старая ведьма?

Шри-гуша покачал головой:

— Она молода и она святая!

— Не надо святой, я не хочу святую, она пахнет ладаном,— усмехнулся Бомпер.— Я вижу, твой список кончается, Шри-гуша!

— Нет, мой список никогда не кончается,— упрямо сказал Шри-гуша.— Тогда не святая. Есть дочь баядерки и сама баядерка, танцует старые танцы, какие танцуют на стенах храмов в Каджурахо. Вы знаете, что это за танцы. И потом вы напишите свое имя, и она, как это делала и ее мать и бабушка, попросит лучшую татуировщицу перенести вашу подпись на свое тело, чтобы память о вас осталась навсегда. Если вы доставите ей удовольствие, ваше имя будет наколото поближе к сердцу. Это очень сенсационно! — неожиданно добавил он.

Бомпер стал серьезным.

— Прекрати, Шри-гуша, я понимаю, что все это заслуживает самого пристального внимания и все это стоит хороших денег. И многие иностранцы будут благодарны тебе, что ты введешь их в так называемые тайны Востока, о которых приятно вспоминать дома в дружеской мужской компании. Это есть в каждой стране. Но мне нужно такое, чего не бывает... Понимаешь, в чем разница?

— О! — Шри-гуша даже встал.— Я понимаю, чего вы хотите. Вам не интересны люди?

— Правильно, люди мне не интересны. Это ты угадал верно...

— Ача хай, тогда остаются животные...

— Животные? Что ты хочешь сказать, Шри-гуша?

— Заколдованный осел, священный гусь, священная утка — птицы богов и сами божества...

Бомпер захохотал. Он стоял посреди комнаты и хохотал, не сдерживаясь, а Шри-гуша с каменным лицом смотрел на него, не зная, что сказать.

В эту минуту раздался громкий женский крик. Кричала женщина где-то очень близко. Крик был испуганный и негодующий. Шри-гуша и Бомпер выбежали в коридор. На другой стороне коридора была настежь раскрыта дверь, и туда бежали люди.

Все они толпились у окна. Хозяйка комнаты — индианка с черными распущенными по плечам волосами, в золотистом сари, молодая, стройная, высокая, с выгнутыми бровями,— кричала, показывая в окно тонкими пальцами в перстнях:

— Вот кто вор! Вот кто украл! Смотрите! Смотрите!

Бомпер увидел зрелище, смешное и удивительное для него. Против окна, на карнизе противоположного фасада отеля, сидела небольшая рыжевато-серая обезьянка. Она держала в лапке зеркальце, а другой лапкой мазала себе помадой губы, попадала по носу, лизала помаду и тут же, положив ее рядом, хватала пудру и обмахивала себя пудрой, слизывая ее с лап и отплевываясь.

— Это моя помада, это моя пудреница! — кричала женщина.— Она украла, а я ведь думала на прислугу. Вот бессовестная. Отдай! — кричала она, как будто обезьяна могла понять, о чем она кричит. Обезьяна не обращала внимания на крик и наслаждалась своими приобретениями. На карнизе, свесив ноги, она показывала язык людям. Бомпер был единственным европейцем в комнате. Индийцы, вбежавшие при крике, постепенно удалились. Остались служащие отеля, которые переговаривались между собой. Но потом ушли и они.

Шри-гуша исчез так же неслышно, как появился. Бомпер смотрел с чувством школьника, наблюдающего за чужой дерзкой проказой. Он высказал свое сочувствие индианке. Она посмотрела на него большими испуганными и смеющимися глазами и начала поспешно говорить:

— Я заметила, что у меня сначала пропала пудреница, а потом и помада. А сегодня утром и зеркальце. Я думала — взяла прислуга. Но я не могла поверить, что в таком отеле прислуга способна на это. А сегодня подхожу к окну, и эта бестия сидит, и посмотрите, что она делает с моей помадой...

Тут она сказала без всякого перехода:

— Но вы не знаете, кто я. Простите! Меня зовут Мануэла Франческа Мария де Перейра. Меня можно звать просто Нуэлой. Вас я знаю, вы — Яков Бомпер.

— Откуда вам известно мое имя?

— Я видела ваш портрет в газете и читала ваше интервью.

— Да, это было,— сказал он не без удовольствия.

— Нет, посмотрите, что делает эта негодяйка! — снова закричала она. К обезьяне добиралась по карнизу другая, и при виде соперницы владелица пудреницы и зеркальца засунула их под хвост и села на них, а помаду запихала за щеку.

Бомпер, скрывая смех, взглянул на Нуэлу другими глазами. В своей бессильной ярости она грозила кулаком обезьяне, смотревшей на нее с сожалением и грустью. Нуэла призывала проклятия на голову похитительницы и была прекрасна, как те женщины, которые танцевали на фресках Эллора и в редких ночных ресторанах нового Дели...

Синяя записная книжка была раскрыта, и в нее было занесено посещение Шри-гуши с соответствующими комментариями и знакомство с Нуэлой. Бомпер писал: «Она очаровательна. В ней есть что-то от дикого зверька и искра древней цивилизации, занесенной на индийский материк воинственными соратниками Васко да Гамы. Она родилась в Гоа, который только недавно перестал быть колонией. Она из португальской старинной семьи. Ее мать знатная индианка, а отец богатый негоциант, умерший на Майорке, где он жил с ее матерью. Она так простодушно рассказывала о своем детстве под старыми баньянами, среди ручных попугаев и серн. Ее в семье почему-то прозвали Жузекой. Она приехала из Англии, где учится, навестить свою тетю и задержалась у знакомых и у друзей, каких у нее много в Дели. Она болтала так вкусно, так наивно, что от прежней ее злости ничего не осталось. Мы говорили о нравах животных. За завтраком, мы завтракали вместе, она смеялась проделкам этих маленьких лукавых хищниц-обезьянок, которые, влезая в открытые окна номеров с карниза, похищают всякие предметы. Слуги вернули Нуэле отнятые у обезьянки помаду, пудреницу и зеркальце. Помада была негодна к употреблению, пудра переменила цвет от соприкосновения с обезьяньей мордочкой, но зеркальце было цело. Оно было воспоминанием, и поэтому Нуэла была рада, что оно вернулось к ней.

Я рассказал Нуэле за ужином, мы вместе ужинали, что был в Париже свидетелем, как три обезьяны, считающиеся художниками, рисовали портрет восемнадцатилетней мисс Португалии, и это было очень мило. Они заглядывали в мольберты соседа и срисовывали то, что там было изображено фантазией их коллег. Они не были реалистической школы, но сама мисс Португалия чем-то походила на Нуэлу. Мой комплимент пришелся ей по душе. В ней есть очарование, а ее душные черные волосы — опьянение. В ней есть все, что нужно европейцу от дочери Индии и европейского юга. В конце концов, моя мать была итальянкой и тоже из мест еще южнее Португалии...»

Он писал: «Виделся со Шведенером. Были в гостях у его приятеля. Он советует ехать в Непал. Там есть снежный человек и далай-лама, бежавший туда из Лхассы. Из этого сочетания может получиться кое-что интересное. И там можно узнать про какую-то таинственную страну — Шамбалу, в которой никто не умирает. Боюсь, что это скучно, но можно попробовать».

Через несколько дней после первого посещения Шри-гуша пришел поздно вечером, когда Бомпер уже собирался спать. На этот раз он был мрачен и даже волосы его были всклокочены. Он имел вид тайного убийцы. Бомпер хотел было прогнать его, ссылаясь на поздний час, но Шри-гуша был так взволнован, что Бомпер молча указал ему на стул и стал ждать, что будет.

Шри-гуша начал глухим, невеселым голосом:

— Я много думал о нашем разговоре и должен принести свои глубокие извинения, я не понял всей глубины исканий такого большого писателя и знатока душ, как Бомпер. Теперь я хочу загладить свою вину и ошибку. Но теперь с вашей стороны,— сказал он.— нужна полная серьезность и даже клятва.

— Клятва, в чем? — скучно спросил Бомпер.— Опять какое-нибудь предложение? Я хочу спать!

— Если вы дадите клятву, что никто никогда об этом не узнает, я открою вам одну тайну, и она вас обогатит духовно, даст вам тему, какой еще не было ни у кого!

— Подумай, что ты говоришь, Шри-гуша. Ты даешь тему, чтобы я писал о тайне, и в то же время берешь клятву, чтобы я ни единым словом не выдал эту тайну.

— Вы,— сказал Шри-гуша,— в Индии не откроете никому этой тайны, а в Европе, где вы об этом напишете, это примут за ваше изобретение, и вам будет честь и слава...

Бомпер почесал нос. Его начала привлекать эта нахальная уверенность Шри-гуши.

— Но я должен знать, в чем дело. Давать клятву просто так — это похоже на розыгрыш.

Шри-гуша молитвенно сложил руки:

— Если не будет клятвы — ничего не будет.

Бомпер подумал, что для него, собственно говоря, для человека, лишенного всех предрассудков, что стоит произнести несколько ничего не значащих слов. Но Шри-гуша сказал:

— Если вы нарушите клятву — вы умрете.

— Меня убьют? — спросил Бомпер равнодушно.— Ты убьешь меня?

— Не знаю,— уклончиво ответил Шри-гуша,— в этом деле все, кто прикоснулся к нему, отвечают своей жизнью. Это серьезно, иначе бы я не пришел к вам.

— Чем же клясться, имей в виду, что я неверующий и отдельного бога для меня, как и вообще всех богов, не существует. Чем же мне клясться?

— Клянитесь своей жизнью!

— Шри-гуша, это мне не нравится. Я боюсь, что за этим нет ничего серьезного и я буду просто смешон перед самим собой. Конечно, о таком смешном поступке никому не расскажешь. Так как?

— Клянитесь! — упорно повторял Шри-гуша.

Бомпер вынул свою синюю записную книжку, положил ее перед собой и сказал, на этот раз без иронии:

— Положа руку на эту книгу, где все мои замыслы представляют для меня священную землю будущего, моей новой книги, клянусь своей жизнью хранить тайну о том, что услышу от человека по имени Шри-гуша! Хватит? — спросил он, убирая книжку в карман.

— Нет,— сказал Шри-гуша,— добавьте: зная, что разглашение тайны — моя смерть!

— Хорошо! — Бомпер криво усмехнулся; несмотря на то что он хотел уверить себя, что все происходящее — дурной спектакль, он чувствовал присутствие какого-то волнения.— Хорошо,— сказал он,— зная, что разглашение тайны — моя смерть!

— Теперь все,— сказал Шри-гуша. Он стал надменен и, глядя безжалостными глазами, произнес тоном заговорщи-

ка: — Теперь сядьте ближе. Слушайте меня внимательно. Это ритуальная тайна. В нее посвящены немногие. Вы — первый из европейцев, который узнает про это. Вы видели на днях, как из комнаты одной женщины в этом отеле обезьяна похитила зеркальце, пудру и помаду...

— Я ничего не понимаю,— сказал растерянно Бомпер. После торжественности клятвы переход к простой мартышке показался ему чересчур странным...

— Сколько, по-вашему, в Индии обезьян? — спросил Шри-гуша, понизив голос.

— Я не знаю,— сказал Бомпер,— меня это не интересует.

Шри-гуша пропустил мимо ушей его слова.

— Обезьян в Индии десятки миллионов. Они живут в лесах, на полях, в городах и селениях. У них свои обычаи, свои законы. И сейчас настал Час обезьян. Как к людям приходил Великий Учитель, так к обезьянам пришел Великий Обезьян — их Вожак. Вожак, который поставил своей целью объединить всех обезьян Индии, и дело объединения крепнет день ото дня...

— За кого ты меня принимаешь, Шри-гуша,— воскликнул в негодовании Бомпер,— чтобы я поверил в такое!..

— Вожак имеет всюду своих агентов, и посвященные люди следят за тем, как идет дело. А дело идет!

Бомпер на минуту закрыл глаза. Черт возьми, даже если это блеф, то сама идея неплоха. Такого еще не было. Объединение всех обезьян и их союз с посвященными людьми. В этом что-то есть. Стоит рискнуть. Вот где начинается настоящая Индия.

— Но скажи мне, Шри-гуша, как ты мне докажешь, что у обезьян есть организация, что есть вожаки, пусть хоть самые маленькие...

— Завтра же вечером вы увидите это своими глазами. Только помните, что вы увидите только первую ступеньку организационной лестницы.

— А затем?

— А затем вы увидите самого Великого Вожака обезьяньего народа. Лично увидите и будете единственным европейцем, посвященным в тайну.

Когда Шри-гуша ушел, Бомпер еще долго шагал по комнате. Он сказал, обращаясь к желтым гекконам, бегавшим по потолку и по стенам:

— Вы, жалкие черти, потомки желтой жабы, что вы понимаете! Яков Бомпер таки добился своего. Вот из чего будет расти моя книга!

...Унылые низкие постройки старых заброшенных складов серели неподалеку. Широкая луговина с вытоптанной травой была чуть выше их.

У столетнего баньяна, раскинувшего во все стороны свои гигантские ветви, Шри-гуша и Бомпер остановились. По траве бродили куры, и петух сопровождал их, лениво оглядываясь на пришедших.

— Свертки с орехами вы держите под мышкой, не кладите их в карман,— сказал Шри-гуша.

Внизу, по ту сторону ручья, они купили в лавчонке много свертков с орехами арахис, чтобы не прийти в гости с пустыми руками.

В вечерней тишине поляна выглядела скучно, обыкновенно и пустынно. Нигде не было видно ни одной обезьяны. Шри-гуша пошел к стене склада, подняв высоко пакетики с орехами. Он ходил перед стенами, потрясая мешочками, и кричал: «Свам! Свам! Свам!»

Бомпер не углядел, как появились первые обезьяны. Они шли, закрывая глаза ладонями от солнца и присматриваясь к людям.

Им бросили горсть орехов. Они издали какие-то призывные крики. Появились еще кучки обезьян. Им бросали орехи, иные хватали их, но большинство не приближалось. Смелые одиночки обошли людей с тылу. Бомпер поймал маленькую волосатую руку, залезшую к нему в карман.

— Свам! Свам! Свам! Ао! Ао! — звал их Шри-гуша, но что-то останавливало обезьян. Они все время оглядывались на безмолвные старые стены складов.

— Они ждут сигнала вожака,— сказал Шри-гуша.

— А почему же он не идет?

— Потому что он спит, а будить его можно только в случае чего-то серьезного.

— То есть?

— Вот когда эти убедятся, что вызов не ложный, что у нас орехов на всех хватит, тогда можно будет будить вожака. Без его разрешения не смогут все прийти к нам.

Шри-гуша и Бомпер показали все ореховое богатство, которое было в их руках. Тогда к стене помчалось несколько самых быстрых гонцов. Они в минуту вскарабкались на стенку и исчезли за старыми бойницами, помнившими еще пятьдесят седьмой год, времена Нана-Сагиба.

Спустившиеся обезьяны жались кучками. Матери, подвесив к шее младенцев, ждали сигнала ринуться за лакомст-

вом. Над стеной показался большой хозяин. Толстый, жирный, почесывая живот, зевая со сна, он сначала угрожающе посмотрел по сторонам, точно выбирая, кому дать затрещину за нарушенный сон, но, увидев поднятые мешочки, не торопясь перенес мохнатую ногу через стену. Он ловил железную скобу, вбитую в стену, и, поймав ее, утвердившись толстой пяткой, повернулся и скользнул вниз, не без достоинства появившись среди своего обезьяньего клана.

На земле его подхватили две обезьянки, но, ступив несколько шагов, он отбросил их и пошел, выше всех головой, к Бомперу и Шри-гуше.

За ним повалил весь обезьяний сброд, таившийся за стенкой. Вожак шел прямо к Бомперу, точно это был его старый знакомый. Он подошел совсем близко и показал ладонь. Потом протянул ее, и Шри-гуша сказал:

— Пожмите ему руку, поздоровайтесь с ним!

Бомпер не без смущения наклонился к маленькому волосатому человечку и пожал ему теплую жесткую, с подушечкой посередине, лапу. После этого рукопожатия вожак оглядел все свое войско, толпившееся за ним, и снова протянул лапу. Ему клали на ладонь орехи, и он отправлял их в защечные пазухи, не ел, а наполнял рот орехами. И когда уже рот был полон, щеки оттопырились, он быстрым прыжком вскочил, как испытанный гимнаст, на выступ баньяна, откуда выходили два ствола, уселся там поудобнее, немыслимым образом вывернув ноги и облокотившись на пятки, стал смотреть, как его подданные бросились драться за орехи, отнимать их друг у друга, жадно есть, кувыркаться, галдеть, щипаться, толкаться, тесниться у баньяна.

Вожак, не обращая внимания на обезьян, щелкал свои орехи, выплевывая скорлупу. Куры клевали тут же, только одна обезьяна схватила за хвост петуха, и тот, вырвавшись, крича, отбежал за куст.

Тут откуда-то издалека донесся собачий лай, и через поляну промчалась собака, за которой гналась целая стая диких псов. Они ворвались в ряды обезьян и, огрызаясь налево и направо, мчались за своим врагом, который вовсю удирал к оврагу за складами. Обезьяны визжали и кидали в собак камнями и сучьями.

Вожака ничто не могло вывести из его спокойствия. Бомпер смотрел на него и находил, что он действительно повелевает своим кланом. Когда все орехи были съедены, он дал

сигнал, протяжно взвыв, и вся волосатая банда, видя, что пиршество окончилось, побрела к складам, обмениваясь впечатлениями на обезьяньем языке.

Поляна опустела. Огромный баньян, засыпая, взирал на то, что он видел уже многое множество раз за свою добрую сотню лет.

Бомпер вернулся в отель. Перед ним только что раскрылась маленькая дверь неизвестного ему мира, где есть свои нравы и деспоты с узкими жестокими глазками, с железными маленькими руками, а за ними стоит притворившийся непонимающим народ, живущий на полной свободе в городе, который приобщен к передовой цивилизации. Этих обезьян можно взять в ночной ресторан и напоить дорогим джином! Как-то им понравится это и что они будут делать, танцуя с женщинами?

Вечером пришел Ив Шведенер, и они долго сидели и пили джин. Шведенер рассказывал всякие новости про очередной африканский заговор, а Бомперу было все равно. Он думал о своей клятве и о загадочном Шри-гуше. Ему страсть как хотелось все рассказать Шведенеру — вот бы он посмеялся,— но почему-то воспоминание о данной им клятве сдерживало его, и он снова пил и курил и слушал Шведенера.

Шведенер ушел поздно, и он проводил его до машины. Ив уехал на своей «Симке», а Бомпер возвращался к себе, мирный, немного пьяный, вполне довольный своим времяпровождением. Когда он почти достиг своего номера, в коридоре погас свет.

В наступившей темноте он остановился, но решил, что ощупью доберется до своей комнаты. Он попал на какую-то раскрытую дверь. Удивительно, кто это открыл дверь его номера. А может, это вовсе не его номер?

В ту же минуту его руку схватила жаркая тонкая рука и голос, такой непонятный и такой знакомый, прошептал на ухо: «Я боюсь. Я прошу — помогите. Шорох в углу — слышите. Опять пришли обезьяны. Я боюсь! Я боюсь!..»

Он шагнул, споткнулся и упал на диван. Над ним возникло что-то очень легкое, воздушное, опьяняющее какими-то запахами садов из старого Гоа. Горячие губы пробежали по его щеке. Что-то с певучим шорохом падало вокруг него, и темнота становилась ласковой и всепроникающей. Он ска-

зал: «Нуэла!» — и утонул в синем озере ночи, а где-то шуршали обезьяны. Пусть они крадут снова пудреницу. Пусть унесут и зеркальце. Сейчас не до них. А завтра разберемся!

...Вихрь новых переживаний захватил Якова Бомпера. Индийская весна ликовала вокруг. Пожухлая листва валялась на лужайках, а новые цветы, пахнувшие всеми ароматами неизвестных стран, украшали аллеи. Даже белые волны велосипедистов, проносящиеся по утрам, не казались мчащимися в бездну, а стремящимися к каким-то скрытым радостям, ожидающим их за домами и садами города, в бескрайних весенних просторах.

Даже женщины Ладака, сидевшие с каменными лицами в черных одеждах, улыбались приветливо и обещающе. Даже подражавшие йогам люди, прихотливо изгибавшие свое тело на рассвете на пустых газонах, казалось, делают свои упражнения от избытка радости, не зная, как выразить свой восторг; птицы кричали в ветвях старых тамариндов, акаций, баньянов, призывая к играм, к любовным утехам, к веселью.

Мануэла была настоящим выражением весенней радости. Гибкая, жаркая, певучая, с вишневыми губами, с большими глазами, удивляющимися всему, глядевшими на мир с наивным восторгом молодости, она увлекла Бомпера с собой в сферу, какую он любил создавать в своем воображении. Тут были ночные рестораны, где все походило на женевские ночи; тут были и танцы, Нуэла знала все современные танцы; тут было удобство рядом расположенных комнат, и казалось, что все, что происходит, происходит уже в его книге, где девушка, ищущий радости иностранец и таинственный Вожак обезьян составляют основу будущего сочинения, сплетаясь в такую тонкую сеть ощущений, что распад всего существующего сладостен и приятен. Тонуть в этом море неожиданного, не думать о завтрашнем дне — нельзя придумать лучше.

Иногда они хорошо выпивали со Шведенером, когда не было Нуэлы, но он не рассказывал своему другу о найденном им искушении, которому он поддался. Он сочинял басни о том, что он изучает жизнь старого туземного города, что он нашел богатый материал и не раскаивается больше.

Нуэла была ровно весела, радовалась, как птица, умела шутить, обладала тайной особого обаяния, не надоедая, не утомляя болтовней, не досаждая требованиями подарков или

удовольствий. Она исполняла все желания Бомпера, гуляла с ним помногу по городу, толкалась на базаре, ездила в Красный Форт, она не боялась, что встретится со знакомыми. Наоборот, она как будто хотела показаться с Бомпером открыто, на всех людных улицах, ничего не скрывая, сидеть с ним в кино, в кафе и ресторанах.

Раз утром слуга подал Бомперу записку, написанную на толстом листе бумаги печатными буквами.

Бомпер, ничего не понимая, прочел: «Вторая ночь полнолуния даст благоприятный ветер. Море спокойно. Земля ждет и готова».

Он еще раз перечел ее и положил в карман. Ему показалось, что, когда он читал записку, какой-то мужчина прошел по коридору, на минуту задержался, а когда Бомпер хотел спросить его, в чем дело, он исчез.

Появился пропадавший уже неделю Шри-гуша. Он мало что принес нового, но сказал просто: «Надо ехать в Джайпур. Он — там!»

Бомпер понял, о ком шла речь. Ему не хотелось посвящать Шри-гушу в свои отношения с Нуэлой и, собственно говоря, не очень хотелось вообще ехать куда-нибудь от блаженных вечеров и ночей в Дели. Да и Обезьян, хотя он и Вожак, не так уж был нужен ему, но он клялся своей жизнью...

— Когда нужно ехать в Джайпур? — спросил он без всякого волнения.

— Завтра утром!

— Сколько времени займет поездка?

— Это зависит от вас. Несколько дней, я думаю.

— Это далеко?

— Сто девяносто миль от Дели. Я устрою машину.

Он хотел уйти, но Бомпер остановил его, вспомнив про записку. Он дал ее прочитать Шри-гуше. Пока Шри-гуша уже в коридоре читал записку, по коридору снова прошел как будто тот же человек, что уже останавливался утром перед комнатой Бомпера. А может быть, это только показалось.

Шри-гуша прочел записку, хмыкнул что-то про себя, сказал:

— Пустяки. Это реклама бродячего предсказателя. Они гадают на улицах и заходят в отели, ловят доверчивых. Эти бродячие звездочеты любят говорить о непонятном. Порвите записку. Это будет самое лучшее.

Бомпер порвал записку и бросил ее в корзину.

— А вы сами не будете никому писать о нашей поездке? — спросил Шри-гуша.

— Может быть, Шведенеру, чтобы он не беспокоился, куда я пропал...

— Не пишите ему. Он будет предупрежден другим способом. А кроме Шведенера — никому?

— Никому,— сказал Бомпер,— мне писать больше некому.

— Вот и хорошо,— сказал Шри-гуша,— значит, до завтра!

Когда он ушел, Бомпер постучал в номер к Нуэле, но вспомнил, что она сказала ему накануне, что уезжает на два дня к подруге за город и вернется, значит, только тогда, когда он уже будет на пути в Джайпур.

Тогда он написал ей записку, где просил прощения за то, что несколько дней будет в отсутствии, по очень срочным делам, и для него двойной радостью будет снова ее увидеть. Он просунул записку под дверь. Он нарочно не указал, куда уезжает. Этого знать ей вовсе не нужно.

Он плохо спал эту ночь. Он досыпал в машине, которая несла его и Шри-гушу по дороге в Джайпур. Показывая на водителя — высокого сикха в огромном желтом тюрбане, Шри-гуша сказал ему тихо: «При нем мы не будем говорить о нашем деле». И тоном гида, равнодушно металлическим голосом он начал:

— Мы сейчас едем еще не Раджастаном. Он впереди. Он начнется за Алваром.

Бомпер перебил его:

— Знаешь что, Шри-гуша, я плохо спал эту ночь, и давай условимся: я буду спать сейчас, а ты разбудишь меня, когда мы въедем в Раджастан.

И Бомпер крепко заснул. Сны его не имели никакого отношения к Индии. Он шел по берегу красивой зеленой Арвы, сидел на лужайке у площади цирка, и из полотняных входов цирка шапито выходили белые лошади в черных фраках и танцевали при луне какой-то вальс, а море было спокойно. На озере бил неиссякаемый фонтан и лебеди плыли бесконечной стаей, а когда они подплывали ближе, они превращались в поток белых велосипедистов, пересекавших озеро при луне... Бомпер спал долго и проснулся сам. Он не сразу понял, где он. По бокам дороги бежали скучные пустые поля. У колодцев стояли женщины, в поле, согнувшись, работали крестьяне.

За пыльным шлагбаумом, у которого остановились несколько грузовиков, начинался Раджастан. Теперь в деревнях стали попадаться женщины в желтых, красных одеждах. На головах они несли медные сосуды, поставленные один на другой. Проехали город Алвар, миновали крошечную железнодорожную станцию.

Пошли холмы с заброшенными старыми крепостицами, ставшими руинами. Опять поля, и на полях были видны простым глазом бесчисленные норки полевых мышей. Серые и красноватые, вдали подымались песчаные горбы. В лицо бил горячий ветер. Было сумрачно, одиноко, сурово.

Это одиночество подчеркивали грязные, лохматые грифы, сидевшие у дороги на старых, иссохших деревьях, с ветвями, похожими на искривленные слоновые бивни.

Мелькнул древний водопровод. Шли часы. Бесстрастный, неразговорчивый сикх-шофер вел машину уверенно и молчал, как немой. Только проехав два каменных столба, возникших неожиданно на дороге, он громко объявил:

— Ворота княжества Джайпур!

За долгие часы пути они видели море кустарников, лес и степи. Холмы сменялись пустынной саванной. Кое-где торчали колючие акации, настоящие робинзоны пустыни, окруженные мелким кустарником.

Проехали саванну, поражавшую отсутствием воды. В пустых речных руслах белели пятна соли. В глаза бросалось огромное количество пустых земель.

Неожиданно замелькали журавли колодцев, овечьи отары, поля пшеницы. Машина с хрустом лезла по камням на какой-то крутой массив. За этим неуютным откосом сбоку виднелся старый карьер мрамора. И почти сразу возник Джайпур, узкие улицы, двухэтажные дома.

Шум улиц, пестрота костюмов. Был уже вечер. Шри-гуша все-таки взял на себя роль гида. Он говорил, подражая настоящим гидам, монотонно и звонко:

— Джайпур довольно населенный город, основан раджой Сингом Вторым в начале восемнадцатого века. Это был выдающийся полководец и вместе с тем замечательный ученый-астроном... Вы увидите его обсерваторию, она сохранилась...

— Шри-гуша,— сказал Бомпер,— ты можешь перестать. И оставить все эти сведения при себе...

Шри-гуша метнул взгляд на шофера: «Надо не привлекать к себе внимания».

В старомодном отеле, хранившем воспоминания о вице-

королях эпохи Виктории, Шри-гуша, устроив Бомпера в номере, не имеющем ничего общего с делийским отелем, где жил Бомпер, сказал:

— Отдыхайте, обедайте. Я приду не раньше позднего вечера. Мне, как вы сами понимаете, нужно сделать важные дела.

Бомпер остался один. Он лежал на старом матрасе, на котором до него находили отдых тысячи путешественников, и рассматривал противомоскитную сетку не первой свежести. Но у него было повышенное ощущение окружающего, так как он приблизился к чему-то неведомому. Перед ним уже витали комбинации будущей книги. Он отдохнул после дороги, потом встал, помылся, привел в порядок костюм, пообедал с аппетитом и в каком-то почти торжественном настроении стал ждать вечера.

Когда луна поднялась высоко над городом и розовостенный Джайпур засиял, засветился бесконечными огнями лавочек, базарных палаток, магазинов, домов, гостиниц, явился Шри-гуша.

И они отправились, важные, как паломники, к месту, где случится нечто. Между разряженными людьми в разноцветных одеждах, удивляясь отсутствию у женщин сари,— женщины носили кофточки ярчайших цветов и юбки широкие, черные, полосатые, красно-сине-желтые,— Бомпер шел не торопясь, все рассматривая по сторонам. Мужчины блистали высокими цветными тюрбанами. Когда Бомпер очутился в самом разгаре, в самом шуме, в самом пекле базара, он заметил, что с ними идет еще один человек. Это был не случайно присоединившийся бродяжка, какие охотно навязываются в проводники, это человек, хорошо знающий Шри-гушу, потому что он говорил с ним совершенно так, как говорят равные и старые друзья. Шри-гуша в окружающем гуле что-то объяснял ему, и тот внимательно слушал.

Так они пробирались долго, пока не возникла перед ними площадь и луна над большими старыми зданиями. Здесь проходили верблюды, кричали продавцы, проезжали тележки, запряженные зебу, но Бомпер смотрел только перед собой, потому что то, что он увидел, захватило его целиком. Перед ним возвышалась ярко освещенная луной какая-то оранжевая громада.

— Хава-Махал! Дворец Ветров! — воскликнул Шри-гуша, и его спутник повторил: «Хава-Махал!» Из его груди вырвался даже какой-то восторженный вопль.

Горой блестящего розово-оранжевого цвета, переходяще-

го в голубовато-изумрудный, возвышался дворец, не имевший себе равных.

Он состоял из неисчислимого количества крытых балконов, резных выступов, украшений, чудесных ниш, узоров. Он казался выдуманным, несуществующим, созданием причудливого лунного света. Еще покрасуются немного эти воздушные сочетания легко дышащего розово-зеленого камня и исчезнут, рассыплются изумрудным прахом, и прах поднимется облаком над городом. А на другой вечер снова придут люди, и причудливое облако снова опустится на землю и превратится в роскошный, как сновидение, дворец, обвешанный тысячами колокольчиков, которые все звенят по-разному.

Пока Бомпер наслаждался диковинным зрелищем, порыв ветра налетел откуда-то из пустыни, точно для него, Бомпера, специально подул этот ветер. Дворец зазвенел.

Содрогнулись в звоне и как бы стали меняться в цвете все эти причудливые выступы, и окна, и балконы, и балкончики, и зашатался сам базар и люди перед дворцом. Дворец запел всем своим корпусом, точно он нес к звездам хвалу неведомому.

И тогда Шри-гуша схватил Бомпера за руку, сжал ее с силой и, показав ему куда-то вверх, воскликнул:

— Смотрите!

Бомпер взглянул, и у него захватило дух. На огромной высоте над бездной площади, над городом, на самом крайнем выступе дворца, сидела фигура, стройная, какая-то юношеская, скрестив руки и опустив в пропасть одну ногу. Она сидела, возвышаясь над суетой людей и огней. В ней было что-то от незапамятных времен. Это была обезьяна, неподвижная, как будто она была, как и дворец, высечена из такого же розоватого, зеленоватого под луной камня.

— Су́ндар! — закричал Шри-гуша изо всех сил, и Бомпер поразился силе его голоса.— Су́ндар! — загремел снова его голос, и вдруг в наступившей тишине обезьяна обернулась и стала вглядываться в толпу, точно желая отыскать позвавшего ее. Тут началась непонятная свалка, и Шри-гуша увлек Бомпера в самую гущину толпы, прочь от колдовского места...

В синей записной книжке Бомпер с увлечением записывал свои последние впечатления от Джайпура: «Я не буду ничего подтверждать, я не буду ничего доказывать научно.

Мне важно не это. Вожак существует. Я видел его вчера сидящим на выступе Дворца Ветров. Это было существо другого мира. Я выяснил, он из породы серых хануманов, но очень большой, небывало крупный экземпляр. Его собратья питаются плодами и зернами, молодыми побегами. Я не знаю, чем питается он, где живет, что делает. Я верю в него, потому что он нужен для моей книги. Я сейчас вспоминаю Кафку с его рассказом «Отчет для академии», где обезьяна очеловечилась. Как она сама признается, она достигла уровня среднего европейца. Откуда мне знать, на каком уровне этот серый хануман. Но он увлек мое воображение, и я хочу видеть его, общаться с ним. Шри-гуша прав — он ввел меня в мир таких ощущений, который скрыт от обычной действительности высокой стеной. Но я уже за стеной и вижу вещи, которые даже скептики относят к разряду необъяснимых».

Джайпур был выбран серым хануманом не зря. Это был город, в котором животные и птицы жили вместе, вперемешку с людьми. Обезьяны ходили по улицам, держась за лапы; они сидели на стенках длинными рядами и подсмеивались над проходящими людьми; они шли по лавкам, запуская лапы в мешки с орехами, выбирая лучшие бананы из висящих связок; они чесались посреди улицы, не стесняясь народа; они входили в дома и бродили по крышам.

Над ними летали несметные стаи голубей. Стояли павлины, распустив хвост и хрипло призывая друг друга. Нильгау, робко поводя большими лиловыми глазами, просили у людей ласки. Кошки неистово мяукали, и им отвечали бесчисленные птичьи голоса. По ночам разноголосо и грустно завывали и плакали шакалы.

Небывалый город Джайпур был еще городом, преданным всем сумасшедшим страстям людей, выделывающих прекрасные вещи из мрамора, слоновой кости, из бронзы, разноцветного стекла, золота и серебра.

Кругом жили мастера всех возрастов и талантов, можно было наблюдать, как рождаются на свет костяные изображения богов, блестящие браслеты, кольца, шахматные фигуры, мраморные барельефы, миниатюры и резьба, воспроизводящая древнейшие орнаменты. Лавки были переполнены товарами, материями самых лучших тонов и красок, точно вся эта красочность должна была посрамить пустынное однообразие окрестностей города.

Ювелиры, чеканщики, мраморных дел мастера, кожевники соединяли свои усилия, чтобы в мир шел непрерывный поток их искусных изделий, и этот тонкий, упорный, красочный труд передавался от поколения к поколению.

И все вокруг было на грани необычного. Когда после полудня Бомпер сидел на террасе отеля и вместе с ним на террасе отдыхали, расположившись в легких бамбуковых креслах, другие постояльцы, пришел с виду простой мужичок — правда, не похожий на раджастанца.

У него не было суровости местного крестьянина, ни его большого тюрбана, ни строгого, острого, печального взгляда. Черты его лица были мягки и глаза добродушны. На голове — легкая бумажная шапочка. Небольшая седая бородка делала его похожим на рождественского деда. Коричневая жилетка, рубашка, хорошо выглаженные панталоны. На его плечах сидели три небольшие птички, на первый взгляд смахивавшие на воробьев. Но они были совершенно особой породы.

Старичок обращался с ними так просто, точно они были его дочками, превращенными в птичек, и всё понимали, что говорил им старичок.

Они работали тоже как искусные мастера, не роняя чести Джайпура. Они брали клювиком нитку и, держа лапкой иголку, ловко продевали нитку в ушко и сшивали две цветных тряпочки. Они из крошечного, со спичечную коробку, сундучка высыпали зерна бусинок и уверенно, быстро, не отвлекаясь, делали ожерелья, нанизывая бусинки на нитку. Они таскали воду в крошечных кожаных ведрах из модели деревенского колодца, когда старичок просил у них воды, чтобы напиться.

Старичок прикреплял ко лбам желающих маленькую нашлепочку из коричневого пластилина, и птички, быстро перепорхнув через всю террасу, отыскивали, у кого на лбу комочек пластилина, и точным ударом клювика отрывали его и приносили своему хозяину.

Они умели считать, знали вычитание и умножение. На табличке, где лежали разные, на отдельных листочках, цифры, они по заказу находили заданные им цифры и приносили тому, кто называл цифру, которую он хотел бы, чтобы они отыскали.

Бомпер не мог отвести взгляда от серых, хлопотавших около старичка птичек. Они складывали и вычитали, как маленькие школьницы, пришедшие в первый раз в школу.

К его лбу приклеил старичок пластилиновую шишечку, и вдруг он ощутил около глаз веяние маленьких крылышек, закрыл глаза и все-таки почувствовал легчайший удар клювиком. Это птичка сняла с его лба коричневый комочек. Он раскрыл глаза и за рядами бамбуковых кресел неожиданно увидел Нуэлу. Она стояла, прислонившись к столбу, поддерживавшему навес. На ней было новое темное сари. Она делала ему знаки, улыбалась, незаметно посылала воздушные поцелуи. Она была почти вызывающе красива, но необъяснимое ее появление сразу лишило Бомпера того спокойного, почти домашнего, почти детского восторга, с каким он наблюдал работу птичек.

Птички уселись на плечи старичку, он свернул пестрый платочек, на котором лежали таблички с цифрами, встал и спокойно собирал плату за представление.

Нуэла ждала его у павильона, в котором жил Бомпер.

— Как ты узнала, что я здесь? — спросил с некоторым удивлением Бомпер после первых объятий.

— Для Нуэлы нет тайн. Я вернулась из-за города раньше времени, и тебя бы я отыскала на краю света. А Джайпур так близко.

— Ты даже знаешь, где я живу...

— Не только это, дорогой. Наши комнаты рядом, как и в Дели...

— К сожалению, утром сегодня приходил Шри-гуша...

— Кто это такой? — спросила она.— Твой гид по Джайпуру?

— Нет, это один знакомый. У нас с ним дела, которые тебе будут ни к чему. И сегодня вечером я вернусь поздно, и я ничего не могу уже изменить...

— Конечно, дорогой, я никак не хочу мешать делам. Я понимаю, что это тебе очень важно, раз ты так говоришь. Но если у нас выкроится время, поедем завтра в Амбер. Это старинный городок, его надо обязательно видеть... Только, знаешь, поедем без этого Шри-гуши, хорошо?! Я сама буду тебе хорошим проводником. Там во дворец едут на слонах. Это великолепно. Ты же никогда не ездил на слоне.

— Прекрасно, поедем в Амбер. У меня хорошее настроение, и я рад, что ты появилась так кстати. Этот город полон чего-то, что не назовешь трезвой действительностью. Мне кажется, что этот город выдуман специально для меня.

В этот же вечер они шли с Шри-гушей через парк, в котором уже было сумрачно и пусто. Им показалось, что их

окликнули откуда-то сверху. Они подняли головы и увидели в сумеречном свете, что высоко над ними на каменном парапете сидят обезьяны, галдя и махая лапами. Приглядевшись, они увидели, что у каждой обезьяны, держась за шею матери, висит детеныш. Между тем, польщенные, что люди внизу остановились и стали с ними переговариваться, обезьяны страшно оживились и начали бегать по парапету, громко крича, точно приглашая подняться к ним. Их силуэты на фоне белесого дома, стоявшего выше по склону, были так занимательны, что Бомпер подсвистывал и подманивал обезьян.

Откуда-то появились неожиданно две старых обезьяньих мегеры, которые начали отгонять молодух от парапета и кидать в людей сучья и комья земли. Бомпер и Шри-гуша стали передразнивать их вопли. Тогда мегеры побежали за помощью. Явился злой, похожий на отставного вахтера обезьян. Он грозил здоровой палкой и бросал увесистые камни, а мегеры, прогнав молодых, оглашали окрестность такими воплями, что Шри-гуша сказал:

— Надо уходить. Это дом обезьяньей матери и ребенка, могут увидеть, что мы дразним обезьян, и будут неприятности. Тем более что нам надо поспеть вовремя туда, куда мы идем.

За парком их встретил тот самый джайпурец, что привел их в первый вечер ко Дворцу Ветров. Теперь Бомпер хорошо рассмотрел его. У него был странный нос, похожий на укороченный клюв попугая, и круглые, как у совы, глаза. Этот, не назвавший своего имени, проводник сначала шел быстро, не оборачиваясь, потом начал о чем-то говорить и даже спорить с Шри-гушей и, наконец, вовсе остановился. Шри-гуша долго объяснялся с ним и успокоил его, но сказал Бомперу:

— Ему надо дать двадцать рупий!

— Не много ли? За что? Я еще ничего не видел!

— Вы увидите, он не обманет! Но он просит вперед.

Бомперу ничего не оставалось, как дать деньги. Тогда проводник пошел снова быстрым шагом, и скоро они пришли к одинокому уединенному домику, который весь утонул в зелени, был темен и тих. Но когда они обошли его, то увидели, что в одном окне виден слабый свет. Окно было чуть приоткрыто, и если встать, прижавшись к стенке, почти зарывшись в плющ, то можно было заглянуть в комнату и увидеть ее внутренность.

Соблюдая величайшую осторожность, все время указывая на необходимость полного молчания, Шри-гуша подвел Бомпера к окну и, ловко раздвинув плющ, так поместил Бомпера, что он смог видеть, что делается в домике.

Сначала он ничего не мог рассмотреть из-за тусклого света, который распространяла небольшая лампа, стоявшая на высокой подставке. Потом он увидел в комнате у стены пианино, у которого сидел кто-то, небольшого роста, похожий на подростка, в зеленой куртке и синих штанах. Существо это сидело спиной к окну и перелистывало ноты, лежавшие перед ним.

Потом сидевший ударил по клавишам, и стало ясно, что у этого музыканта своя, особая техника игры. Пианино давно пережило вторую молодость. К тому же оно основательно рассохлось. Чем ожесточеннее, свирепее музыкант вел свою игру, тем фантастичнее отвечало ему пианино. Казалось, странный музыкант боролся с инструментом, желая во что бы то ни стало подчинить его своей воле, но инструмент сопротивлялся как мог. Вихрь тресков и звонов носился по комнате. Иногда музыкант уставал, было слышно, как пианино воет в победной ярости, но потом чудилось, что оно сейчас рассыплется на куски. Струны его издавали такие звуки, каким нет названия на музыкальном языке.

Музыкант делал все усилия сокрушить соперника. Но его деревянный враг хотя и пел почти погребальную песню, но хотел свалить музыканта, обрушивая на него поток грохота и звона, который бил с неистовой силой в уши ошеломленному Бомперу.

Он стоял, утонув в густом плюще, и ему казалось, что он на концерте необычного композитора, который проповедует нечто вроде сверхпередового искусства. Он подумал, что если бы записать этот концерт, то за него дали бы хорошие деньги в Европе. Его забавляла в то же время трагическая вычурность фигуры музыканта, который переживал собственную игру так страстно, что зеленая куртка вздувалась на его спине, вставая горбом. Вдруг музыкант ударил обоими кулаками по клавишам с такой силой, что некоторые из них, по-видимому, вылетели со своих мест, и оглянулся.

Он не мог видеть Бомпера, но тот в этот короткий миг увидел, что музыкант не кто иной, как сам Серый Хануман, который снова склонился над пианино, но теперь с самым

слабым напряжением чуть стукал по клавишам. Шри-гуша тронул Бомпера за рукав, и они ушли. Из домика больше ничего не было слышно. Он был темен весь и тих...

В синей записной книжке Бомпера прибавлялось с каждым днем все больше записей. «Англичанин вчера за завтраком объяснил, что это за птички были у старика, умевшие вдевать нитку в иголку и нанизывать бусинки, делая ожерелье. Это — ткачики, золотоголовые птички, умеющие делать гнезда, сшивая листья, проделывая в них дырки своим тонким клювиком. Их гнезда висят серыми и зелеными корзиночками, сшитые хлопковыми нитками».

«Где я только не был за эти дни. Я видел, как делают богов, как их ремонтируют. Я получил истинное наслаждение в обсерватории от безумных фигур, порожденных Джай Сингом. Этот астрономический пейзаж, представляющий сочетание самых различных геометрических фигур, где лестницы, ведущие в никуда, обрываются, соседя с полукругами и столбами, отбрасывающими тени, как огромные солнечные часы, где медный круг замкнут в отвесные стены и над всем стоит гигантский белый столб — страж покоя, охраняющий лестницы, на иные из которых никогда не падает солнечная тень. В этих безумных фигурах я узнаю самого себя, стремящегося ввысь и перешедшего в другое измерение, вижу себя мудрецом, разгадать загадку которого, выраженного в этих фигурах, не под силу и нашему кибернетическому веку.

...Нуэла нервничает. Я никак не могу понять ее семейных обстоятельств. Правда, это меня мало касается. Она скорее принадлежность моей книги, чем моих жизненных фактов. Я к ней привык, такой чисто восточной покорности и вспыльчивости, сложности движений, дикой расточительности чувств не встретишь в Европе сегодня, но ведь мы в Джайпуре...»

Роскошный слон, с желтым покрывалом, с подпиленными бивнями, плавно нес своих седоков вверх по дороге, огибавшей холм. Два музыканта, шедшие впереди, играли на непонятных инструментах что-то жизнерадостное. Кругом все было зелено. Из самого дворца открывался впечатляющий вид на всю долину. Комнаты дворца подавляли богатством убранства, тончайшими узорами мраморных решеток, дверя-

ми из сандалового дерева, украшенного инкрустацией из слоновой кости, фонтанами, уединенными покоями, где стены, сплошь покрытые зеркалами, от света маленького ночника освещали все помещение белыми струящимися потоками света.

Старый дворец жил еще какой-то призрачной жизнью. Приезжавшие из далеких стран люди смотрели на былую роскошь когда-то царившей здесь княжеской власти и уносили в воспоминании эти причудливые, ни на что не похожие стены, и слонов с раскрашенными хоботами, и их поводырей в красных мундирах, в белых широких воротниках, в желтых с коричневым тюрбанах.

Дни проходили незаметно, в смене красочных сцен, в прогулках и развлечениях, в любовном восторге вечернего покоя. Для Бомпера настало время, когда он радовался исчезновению всего бытового, что ему не нравилось в дымной вавилоноподобной Калькутте, в современном, слишком понятном Дели. Джайпурские дни были условными, как люди и здания. Появление Шри-гуши означало новую встречу с Великим Вожаком. Серый Хануман незримо властвовал над всеми этими миражами. Его появление всякий раз казалось необъяснимым, и в то же время он был, он существовал рядом, и все это обезьянье племя — а в городе жили тысячи обезьян — имело с ним неясные, но удивительные сношения. Единственный раз эта жизнь среди сновидений была нарушена, когда Бомпер увидел человека, который напомнил ему того, мелькнувшего однажды в коридоре делийской гостиницы незнакомца. Но этот посланец из реального мира и сейчас исчез со всей стремительностью привидения. Тот, в Дели, явился в день, когда Бомпер получил идиотскую записку от какого-то блуждающего звездочета, где было сказано что-то про луну и море...

Но сейчас не было никакой записочки, да и человек мелькнул бесследно, и снова стало спокойно и тихо.

Снова можно было бродить с непонятным Шри-гушей, толкаться среди шумного и пестрого народа, смотреть уличных фокусников, заходить в мастерские резчиков по кости, сидеть под навесами, где разложена всякая всячина, забывая о времени.

Обезьяны бегали повсюду. Они были разные. Маленькие, как те, что жили у старых складов в Дели. Были и более крупные с длинными хвостами, нагло смотревшие на людей. Бомпер видел, как рассерженный крестьянин гнал прутом

обезьян со своего маленького поля и бросал в них камни. Едва он увидел Шри-гушу и Бомпера, он подозвал сына, и мальчик, как бы играя, начал стрелять в обезьян бумажными стрелами, и обезьяны пугались бумажных стрел и нехотя уходили с поля, где выкапывали все, что посажено.

Дерево, у которого остановились Бомпер и Шри-гуша, касалось могучими ветвями, осыпанными бесчисленными большими листьями, старого строения, похожего на брошенную мечеть с куполом, вокруг которого шел узкий карниз. Все дерево кишело обезьянами. Они срывались с верхних ветвей, проносились почти до самого низу, крича и махая длинными лапами, потом, на лету ухватившись за ближайшую ветку, отталкивались от нее и, сразу отлетев в сторону, исчезали в густой листве, чтобы появиться в самом неожиданном месте и снова лететь вверх и вниз, захлебываясь от восторга.

Многие из них, разбежавшись по толстой ветви, прыгали на угол старого здания и обегали карниз, дико визжа. Перелетали пространство, отделявшее дерево от карниза, и обезьяны-матери. Их детеныши, крепко обхватив снизу шею матери, согнувшись в три погибели, летели по воздуху до спасительной крыши, не чувствуя никакого страха.

Все дерево шумело, пищало, свистело. Обезьяны населяли его, как дом. Одни висели вниз головой, другие спокойно искали друг у друга в волосах, третьи, свесив вниз голову, наморщив носы, как бы принюхивались к тому, что происходило ниже их.

На большом суку, как на поляне, между зеленых балдахинов, сидел Серый Хануман. Он был среди своего народа. Похоже было, что это какое-то важное собрание, потому что обезьяны собрались вокруг него, и вся листва вокруг шевелилась от их непрерывных движений.

Бомпер, не отрывая глаз от Серого Ханумана, смотрел затаив дыхание. Он допущен в тайны сокровенной обезьяньей жизни, и, если бы он понимал обезьяний язык, он бы услышал неслыханные вещи.

Он вынул свою записную книжку и начал заносить в нее всю обстановку, стараясь записать все как можно подробней и точнее. Исписав много страниц, он сел и не мог отвести глаз от картин обезьяньей жизни, от их непонятной энергии, постоянной, тревожной, от смены настроения, от их странного крика, порой похожего на плач ребенка.

На такие встречи с Серым Хануманом он никогда не

брал Нуэлы. Что-то подсказывало ему, что посвящать ее в эту историю не надо.

И странно, что она, такая внимательная к нему и нервная, как будто из особой деликатности, предоставляя ему эти прогулки, отстранялась на это время и не спрашивала ничего о том, чем он занят, и он не мог найти причину этой ее подчеркнутой незаинтересованности.

Однажды вечером, после обеда, возвращаясь к себе, он впервые в Джайпуре подумал, что, в сущности, вокруг него творится какая-то чертовщина, но такую чертовщину он и искал. Он был рад, что все распадалось на куски, каждый кусок приносил свой блеск, как пересыпаемые осколки разноцветного стекла в калейдоскопе каждую секунду становятся другими, не повторяясь в цвете и блеске излома.

Если в Дели, да и здесь, в Джайпуре, Нуэла охотно бродила с ним по улицам, то завтракали и обедали они не вместе — это было ее странное желание, которое она никак не объясняла. Он понял, что она не хочет стеснять его, и отнесся к этому спокойно.

По окружающему главное здание отеля саду были разбросаны отдельные павильоны, в которых жили постояльцы. В одном из таких павильонов поселился и Бомпер. Его комната находилась в павильоне, имевшем всего четыре номера. Из-за обилия зелени можно было подойти к двери номера совершенно незаметно. Сейчас за своей дверью он услышал шорох, который ему не понравился. Он нагнулся и, чего не имел привычки делать, посмотрел в замочную скважину.

Он увидел нечто, повергшее его в полную растерянность. За его столом сидел сам Серый Хануман в той зеленой куртке и синих штанах, в которых он был, когда играл на пианино в старом бунгалоу. Теперь он большим карандашом, держа его, как нож, что-то резко чертил на листе бумаги. Что он рисовал или писал, Бомпер видеть не мог.

Бомпер тихо, как только мог, отошел от двери. Почему он решил, что теперь надо показать Серого Ханумана Нуэле, чтобы был еще один свидетель, он не мог потом объяснить. Но не успел он обогнуть угол павильона, идя к комнате Нуэлы, как услышал споривише голоса. Один голос явно принадлежал Нуэле... Он выглянул из-за угла. Шри-гуша, схватив за руку Нуэлу, что-то быстро говорил ей, и она испуганно, с гримасой отвращения, тихо отвечала ему, потом вырвала руку и скрылась за деревом. Шри-гуша последовал

за ней. Лица обоих были искажены злобой. Оба они походили на разъяренные существа, готовые перегрызть друг другу горло. В первое мгновение Бомпер хотел броситься за ними, но, вспомнив, зачем он шел, он изменил решение и, вернувшись к своему номеру, не раздумывая больше, вставил ключ, и дверь распахнулась.

Какая-то тень скользнула за открытым окном на фоне темной листвы и исчезла, но он готов был поклясться, что это не тень Серого Ханумана.

Вообще все происшедшее показалось бы бредом, если бы не исчерченный красным и синим карандашом лист на столе.

Серый Хануман чертил бесцельно, узоры, выведенные им, ничего не говорили. Трудно было видеть в них какой-то смысл, они шли вперекоски, набегали друг на друга. Он просто водил с силой карандашом то красным, то синим концом, и водил с большим увлечением.

Бомпер закрыл окно и сел перед обезьяньим чертежом, стараясь объяснить себе, что привело к нему Серого Ханумана. Затем он вспомнил о Нуэле и о сцене, которой был свидетелем. Он не успел еще принять какое-нибудь решение, как в комнату вбежала Нуэла. Сейчас она была просто взволнована. Никакого озлобления не было написано на ее лице. Она улыбалась своей сладкой, милой улыбкой. Нуэла положила руку ему на плечо и сказала, увидев узоры: «Мы рисуем, как это интересно». Ее взгляд скользнул по обезьяньим узорам, и не успел Бомпер сказать слово, как ему пришлось вскочить, чтобы поддержать ее.

У нее закружилась, по-видимому, голова, потому что она, поддерживаемая Бомпером, села на стул и закрыла глаза. Так она сидела минуту, потом встала, посмотрела на Бомпера странным блуждающим взглядом и снова нагнулась над листом, исписанным полосами, кругами и зигзагами.

Она молча показала на один из узоров, и Бомпер, пристально всмотревшись в него, увидел, что это похоже на буквы того санскритского алфавита, который употребляется в Индии. Он, не зная этого алфавита. оставил это место без внимания — бессмысленный узор ничего не говорил ему. Может быть, тут случайное совпадение с санскритским начертанием? Но Нуэла прочитала что-то, что потрясло ее.

С ней творилось что-то непонятное. Она начала плакать. Слезы катились у нее из глаз, как у маленькой школьницы, крупные и блестящие. Бомпер растерялся.

— Ничего,— вдруг сказала она, глотая слезы,— это сейчас пройдет.— И почти без перехода она обняла его, прижалась к нему так, что его лицо стало мокрым от ее слез, и сказала: — Надо уехать, завтра же! Иначе будет поздно. Скорее... уедем в Дели!

Бомпер ничего не мог сообразить. Все смешалось. У него в голове не было ни одной мысли. Он сел напротив Нуэлы, взял ее дрожащие руки в свои и сказал, стараясь не заражаться ее паническим ужасом:

— Что такое произошло, Нуэла? Почему мы должны бежать из Джайпура?

Нуэла подняла на него наполненные слезами глаза.

— Мы в смертельной опасности! — плача вскричала она.— Нет, не ты, я. Спаси меня. Ты это можешь. Едем завтра!

— Подожди, Нуэла, мы уедем. Конечно, уедем, но какое отношение к тебе имеет эта идиотская надпись?.. Что там написано?

— Не надо говорить об этом! — Нуэла встала. Блуждающими глазами она осматривала комнату.— Я сейчас пойду и буду завтра утром рано у себя ждать тебя. И мы уедем. А сейчас, сейчас я должна уйти. Мне надо исчезнуть до утра. И не быть рядом с тобой. В этом спасение. Ни о чем не спрашивай. Потом, в Дели, ты все узнаешь...

— Я узнаю от тебя, Нуэла, от тебя?

— Не знаю, дорогой, я ухожу. Так надо...

Она встала в дверях, вытерла остатки слез платком и хотела выйти. Он остановил ее:

— Нуэла, я должен защитить тебя, если тебе грозит опасность. Я приму меры, я сделаю все...

Она печально покачала головой. Глаза ее стали строгими и хмурыми. Она поцеловала его, повторив:

— Я должна уйти. Одна. Но мы уедем завтра...

— Да, конечно, мы уедем завтра! Но что там написано? Я же не могу прочесть... Что там написано?

— Там написано, тебе не надо знать, что там написано...

И прежде чем он успел что-либо еще сказать, она исчезла с такой быстротой, что преследовать ее было бы бесполезно.

Бомпер впервые был в таком безвыходном положении. Он не знал, что подумать, не знал, что предпринять. Он выходил часто из своего павильона, ходил вокруг него, заглядывал в окно комнаты, где жила Нуэла, но там было темно

и тихо. Он прошелся до главного здания и обратно, и мысли его представляли разноцветные завихрения, которые никак не успокаивали.

Все, что с самого начала носило легкий туристический характер, было порой просто скучно, а потом немного развлекательно и даже приобрело известный интерес,— все это встало на дыбы, и ему даже показалось, что окружающая его темнота вечера полна угроз.

Невидимые глаза следили за ним. Невидимые тени входили в комнату. Он решился. Он отыскал помощника заведующего отелем и заказал на утро машину в Дели.

Было совсем поздно. Он немного успокоился, зажег свет, но все стало ему противно. Даже развевающийся полог москитной сетки белел неприятно. У него не было оружия, но где-то в глубине его сознания жило ощущение, что сегодня ночью его не убьют. А завтра он будет далеко. Черт понес его в тайны неизвестного мира. По правде говоря, он допускал мысль, что Серый Хануман — хорошо придуманный трюк, за который стоит заплатить. Так он думал, пока не увидел сам Ханумана, и его разум встал в тупик перед этим непонятным явлением. Ведь вот только несколько часов назад он был здесь и чертил черт знает что. Вот же листок, исчерченный синим и красным, вот и карандаш.

Бомпер даже выпил виски, не разбавляя содовой, чтобы привести нервы в порядок. В дверь тихо постучали.

«Начинается!» — подумал он и, встав сбоку двери, взяв в руки палку, почти угрожающе спросил:

— Кто там?

Ему ответил голос Шри-гуши.

Бомпер впустил Шри-гушу и запер дверь. Ему даже стало веселее, когда он увидел своего спутника, вполне спокойного и обыкновенного.

— Как дела, Шри-гуша? — спросил он, как будто ничего не произошло.

И Шри-гуша ответил, как всегда: бахут-ача (прекрасно).

«Сказать или не сказать ему?» — подумал Бомпер и, придав голосу самый обычный оттенок, сказал:

— А у меня сегодня был гость.

— Кто это был? — спросил Шри-гуша, насторожась.

— Не угадаешь, Шри-гуша. У меня был сам Великий Вожак, Серый Хануман. Кстати, почему ты назвал его тогда, у Дворца Ветров, как-то так, что я не запомнил?

— На разные встречи существуют разные пароли,— ска-

зал Шри-гуша.— Тогда пароль был — Су́ндар — красивый. Это было условлено. Вы сами видели...

— Так вот, Серый Хануман, не знаю, какой пароль у него сегодня, пришел ко мне и даже кое-что нарисовал, а кое-что написал...

Шри-гуша, потемнев лицом и сжавшись, как для прыжка, смотрел в лицо Бомпера, и тому с каждым мгновением становилось все неприятнее. «Не надо его раздражать,— подумал он.— А то может произойти что-то ужасное». Он вспомнил ужас Нуэлы.

— Нет, Шри-гуша, тут не было ничего особенного. Видимо, это ты организовал мне сюрприз, и я тебе за него очень благодарен, так как посещение было очень эффектно.

— Я тут ни при чем! — сказал Шри-гуша, явно упав духом. Жесткая его напряженность сменилась какой-то вялостью, точно он весь стал резиновым.— Я не видел сегодня Серого Ханумана.

— Так давай разберемся тогда вместе в том, что произошло. Я пришел после обеда и услышал шорох в комнате. А когда я открыл дверь, Серый Хануман убежал в окно. Он был в своей зеленой куртке и в синих штанах, вообще в том костюме, в каком он играл на пианино. А вот что он оставил.

Бомпер протянул рисунок Шри-гуше, но сейчас же спрятал его за спину.

— Я покажу тебе, Шри-гуша, при одном условии. Если ты сначала прочтешь мне одно слово, которое он написал. Оно написано на хинди. Я знаю его, но хочу, чтобы ты подтвердил его мне. Прочти...

Шри-гуша взглянул на надпись. Он прикусил свою толстую нижнюю губу, глаза его заблестели мрачным блеском, он вздохнул и молчал.

— Шри-гуша, что там написано?! Я все равно ведь знаю. Не будем обманывать друг друга. Что там написано?

— Ганглорд! — совсем тихо сказал Шри-гуша, и губы его задрожали.

Наступило молчание, потому что Бомпер не знал, что дальше делать. Надо было доверяться инстинкту.

— Шри-гуша, что ты скажешь? До сих пор ты все устраивал прекрасно. Я доволен тобой. И сейчас я сделаю так, как ты найдешь нужным. Что надо делать?

Шри-гуша поднял мрачный взгляд и увидел, что Бомпер не издевается. Тогда он сказал почти спокойно:

— Шри-гуша сделал большую глупость, но теперь поздно раскаиваться. Мы должны немедленно уехать.

— Хорошо, Шри-гуша, вот видишь, наши мысли совпадают. Мы уедем завтра. Рано утром. Я уже заказал машину.

Тут Бомпер посмотрел на Шри-гушу почти весело:

— Но мы уедем не одни. С нами поедет одна женщина. Ты ее хорошо знаешь. С нами поедет Нуэла де Перейра...

Шри-гуша развел руками:

— Я не знаю такой! Как вам будет угодно, но я не знаю такой...

Бомпер, сдержав негодование, сказал сдержанно:

— Ты же держал ее за руку, Шри-гуша, и только сегодня после обеда говорил с ней... На моих глазах, Шри-гуша!

— Вам показалось. Я не знаком ни с какой Нуэлой. Я никогда ее не видел.

— У тебя что-то сделалось с памятью. Ты забыл, как в Дели обезьянка украла у нее пудреницу и зеркальце...

— Я не видел никакой обезьянки. Я тогда сразу ушел от вас и ничего не видел. Я не имею к ней никакого отношения.

— Шри-гуша, не испытывай моего терпения.

— Правда, что мне в ней! Вам все показалось. Вы просто устали...

— А что значит слово «Ганглорд»?

— Не знаю, первый раз вижу и слышу это слово. Я пойду. Завтра надо ехать с утра.

И он ушел, оставив Бомпера теперь уже в тревоге, которая все росла.

Рано утром Яков Бомпер был уже на ногах. Шри-гуша не приходил. Он позавтракал, без всякого аппетита проглотил яичницу с куском бекона, съел грейпфрут, выпил две чашки крепкого чая с молоком, задержался в ресторане, ожидая своего спутника. Но тот не шел.

Тогда он, проклиная его в душе, вернулся в свою комнату и взялся за синюю записную книжку. Сначала он записал свои соображения о концерте, который был дан Серым Хануманом: «Это необыкновенная музыка, оглушительно новая. Каждое движение — открытие. Скрип старого инструмента, стон его ржавых струн, завывание, как будто демон музыки спрятан, связанный по рукам и ногам, внутри пианино, невероятные переходы, звук ломающихся и трескающихся клавиш... Обязательно это должно быть в моей книге. Я попал на настоящий Двор Чудес. И сам музы-

кант — Вожак обезьян, отскакивающий от пианино и бросающийся на него с такой страстью,— явление, не имеющее равных. Это импровизация неизвестного еще обезьяньего гения».

Он много записал своих мыслей, полных восхваления Серого Ханумана, но поймал себя на том, что если Шри-гуша не придет, то придется ехать без него. Мысли его начали путаться. Он записал еще одну цитату из индийского историка, которая была у него записана на отдельной бумажке, теперь он перенес ее в книжку: «Раджпутана стала зоологическим садом со снесенными решетками клеток и без сторожей. Уже в восемнадцатом веке они стали народом, который перестал играть сколько-нибудь заметную роль».

Он спрятал книжку и сложил вещи. Шри-гуши не было. Тогда он направился к Нуэле. На пороге ее комнаты сидел туземец, человек, совершенно ему незнакомый. Бородатый, похожий на отставного солдата, раджпутанец в высоком белом тюрбане встал и приветствовал его.

Дверь в комнату была открыта. В ней было пусто, и ветерок шевелил противомоскитную сетку, подчеркивая пустоту помещения. Он уже хотел было спросить у сидевшего индийца, почему сидит тут, но тот, отвесив поклон, передал ему маленькую коробочку и удалился. Коробочка пронзительно пахла сандаловым деревом. Бомпер прочел вложенную в коробочку записку. Он никогда не видел почерка Нуэлы и с удивлением прочел написанные печатными буквами слова: «Прости, еду одна. Так нужно. Увидимся в Дели».

Подписи не было. Она писала или писали за нее? И что вообще происходит в этом Джайпуре? Все было похоже на сновидения, которые приятно сменяли друг друга и вдруг слились в такой кошмар, что надо было бежать от него немедленно.

Пришел слуга и сказал, что он послан осведомиться, едет ли мистер Бомпер в Дели или можно отпустить машину. Он решился. В конце концов, в Дели — Шведенер, а тут что будет дальше — никто не знает, тем более пропажа Шри-гуши и Нуэлы, странная сцена, которой он был свидетелем,— все это говорило о том, что ему строили какие-то ловушки, что они сами запутались и поставили его в безвыходное положение.

Почему они испугались оба? Почему оба советовали немедленно ехать в Дели, не сговариваясь?

И он сел в машину. Проезжая по улицам Джайпура ран-

ним утром в первый и последний раз в жизни, он старался смотреть по сторонам, запоминая те неожиданные сцены, что бросались в глаза. На улицах уже шли и ехали люди, дыша утренней прохладой. Он видел, как из узкой и раскрашенной двери на втором этаже небольшого дома вышли семь обезьян. Рядом была лестница вниз. Но они не воспользовались лестницей. Первая обезьяна перелезла через выступ крыши и вступила на карниз, встала на четвереньки, и за ней стали спускаться остальные. Каждая взялась за хвост соседки, и так они пошли по карнизу по своим делам. Никто не оглянулся. Никому это не показалось странным.

Что они делали в доме, почему вылезли на карниз — этого не мог знать и никогда не узнает Бомпер.

Девушка совершала свой туалет, сев на корточки и смотрясь в канавку, по которой медленно журчала вода. Девушка смотрела в воду, как в зеркало, причесывалась, красила брови и губы с полной серьезностью городской кокетки.

Пахло кисло-сладким дымом кизяка. Одинокие прохожие кутались в длинные платки, подобие пледов. Шумно сипели верблюды, мерно шагая друг за другом. Где-то захлебывался криком осел. На выезде из города машина Бомпера чуть не столкнулась с автобусом на повороте.

Шофер Бомпера — молодой, нарядный сикх — и шофер автобуса — раджпутанец — обменялись проклятьями, потом сикх сказал, подмигнув Бомперу: «Хороший знак — уцелели!» И вот снова потянулись уже виденные Бомпером пейзажи, холмы, рощи, поля. Рядом с дорогой по полю большими скачками куда-то мчалась обезьяна, рослая, чем-то напоминающая Серого Ханумана. Куда мчалась эта обезьяна? Это один из гонцов Ханумана, фантазировал Бомпер, она спешит осведомить Дели о грядущем прибытии туда Лидера всех обезьян. С каждым километром, отдалявшим его от Джайпура, Бомпер успокаивался все больше. Ему уже начинало казаться, что все, что было, ему внушили какие-то неизвестные силы и не было ни Шри-гуши, ни Нуэлы, а Серый Хануман? Нет, он был, это точно...

Шофер-сикх оказался словоохотливым. Бомпер ничего не имел против и охотно слушал болтовню шофера, видимо рассказывавшего всем, кого он возил по этой дороге, одно и то же. Сикх говорил, что по этой дороге не ездят ночью, потому что бывали случаи, когда леопарды и даже тигры нападали на машины, прыгали на ходу, как однажды тигра, вскочившего на грузовик, шофер привез в Джайпур, рассказывал о

прошлых временах, когда раджи ездили на охоту на слонах в сопровождении большой роскошной свиты, а крестьяне должны были бросать работу и выгонять им навстречу диких зверей. Много говорил шофер, почти не переставая, усыпляя Бомпера своими рассказами.

Бомпер уже начал безмятежно дремать, когда они въехали в джунгли. Солнце сияло, и в этом солнечном блеске джунгли по обе стороны дороги превращались в ослепляющее пестротой скопление деревьев, кустарников, высоких трав, лиан, радужного полумрака.

Бомпер всматривался в эти мутные, раскрашенные дали, откуда к дороге выбегали тропы, а изумрудные полянки манили на отдых.

— Стой,— сказал он шоферу, и сикх остановил машину. Бомпер вышел и остановился, как зачарованный смотря перед собой. Сикх взглянул тоже и понимающе засмеялся.

Бомпер тихо, на цыпочках двинулся к небольшой полянке, недалеко от дороги. Он шел, не веря глазам, и остановился, не дыша.

На расстоянии десяти шагов от него на серых камнях сидели пять больших обезьян. Сидели они, рыжеволосые, веселые, спокойные, в свободных позах, почесывая там, где чесалось. Они переглядывались друг с другом, отлично понимая, что каждый хотел выразить своим взглядом, и не обращали никакого внимания на Бомпера.

Перед обезьянами на лужайке ходил павлин, распустив веером свой великолепный, сделанный из тончайшего белого мрамора хвост. Белизна его светилась на темном сплетении джунглей. Павлин прохаживался, исполненный гордости, самолюбия и сознания собственной красоты. Он как бы демонстрировал свою грацию и величие. Он по временам склонял свою длинную шею, и тогда вспыхивал высокий белоснежный хохолок, каждый волос его был увенчан нежным белым помпоном.

Когда первый павлин величественно отошел в сторону кустов с большими голубыми цветами, обезьяны заворочались на своих местах, как будто выражая свое мнение о виденном. И тогда легкими шагами вышел на лужайку второй павлин. Большая мраморная птица, поворачиваясь через каждые два шага, как бы оглядываясь, шла по траве и так раскрыла свой мраморно-снежный веер хвоста, что обезьяны заерзали на своих камнях от восторга и бурно зачесались.

Павлин начал танец с такой уверенностью и верой в свою неотразимость, что Бомперу стало как-то не по себе. Небо над ним изливало пленительное, щедрое тепло. Джунгли пахли медовыми, сладкими запахами. В полной тишине танцевала обворожительная птица. Бомпер подумал, что он видит вещи, которые не надо человеку видеть в джунглях. Он ужасно боялся, что его присутствие напугает любителей прекрасного и они все обратятся в бегство. Но только одна из обезьян, мельком окинув его взглядом, как будто хотела сказать: «Смотри, смотри, такого ты нигде не увидишь» — и снова приняла прежнюю позу. Павлины сменяли друг друга, как будто состязались, как на сцене.

Бомперу не хотелось покидать такой диковинный уголок земли. Хотелось стоять и смотреть на эти завораживающие дали, на этих белоснежных птиц, хотелось сесть на траву рядом с этими веселыми, мирными обезьянами. Он оглянулся. Шофер делал знаки, говорившие, что надо ехать.

Оглядываясь на каждом шагу на развалившихся на камнях странных зрителей и танцующих павлинов, он вернулся к машине и с дороги еще раз посмотрел на поляну. Там еще сияли в темной впадине листвы распущенные слепящей белизны хвосты.

Сикх сказал: «Они это часто устраивают. Им нравятся павлины и то, как они танцуют. А павлины любят, когда ими любуются».

Бомпер ехал ошеломленный виденным. Многое из того, что приключилось с ним, он мог отнести к известным махинациям, правда, иногда не очень понятным, организованным Шри-гушей, но сейчас он был свидетелем, когда сама природа предстала перед ним в своем первоначальном виде.

Машина безостановочно пробегала длинную дорогу. Мимо проходили грузовики и автобусы, раскрашенные, как на праздник; рядом с дорогой куда-то шли длинными рядами большие черные муравьи. Их бесконечные ряды отливали темно-синим. Они струились, как нескончаемый поток. Потом встретили сценку из свадебного церемониала. Жених ехал за невестой. Шли быки, украшенные цветочными венками. Мелькали поля, большие аллеи деревьев, смыкавших свои своды, и вдруг они увидели, что перед ними стоят машины, стоят, по-видимому, уже давно, потому что грузовики были без водителей, а шоферы сидели над узкой дорогой на откосе и мирно беседовали, курили, иные из них спали на траве, закрыв лицо платком.

Что произошло? Окружавшие отвечали неясно. Бомпер сидел несколько времени спокойно, подчиняясь невольно неожиданной задержке, потом его взяло любопытство. Что же там впереди все-таки? Он вылез из машины и пошел вперед вдоль линии остановившихся грузовиков. Пройдя грузовики и повозки с быками, он увидел группу крестьян, сидевших над дорогой и спокойно смотревших, как пасутся их буйволы, а дорогу плотно закупорил громадный воз с сеном. Бомпер подошел ближе, и ему стало ясно, что произошло. В узком месте дороги, при спуске, на крутом склоне громадная гора сена, разорвав веревки, ее окутывавшие, перевалилась вперед, упряжные ремни лопнули. Оставалось распрячь буйволов и идти на траву отдыхать.

Никто из подъехавших шоферов не стремился к тому, чтобы помочь беде. Им нравилось или дремать в своих кабинах, или разговаривать о жизни на травке.

Крестьяне, сопровождавшие воз, равнодушно смотрели на безнадежное положение, покорные судьбе. Кто должен изменить положение и освободить дорогу — никто не знал. Бомпер понял одно: он не попадет сегодня в Дели и будет ночевать здесь, на дороге. Чуда не будет. Помощи ждать было неоткуда. Подъезжавшие грузовики покорно останавливались, вставая в хвост. Объезда не было.

Бомпером овладело отчаяние. Но потом он решительно зашагал к своей машине. Решить эту дорожную задачу не представляло никакой трудности. Он сговорился со своим сикхом, и тому понравилось то, что предложил Бомпер. Сикха тоже не радовала перспектива ночевать в поле. Они подняли крестьян с травы. Бомпер взял дело в свои руки. Он приказывал, и его приказания выполняли. Его решительная речь произвела впечатление. К крестьянам присоединились те шоферы, которым надоело ждать невесть чего.

Бомпер велел всем влезть на воз с другой стороны и влез сам. Под тяжестью такого количества народа связанные в один громадный ком пачки сена шевельнулись и поползли назад. И наконец встали в то положение, в котором были с самого начала, до злополучного дорожного наклона. Все возликовали, как будто каждый был инициатором этой операции.

Крестьяне бросились за буйволами, подняли их, привели в порядок постромки, связали ремнями разрывы, и воз тронулся, давая дорогу.

Все машины пришли в движение. Бомпер, испытывая нечто вроде чувства гордости, сказал шоферу-сикху:

— Вот что значит сообразить! А то мы сидели бы тут без конца!

Шофер громко засмеялся:

— Да, они хитрые, эти раджастанцы! Они давно сообразили бы, что сделать, но им просто не хотелось. Они решили отдохнуть и никуда не торопиться. Если бы им было нужно, они сразу бы взялись за дело. И они боятся властей. Откуда они знали, кто вы такой. Гляди, еще оштрафуете их, если они откажутся слушать ваши приказания. Вот им и нечего было делать, как выполнять то, что вы говорите. А так они отдыхали бы до вечера. Да и эти шоферы грузовиков ничего не имели против такого неожиданного отдыха...

В Дели он попал под вечер и, приведя себя в порядок, отправился к Шведенеру. Как ни странно, Шведенер не удивился его приезду.

— Я знаю, где ты пропадал! Ты был в Агре?

— Откуда ты это знаешь?

— В тот день, когда ты уехал из Дели, какой-то незнакомец позвонил мне по телефону и сказал, что ты просил передать, что уезжаешь на несколько дней в Агру. Ну, я решил, все в порядке. Все ездят на поклон к Тадж-Махалу, и ты не миновал этого. Разве не так?

— Что-то не так, Ив! Не был я в Агре!

— А где же ты был?

— Я был в Джайпуре...

— Ну, дорогой Яков, какая разница! Джайпур рядом с Агрой.

— Рядом-то рядом, но со мной было нечто...

Шведенер стал серьезнее.

— Знаешь что? С какого-то времени я начал думать, что ты меня обманываешь, что с тобой происходит что-то, что ты от меня хочешь скрыть. А между тем тут такая страна, что легко попасть впросак. Я стал беспокоиться, и, видишь, прав. Что же с тобой случилось? Я никогда не видел тебя таким усталым и расстроенным...

И тут, попивая виски с содовой в довольно больших порциях от волнения и чувствуя, что больше нельзя скрывать от Шведенера, что с ним произошло, он рассказал, как к нему пришел присланный Шведенером Шри-гуша и что он предложил...

— Подожди, подожди,— прервал его Шведенер,— я не знаю никакого Шри-гуши.

— Как? Ты не посылал его ко мне? Он был тем самым наглым индийцем, что рассматривал меня в «Моти Махале», когда мы там были с тобой. Он сказал, что узнал тебя тогда, и раздумывал, подойти ли к нам, и решил не мешать нашей беседе...

Шведенер покачал головой и посмотрел внимательно на Бомпера.

— Так вот почему все посланные действительно мной люди возвращались ко мне, говоря, что ты не нуждаешься в их услугах. Так, значит, их просто перехватывал этот Шри-гуша и от твоего имени гнал их. Ты знал об этом?

— Первый раз слышу,— сказал, удивляясь все больше, Бомпер. Он рассказал Шведенеру всю историю своего знакомства с Шри-гушей, как они ездили к обезьянам, как он соблазнил его поехать в Джайпур, как они осматривали памятники Джайпура. Он умолчал только о Сером Ханумане и о своем романе с Нуэлой.

Когда он кончил, Шведенер облегченно засмеялся.

— Я думал, дружище Яков, что все гораздо мрачнее. Ты просто попал в лапы обыкновенному мелкому мошеннику, каких тут много. Он тебя околпачил, выжал из тебя, что мог, и бросил, так как увидел, что ты его раскусил и больше на обман не пойдешь. Надо будет все-таки разыскать этого мошенника и воздать ему должное. Меня только беспокоит первый ваш разговор, где у него было столько всяких предложений, вполне грязных. Это говорит о том, что он знает много притонов и связан с самым преступным миром. А может, он просто набивал себе цену. Да и, наверно, он не назвал своего настоящего имени. А то, что ты рассказал о танцах павлинов перед обезьянами в джунглях,— это прелестно, это замечательно. Я никогда не видел ничего подобного. Тебе просто повезло...

— Ты знаешь, мне показалось, что это сцена между режиссером и артистами. Режиссер набирает в труппу артистов, и вот пришли павлины и продемонстрировали свое искусство. Черт его знает, такую сцену надо включить в мою будущую книгу...

— Но хоть что-нибудь ты имеешь для будущей книги? Из того, что ты видел, пригодится что-нибудь?

— Кое-что, конечно, есть, остальное придется довыдумать.

— Да,— сказал Шведенер, принимая загадочный вид,— один мой знакомый рассказал мне, что видел тебя в ночном баре с женщиной, и довольно экстравагантной. Об этом ты мне ничего не рассказал. Это тайна?

Сам того не ожидая, Бомпер растерялся. Но, сейчас же взяв себя в руки, он небрежно сказал:

— Это было неожиданное — всего лишь мимолетное знакомство. В ночном баре одному уж слишком скучно.

— Она была индианка, не европеянка? — спросил Ив Шведенер.

— Трудно сказать, кто она, я так мало ее видел. Она европейски образованна, но по типу — смешанный случай. Говорит, что знатного рода.

— Ладно, дорогой Яков, ты, я вижу, все-таки утомился какими-то ненужными тебе переживаниями, а я ждал твоего возвращения для того, чтобы угостить тебя таким чисто индийским зрелищем, которое даст твоим мыслям особое направление. Будешь мне благодарен. Завтра вечером я покажу тебе такое, что развлечет тебя, и ты забудешь все свои нестоящие приключения. Я тебе сейчас даже не скажу, в чем дело. Пусть это будет мой секрет...

Вернувшись в свой отель, Яков Бомпер постучал в комнату к Нуэле. Никто ему не ответил. Он справился — она еще не приехала в отель.

Яков Бомпер сидел над своей синей записной книжкой в некоторой рассеянности. Он не мог собрать мыслей. Его записи носили самый разбросанный характер. То он писал о Сером Ханумане, то об исчезновении Шри-гуши и Нуэлы, то о положении, в котором он очутился совершенно неожиданно.

«Серый Хануман есть, я видел его своими глазами,— писал он,— он — рослый, и ум его, по-видимому, необычный для обезьян. Он действует на своих собратьев, как действительно выдающийся вожак. Я видел его в разных положениях. Миф новой Азии начал свое действие. Он должен войти в новую книгу как одно из главных действующих лиц. Это — герой легенды, недаром в Индии чтят бога обезьян — Ханумана, который вместе с Рамой воевал с демонами Цейлона за освобождение жены Рамы — Ситы. Сегодня обезьяний бог снова воплотился и пришел на индийскую землю. Все это так,— писал он,— но какую роль в этой истории играют Шри-гуша и Нуэла? Я снова стучал в ее комнату: ее нет. Никакого Шри-гуши Шведенер не знает и не посылал его ко мне. Значит, он сам пришел — зачем? Почему Нуэла знает

Шри-гушу и оба отказываются от того, что они знакомы? Какая опасность угрожает мне? Что я сделал, чтобы навлечь эту опасность? Если ничего нового не произойдет за сегодняшний день, я завтра откроюсь во всем Шведенеру — пусть он скажет, что делать, или мы вместе попытаемся объяснить себе, что происходит, и найдем выход!..»

Так, раздираемый тревогой и волнением, Яков Бомпер провел тяжелый, гнетущий день. Он взял такси и объехал места, где бывал с Нуэлой. У него была слабая надежда — встретить ее случайно. Он бродил по улицам старого Дели, заехал в Красный Форт, был у Китаб-Минара, прошел взад и вперед по Коннот-Плейс, заглядывал в кафе, все было напрасно. Ее не было нигде. Пообедав в одиночестве, тоскливо осматривая зал, он решил спросить у портье, не оставила ли она какой-нибудь записки на его имя.

Никакой записки не было. Тогда он принял снотворное, лег в постель и проспал до вечера. Его разбудил Шведенер, заставил его быстро одеться и ехать с ним в клуб каких-то христианских юношей, где предполагалось выступление известнейшего йога. Билеты стоили шесть рупий. Это было слишком дорого для рядового зрителя. Подобная цена гарантировала, что будет только избранное общество.

И действительно, приехали иностранцы из миссий и посольств, туристы, представители богатых индийских семейств. Всего на зеленой, немного покатой поляне, на стульях свободно сидело человек полтораста. Стулья стояли на траве в несколько рядов, полукругом перед воздвигнутой в середине лужайки небольшой платформой, на которой возились помощники йога.

Они установили на платформе большую, как будто взятую из школы грифельную доску, разложили у подножия платформы костер, который к началу выступления йога уже отгорал, сделали ровную огненную дорожку, на которой, хрустя, раскалывались пышущие синим жаром угли. В стороне нанятые землекопы рыли подобие могилы, выбрасывая по сторонам ее большие комья светлого песка. Все эти приготовления наблюдали зрители, постепенно заполнившие всю лужайку.

— А где же сам йог, что-то я его не вижу? — спросил Бомпер, ища среди зрителей какого-то необыкновенного человека в фантастическом одеянии восточного волшебника.

Шведенер обратил внимание на одного, одиноко стоящего индийца, совершенно безучастно наблюдавшего за приготов-

лениями. Он был невысок, смугл, с маленькой, аккуратной бородкой, одет в черный тонкий сюртучок, с легким тюрбаном на голове. Он стоял, молча скрестив руки на груди. В его злых, острых глазах жило необыкновенное беспокойство. Он зорко смотрел во все стороны, точно хотел запомнить каждого из присутствующих или искал кого-то среди зрителей, нетерпеливо переговаривавшихся между собой.

Особо он остановил свой настороженный взгляд на Бомпере, потому что Бомпер вынул свою записную синюю книжку и, старательно оглядываясь, хотел занести в нее все подробности окружающей обстановки. Он записывал движения помощников мага, костюмы присутствующих, а когда Шведенер указал ему на стоявшего неподвижно человека и сказал, что, по всей видимости, это и есть сам маг, он набросал его портрет и, не выпуская из рук книжки, стал следить за каждым его движением.

Когда устроители вечера убедились, что все гости съехались, а служители проверили прочность огромной плетеной загородки, поставленной так, чтобы простые прохожие и любопытные не могли со стороны дороги видеть бесплатное зрелище, на платформу вышел высокий худой американец — представитель клуба христианских юношей — и представил йога публике, сказав несколько слов о его известности и силе его чудес. За ним вышел сам йог, тот самый скромный индиец со злыми глазами, и сказал, что он занимается давно своим делом, что он достиг большого совершенства и что он может каждого сделать подобным себе, если человек согласится пройти всю долгую подготовительную стадию самоограничения и искания силы в себе.

Потом он рассказал, как он ездил в Европу и в Америку. Сначала он пришел за визой к английскому консулу. Он хотел ехать в Лондон. Консул довольно грубо ответил ему, что для подобных артистов виз нет и не будет. Тогда он вынул пузырек и, показывая его консулу, сказал: это — соляная кислота. Взял со стола консула стаканчик, налил в него соляной кислоты и выпил и предложил консулу сделать то же. Консул посерел и дал ему визу. Он был в Кембридже и в Оксфорде, он был в Мемфисском университете в Америке, он много где был. Всюду ему давали удостоверения, что его чудеса научны, хотя им нет пока научного объяснения. Он показывал чудеса ученым, и они должны были признать, что он в самом деле был помещен в стеклянный колокол, откуда был

выкачан воздух, а в таком колоколе живое существо живет самое большее несколько минут, оно задыхается, а он провел сорок минут в этом колоколе и, как видите, цел. Сказал, что к тому же он борец за мир и гуманист в европейском понимании этого слова. Он кончил речь и поблагодарил за внимание.

После этого он спустился в первый ряд и вынул из сюртучка две колоды карт. Держа над головой в обеих руках по колоде, не обращая внимания на сидящих, он медленно пошел вдоль первого ряда, предлагая брать из его рук по карте, по две, даже по три карты, кто сколько хочет. Карты у него брали зрители из всех рядов. Когда он прошел до конца первого ряда, раздав все карты до одной, он повернул назад. Быстрым шагом он пошел обратно, останавливаясь против каждого, кто имел карту, протягивал руку и говорил: «Дама пик!» Удивленный зритель, пожав плечами, удостоверялся, что он действительно взял даму пик, и отдавал карту йогу, который переходил к следующему. Абсолютное спокойствие, с каким он называл карты, поражало.

Когда встречались три карты в одних руках, он говорил державшему: «Как вы хотите, чтобы я назвал их: справа, слева или сначала среднюю?» — «Среднюю»,— говорил джентльмен, и йог называл среднюю карту не моргнув глазом. Он отбирал карты с быстротой молнии, двигаясь почти бегом. Задержавшись у Шведснера и сказав: «Дайте вашего короля червей», он ледяным взором охватил сидевшего рядом Бомпера, увлеченного записью происходящего в свою синюю книжку.

С презрительным спокойствием отобрав обе колоды и повергнув зрителей в трепет, поднялся на платформу, и помощники подали ему пакетик и поставили рядом пузырек. Легким движением он показал зрителям синие лезвия безопасных бритв, сказал: «Я их съел уже три тысячи двести тридцать штук», начал жевать их, как пастилку. Он открывал широко рот, и было видно, как синие кусочки стали вонзились ему в язык, в десны, торчали во все стороны. Он грыз их, как монпансье. Затем, показав, что рот чист, бритвы уже проглочены, он налил в стаканчик соляной кислоты, с удовольствием выпил, как простой сок, и остаток плеснул с платформы на траву. Трава зашипела, как будто вспыхнула, и, почернев, свернулась. Зрители аплодировали.

Принесли что-то завернутое в белый войлок. Он вынул из войлока и высоко поднял над головой большую матовую

стосвечовую лампу, потом снова погрузил ее в войлок и слегка ударил о край стола.

Лампа заглушенно треснула, и теперь он вынимал ее по кускам. Прихотливо изогнутые осколки, блестевшие в закатных лучах, он пожирал, бесстрастно и быстро. Они хрустели у него на зубах. Порой он делал такое лицо, точно ест вкусное домашнее печенье. Он опять разевал рот, и все видели, как там, вонзившись в нёбо и в язык, торчат куски толстого матового стекла. И не видно ни одной кровинки. Благополучно одолев стосвечовую лампу, он также запил ее соляной кислотой и спросил: кто-нибудь желает повторить этот опыт? У него есть в запасе еще одна лампа!

Оценив его юмор, зрители дружно зааплодировали. Затем наступила небольшая пауза, принесли в банке какого-то белобрюхого гада, и он отгрыз ему живому голову, а тело бросил за платформу. Было очень противно, и многие отвернулись от этого отвратительного зрелища. Он снова предложил, не захочет ли кто-нибудь попробовать, но на этот раз раздались самые жидкие аплодисменты и смешки.

Бомпер, не выпуская из рук синей записной книжки, записывал все подряд, что происходило перед ним. Его не смущали молниеносные взгляды йога, бросаемые в его сторону. Да и, увлеченный зрелищем, он не видел этих незаметных взглядов. Он, казалось, забыл, что с ним было до того, и весь вошел в новые переживания.

Помощники йога принесли на платформу какой-то черный платок и большой ватный тюрбан. Помощник сказал, что если есть желающий, то он попросит его подняться на платформу и примерить этот тюрбан.

Нашелся какой-то американец, худой, в клетчатых штанах, видимо человек недоверчивый и упрямый. Он тщательно обследовал платок и тюрбан, дал окутать платком голову и прикрыть тюрбаном, который плотно закрывал глаза. Потом он повертел головой и помахал рукой, удостоверяя, что он ничего не видит в этом странном уборе.

Тогда йогу черным платком завязали голову, тщательно приладили тюрбан, и, взяв его за руку, помощник вывел его вперед и поставил перед доской. Помощник объявил, что йог просит выходить к доске и писать на ней по-английски любые слова. Сейчас же нашлись желающие, и образовалась даже небольшая очередь спешащих написать что-нибудь на

доске. После каждого написанного слова йог подходил к доске и рядом с написанным писал то же слово.

Потом помощник сказал, что можно писать на любом языке. На доске стали появляться слова, написанные по-французски, по-русски, по-арабски, по-испански. И йог медленно, старательно воспроизводил их, точно срисовывая с подлинника. Внезапно на Бомпера нашло некоторое необъяснимое желание. Он поднялся на платформу и, держа в левой руке свою записную книжку, правой взял мелок и написал большими буквами: «Ганглорд». И тогда среди зрителей кто-то громко, нарочито громко рассмеялся. Бомпер вернулся на свое место. А йог, вглядываясь в написанное слово, вдруг сказал громко: «Я плохо вижу!»

Это было вообще странным, потому что он и так ничего не видел в своем черном платке и в тюрбане до рта. Однако помощники сейчас же зажгли два факела, и вдруг все увидели, что действительно уже наступил сумрачный, синий вечер. В освещении факелов теперь, по разрешению йога, начали рисовать. Один почтенный старик нарисовал на доске домик, человеческую фигуру и что-то на четырех ногах. Йог сказал: «Вижу домик, человека, а что за животное, не разберу — не то кошка, не то собака». Зрители засмеялись. Йог был прав. Со стороны тоже нельзя было разобрать, что это за животное.

Между тем наступили густые сумерки. Факелы распространяли какую-то тревогу. Засветились угли давно потухшего костра перед платформой, покрытые тонкой пепельной пленкой. Два зловещих факела бросали на все красно-черные отблески.

Йог снял свой тюрбан и платок, отдышался и сказал пренебрежительно, что по раскаленной дорожке он ходить не будет, так как это очень легко, и пусть увидят, как это легко на самом деле. Сейчас вместо него пойдут его ученики. Йог встал у начала огненной дорожки. Его помощники скинули туфли, и йог, протянув руку, коснулся их шеи и рук, потом плеснул воду из небольшого сосуда на их ноги и угли. И они пошли друг за другом по раскаленным голубым углям. Первый шел уверенно, тихо, спокойно. У второго посередине огненной тропы что-то дрогнуло в лице и прошла еле заметная судорога, какая бывает у человека, идущего по жниводью голыми ногами и вдруг уколовшего пятку. Но он быстро согнал с лица эту морщинку боли и благополучно дошел до конца.

Как всегда, после оконченного номера йог предлагал желающим повторить его. Так сделал он и сейчас. Только он равнодушно сказал: «Нет ли желающих?» — как звонкий, даже очень громкий голос ответил: «Я желаю!»

— Пожалуйста,— сказал йог, и, поспешно отодвинув стул, из второго ряда вышла красивая индийская девушка, богатое сари ее сверкало в свете костра и факелов. Ее решимость была такой уверенной, что Бомперу показалось, что йог на секунду смутился, но потом он так же тронул руку девушки, коснулся ее шеи и плеснул водой на ее ноги и на угли, и она прошла гордо подняв голову. Едва она наклонилась, чтобы надеть сандалии, как из того же ряда раздался мужской голос: «И я хочу пройти!» К йогу подошел молодой индиец, широкоплечий, в черном сюртуке, в белых панталонах. Бомпер подумал, что это кавалер девушки и что если она решилась пройти, то ему будет стыдно не повторить этого. Она его засмеет, если он откажется, испугается этих сизых углей. Молодой человек прошел через огненную тропу так же уверенно, как девушка.

И вдруг Бомпера осенило, что он тоже может сделать это и что все присутствующие, неизвестно почему, тоже могут безболезненно пройти по углям. Но он не встал с места, потому что йог сделал знак, призывающий к молчанию, и тут все его помощники и служители расступились, и зрители увидели разверстую могилу с песчаными грудами по ее краям.

Йог сказал:

— Сейчас я лягу в эту могилу, и меня засыплют. Год назад я сделал это на юге. Там на моей могиле выросла трава. Я месяц пробыл в земле, пока меня откопали. Я не могу сегодня испытывать ваше терпение, чтобы вы целый месяц ждали меня здесь. Поэтому я пробуду только сорок минут. Благодарю вас.

Он направился к могиле, а представитель клуба сказал, обращаясь к присутствующим:

— Очень прошу во все время этого действия соблюдать полную тишину, не шуметь и не двигаться...

Йог очень ловко и бесшумно разделся, скинул свой сюртучок, узкие штаны, снял тюрбан. На нем осталась только набедренная повязка. Ему дали простыню, чтобы песок не прилип к телу. Он влез в могилу и встал в ней. Его подбородок был на уровне земли. Он завернулся в простыню и опустился на дно ямы. Наступила тишина.

В этой тишине был слышен только стук лопат и тяжелое дыхание закапывавших яму людей. Песок ложился в яму все плотней и плотней. Когда яма была наполнена доверху и площадка утрамбована, представитель клуба с хронометром в руке начал громко возглашать минуты. Первая... вторая... двадцатая... тридцатая...

Все сидели окаменев. Факелы трещали. Их багровые тени ложились на песок, на лица застывших с лопатами индийцев, на потемневшие угли. Воздух стал жарким и гнетущим. Нечем было дышать. Всем стало нестерпимо душно. Подошла сороковая минута звенящей тишины.

Взмахнув рукой, представитель клуба дал знак приступить к разрытию. Сначала шли в ход лопаты, потом, по мере того как песок выбирался все больше и больше, помощники йога, отодвинув людей с лопатами, начали руками шарить в яме, нащупывая неподвижное тело. Потом они помогли йогу встать и вылезти из ямы. Вот весь он появился наверху. Сбросил простыню, минуту стоял неподвижно, потом сделал движение плечами, и было видно, как по его спине скатывался песок, шурша коричневым ручейком. Он закрыл лицо и начал что-то быстро шептать. Тут к нему бросились любопытные.

Два доктора — мужчина и женщина — щупали его пульс, его мокрые от пота плечи и грудь. Он стоял, тяжело дыша, окруженный вдруг заговорившей возбужденной толпой.

Тогда, раздвигая стоявших около йога, к нему протиснулся Бомпер. Он был в состоянии какого-то болезненного экстаза. Сжимая в руке свою синюю книжку, он смотрел на йога во все глаза, и йог поднял на него свои. В эту секунду у Бомпера как будто пронесся радужный вихрь в мозгу, и он все стоял и смотрел в бездонную ночь злых, узких, острых глаз чародея. Потом к нему вернулось сознание. Он, шатаясь, как от неведомой усталости, пошел вместе с толпой к Шведенеру, который уже ждал его, тоже возбужденный и довольный, что угостил своего друга таким зрелищем, какое не каждый день увидишь...

Кругом толпился, волнуясь, народ, шумевший о виденном. Звали шоферов, искали знакомых, обменивались замечаниями. В этой толпе Шведенер не сразу нашел свою машину. Когда они уже сели в нее, Шведенер спросил:

— Ну как, Яков, не правда ли, поразительно?

— Удивительно. Я ничего не понимаю,— сказал несколько растерянно Бомпер.

Машина уже тронулась, когда он закричал вне себя:

— Останови машину, Ив, сейчас же останови!

— Что случилось?

— А где моя книжка?! Где моя записная книжка, Ив! Она пропала! У меня ее нет.

Шведенер сидел молча, смотря на искаженное лицо Бомпера, и вдруг его осенило. Он сказал, волнуясь:

— Не ищи книжки! Ты ее не потерял, несчастный! Ты сам отдал ее йогу. Ты зачем полез к нему, когда он вылез из ямы? Он следил за тобой, видел, что ты все записываешь. Это ему не понравилось. Он велел тебе пробиться к нему сквозь толпу, и ты пошел и отдал ему сам свою книжку... Вот и все! Теперь это дело пропащее...

— Как же так,— стонал, содрогаясь, Бомпер,— там было все. И все записи, которые я вел в Индии. И, наконец, все адреса, все телефоны Женевы, Цюриха, Парижа, да и другое. Что делать? О, что делать?

— Я отвезу тебя в отель, потому что не обращаться же сейчас к йогу. Он скажет, что ты сумасшедший. Ты прими на ночь снотворного, я тебе дам порошки сейчас. Очень помогает. А завтра мы обсудим и как-нибудь сообразим, что делать... Поехали! Не приходи в отчаянье. Видишь, Индия не так скучна, как тебе она показалась сначала...

В отеле портье передал ему записку, на которой было написано неизвестным ему почерком: «Желаю счастья», и букет лиловых с желтым орхидей, испускавших томительный, неприятный запах. Подписи под запиской не было.

Полный самых смешанных ощущений, валясь с ног от непонятной усталости, он поднялся на свой этаж шатаясь, прошествовал по коридору, постоял у комнаты Нуэлы, откуда не доносилось ни одного звука, и открыл дверь в свой номер. В комнате было темно. Он зажег свет и отшатнулся. У стола, как-то необычно согнувшись в кресле, спиной к нему сидела женщина. Цветы выпали из его руки. Он рванулся вперед. И замер. Перед ним сидела Нуэла. У нее в левой руке был зажат бокал, правая бессильно свесилась с кресла. На столе стояла бутылка виски и бутылка содовой. Глаза Нуэлы были закрыты.

Он дотронулся до нее, и она всей тяжестью скатилась с кресла, он едва успел ее подхватить. В ужасе он прислонил ее к спинке кресла. Мертва она или в ней еще есть жизнь?

Он сам не помнит, как от возбуждения, от абсолютного, разламывающего все его существо мучительного припадка отчаяния и безвыходности он закричал.

Он сам не представлял себе, как громко и страшно он закричал, и сел на пол, прислонясь к креслу, с которого свешивалась неподвижная рука Нуэлы. Он не помнит, как комната вдруг наполнилась людьми. Эти люди подняли его и посадили в другое кресло. Они же ходили по комнате, что-то делали, а он пребывал в такой смертельной усталости, что не мог ни говорить, ни шевельнуть рукой.

Он не помнит, сколько продолжалось это непонятное состояние. Постепенно из хаоса каких-то отрывочных представлений возникла мысль: бежать! Куда? В посольство! Там укрыться от всей этой нелепости, от этого бреда, в котором, разламываясь, куда-то в бездну летел весь мир, увлекая его...

А люди действовали в комнате, странным образом не обращая на него никакого внимания. Пришел, по-видимому, доктор, который осмотрел Нуэлу, потом он дал знак, и ее унесли на носилках, другие что-то делали с бутылками виски и содовой, потом бутылки исчезли. Он закрыл глаза, и ему даже показалось, что он уснул.

И сквозь тяжелый, короткий сон все еще слышались ему возня, шаги, голоса вокруг него. Потом все стихло.

А когда он снова открыл глаза, в комнате было пусто. Не совсем, правда. Бомпер лежал на диване, перенесенный неизвестной силой с кресла, в котором он потерял сознание, а против него в кресле сидел совершенно незнакомый ему человек, и Бомпер невольно начал рассматривать его.

Человек был в полуевропейском костюме, в брюках, в пиджаке, но под пиджаком была какая-то легкая курточка. На шее сидящего лежал длинный отложной воротник с острыми тонкими краями. Лицо было мужественное, загорелое, энергичное. Вся фигура говорила о том, что скорей всего это переодетый военный. Подчеркнутая выправка, строгие, спокойные глаза. Усы подстриженные, аккуратные, густые, темные. Он не был похож ни на доктора, ни на ученого, ни на чиновника. Его глаза испытующе смотрели на Бомпера, но скорее с любопытством, чем с сочувствием.

Убедившись, что Бомпер пришел в себя и можно с ним разговаривать, он придвинул вплотную кресло к дивану и сказал: «Все в порядке!»

Оглядев пустую комнату и пустой стол, он снова с каким-то удовлетворением повторил: «Все в порядке! Отдыхайте! Никуда не уходите. Завтра утром я приду к вам пораньше. Не бойтесь. Вас будут охранять. Но прошу вас, не покидайте сегодня комнаты. Хотя уже поздно. Вы и так не уйдете. Примите снотворное, что дал вам ваш друг,— вот оно, на столе, и спите. Покойной ночи. До утра!»

И, поднявшись точным движением кавалериста, собирающегося вскочить в седло, он удалился почти неслышной походкой.

Бомпер вскочил с дивана, у него кружилась голова. Он сел в кресло и сидел долго, пока не смог встать и принять снотворное. Откуда этот человек взял снотворное? А! Из его кармана. Значит, они все же обыскали его, откуда же иначе он знал, что там снотворное. Бомпера охватил новый упадок сил. Он пробовал бороться, но это было свыше сил. Он так и уснул, сидя в кресле...

Хотя утро было обыкновенным и, конечно, по уличному простору Нью-Дели уже пронеслись несчетные ряды велосипедистов в белых шуршащих одеждах, но сейчас они не влекли воображение Якова Бомпера, как и разложившие свой товар на газоне люди из Ладака, черные одеяния которых наводили мысли на борьбу света с тьмой или на что-либо подобное.

Теперь Бомперу было не до них. И как ни странно, но потеря всех записей, потеря его привычной синей записной книжки, как бы лишила души все его замыслы и фантастические повороты сюжета.

Он иронически сравнил себя с жуком, отравленным формалином и посаженным на иглу, вонзившуюся в номер делийской гостиницы. Кроме того, у жука были оборваны издевательски все крылышки. Он готовился к самому худшему, и, когда в дверь постучали уверенно и безотказно и вошел вчерашний бравый индиец с жесткими, густыми усами, военной выправкой и серьезными глазами, Бомпер указал ему молча на кресло у стола, сел и выжидательно смотрел на гостя, который как будто в свою очередь ждал, что скажет Бомпер. Тогда, убедившись, что перед ним несомненно представитель власти, может быть полицейский инспектор, Бомпер сказал довольно спокойным голосом:

— Вы меня арестуете?

В то же время его смутили эти острые язычки белого воротника, выпущенные сверх курточки и придававшие посети-

телю какой-то штатский оттенок. Его неожиданный гость, взглянув на него спокойными строгими глазами, вместо ответа раскрыл свой толстый портфель и вынул из него такую знакомую Бомперу его заветную, драгоценную записную синюю книжку.

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, мистер Бомпер, я хочу вас спросить: это ваша записная книжка?

— Моя! — задрожав всем телом, сказал Бомпер, удивляясь сам, что не может сдержать дрожи.

— Вы можете получить ее обратно, проверьте страницы, но я могу вас заверить, что они все на месте, как и записочки в ее кармане...

Бомпер взял книжку. У него было большое желание раскрыть ее, но он сразу же спрятал ее в карман, и почему-то ему вдруг стало веселее. Он спросил не без волнения:

— Но кому я должен выразить благодарность? Я так тронут, так взволнован — здесь все мои заметки, мои мысли, надежды. Вы так трудились...

— Это не имеет значения,— сказал незнакомец.

— Но мне просто неудобно обращаться к вам без имени... Если у вас много имен, назовите любое, и я буду благодарен вам от души.

— Ну что ж, я зовусь Рам Дасом. Это имя легко запоминается и легко произносится.

— Уважаемый мистер Рам Дас, с чего же мы начнем наш разговор, я думаю, о не совсем обыкновенных и важных вещах...

Рам Дас снова открыл свой портфель и извлек из его недр несколько фотографий.

— Мы начнем вот с этого, чтобы нам было легче разобраться в дальнейшем.

Первая же фотография, которую стал рассматривать Бомпер, как будто изображала его самого, но при тщательном осмотре сразу можно было найти некоторые несвойственные ему черточки. На второй фотографии этот человек, почти двойник Бомпера, был рядом с женщиной, которую Бомпер сразу узнал. Это была Нуэла. На третьей фотографии он узнал бесспорно себя и Нуэлу в ресторане в Дели, на четвертой они с Нуэлой сидели на слоне. Это была поездка в Амбер, город дворцов.

— Кто этот человек? — спросил Бомпер.— Из-за него, из-за этого сходства меня арестуют.

Рам Дас усмехнулся одним глазом.

— Почему вас арестовывать? Разве вы в чем-нибудь виноваты?

— Клянусь вам, я ни в чем не виноват...

— Тогда расскажите все, что с вами было, как вы встретились с Нуэлой?

— Вы ее знаете?

— Немного,— уклончиво сказал Рам Дас,— как и Шри-гушу... Он вам знаком?

— Еще бы! — воскликнул Бомпер.

— Посмотрите на этот галстук на фотографии у этого человека. Вам подарила такой же Нуэла. И вы его носите...

В смущении Бомпер посмотрел на свой галстук.

— Они оба синего цвета, потому что человек на фото любил галстуки синего цвета...

— Не понимаю,— сказал Бомпер.

— Вы всё узнаете, расскажите подробно обо всем, не пропуская ничего. Это очень важно...

И Бомпер шаг за шагом описал все свои приключения, нисколько не защищая себя, откровенно открывая все действия, которые он предпринимал вместе со Шри-гушей. Он запнулся перед тем, как рассказать о встрече с Вожаком всех обезьян — Серым Хануманом, но, подумав, выложил и всю джайпурскую историю, ничего не пропустив... Роман с Нуэлой он должен был изложить немного наивно, но суровый его собеседник слушал не перебивая, ничего не записывая, ни на что не откликаясь. Он молчал, сохраняя мрачное внимание. Когда Бомпер дошел до вчерашнего события с йогом, Рам Дас перебил его:

— Вы вчера написали на доске «Ганглорд» и удивились, что в публике кто-то рассмеялся. Допустим, что смеялся я, потому что было еще не время показывать вам карточку, где он изображен. А теперь его портрет перед вами...

— Вот этот, мой двойник или почти двойник? — вскричал Бомпер.— А где он сейчас?

— Я боюсь, что он умер от ран, полученных в перестрелке с таможенниками, а может, и жив. Он живучий, этот человек, именующий себя Ганглордом.

— Что все это значит? — спросил Бомпер.

— Вы — писатель, и вам это будет интересно. Вам даже надо знать, что бывшие колонизаторы и их друзья-империалисты всеми средствами хотят затащить нашу страну на

сторону реакционного лагеря. Они не брезгуют никакими средствами. Они хотят всячески нарушить ее экономику путем спекуляций с валютой, ввозом золота, контрабанды, торговлей наркотиками. И мы должны обороняться от этих упорных, сильных, хитрых врагов. Знаете ли вы, что мы конфискуем ежемесячно золота на миллионы рупий, это — только золота. Ввозят спиртные напитки, а у нас почти всюду «сухой закон». На этом деле становятся миллионерами. Контрабандисты имеют сильных покровителей, и борьба с ними нелегка... Ганглорд, я не буду называть его настоящего имени,— удачливый давний предводитель большой банды, которую мы бьем по частям. Он знал, что мы напали на след его новой большой операции, которую он проводил в Бомбее. Судя по вашим запискам, вы не были в Бомбее?

— Нет, к сожалению, нет,— сказал задумчиво Бомпер.— А что — это стоящий город?

— О, это красивейший город мира! — воскликнул Рам Дас.— Одна его Жемчужная набережная что стоит. Марин Драйв— невозможная красота. А Малабар-хилл, а Джуху! И вот в таком большом городе на берегу моря преступный мир цветет пышным цветом. Там была задумана широкая операция. Она заключалась в том, чтобы обмануть нас и увести след Ганглорда, воспользовавшись его сходством с вами, подальше от Бомбея, внушить нам, что задумано совсем другое и в другом месте, не имеющее отношение к морю. Шри-гуша, у него тоже хватает имен, но он взял это имя, старый, ловкий авантюрист, посоветовал Ганглорду отпустить на эту операцию его любовницу Нуэлу, чтобы она, появляясь с вами, убедила бы, что Ганглорд не имеет ничего общего с Бомбеем. Первый момент это было убедительно. Ганглорд исчез из Бомбея, обнаружился в Дели и потом в Джайпуре. Но дело в том, что Шри-гуша переиграл. Он хотел, чтобы Нуэла принадлежала ему, и, когда она отказалась, он сказал ей, что он донесет Ганглорду, что она предает их, и ее убьют. Нуэла впала в бешенство и пришла к нам. Она стала нашей союзницей. Мне кажется, что тут известную роль сыграли вы...

— Я? Я ничего не знал обо всем этом! — воскликнул в испуге Бомпер.

— Вы меня не так поняли. Тут известную роль сыграло то обстоятельство, что Нуэла, как она сама призналась, влюбилась в вас...

Бомпер сжал руки. Он ничего не сказал. Рам Дас неумолимо продолжал:

— Вы уже уехали в Джайпур со Шри-гушей. В Бомбей было сообщено, и там приняли меры. Но мы знали Шри-гушу. Он мог не зря поехать в Джайпур. У него старые связи со многими иностранными хищниками. Может быть, он рассчитывал на ценности джайпурских дворцов. Ограбили же в свое время форт в Агре, а недавно хотели выкрасть драгоценности, украшающие гробницы Тадж-Махала, и эту шайку возглавлял иностранный дипломат.

Один из людей Шри-гуши был своим человеком в Джайпуре, знатоком местных условий, и он придумал историю с Серым Хануманом...

— Но позвольте,— сказал угрюмо Бомпер,— Серый Хануман существует. Я сам видел его не раз...

— Конечно, он существует. Это особо редкий экземпляр обезьян, а Джайпур, как вы убедились, город обезьян. Такой крупной обезьяны, больше шимпанзе, такого роста серого ханумана нет второго в Индии. Он был особо воспитан и был любимцем одного из приближенных джайпурского князя. Мы все любовались им. Он обучен носить европейское платье, играть на пианино, танцевать, есть за столом, и этим очень умно воспользовались, чтобы убедить вас в обезьяньем фантастическом заговоре, которого он является главой.

— Но ведь он при мне откликался, когда его Шри-гуша позвал. Он закричал ему: «Сундар! Сундар!» — и он обернулся. Мне сказали, что это пароль.

— Какой пароль! Это его настоящее имя — Су́ндар — красивый!

— Но как же он у меня в комнате рисовал?

— Его привели к вам, чтобы лишний раз подтвердить, что он разумен и что-то предпринимает сознательно. Человек, водивший его, получал за это немалые деньги...

— Но как же он написал среди бессмысленных узоров имя — Ганглорд!

— Простите, но это написал я, выпроводив обезьяну из комнаты... Теперь я должен сказать, что произошло в Бомбее, где Ганглорд был в полной уверенности, что мы попались на его хитрость и все проморгали. А мы были настороже. Мы уже знали, что вы не Ганглорд, и знали, что Шри-гуша в ярости сообщил Ганглорду, что Нуэла их выдала. Она их не выдавала, они оба боялись мести, Шри-гуша — за то,

что будто бы отбил у Ганглорда Нуэлу, а Нуэла — мести за ложное предательство, о котором сообщил Шри-гуша Ганглорду. Вот почему они оба испугались этой надписи, неведомо как появившейся и срывавшей дальнейшее пребывание Шри-гуши в Джайпуре. Это был крах его джайпурских планов. А между тем замаскированная под рыбачью моторно-парусная шхуна в Бомбее причалила к берегу в условленном месте, и, когда они кончали перегрузку своих товаров, они были окружены. Одни успели на лодках бежать в море, другие, побросав машины, приняли бой, что случается редко. Завязалась перестрелка. Они убежали в джунгли, но один, смертельно раненный, признался, что сам Ганглорд очень тяжело, почти смертельно ранен и унесен в заросли за Джухой. Таможенники взяли богатую добычу: золото, ручные часы, драгоценные камни, спиртные напитки, наркотики. Это — сотни тысяч рупий. Нам казалось, что теперь они могут поставить вас в опасное положение, особенно если жив Ганглорд или даже если умер. Они могут похитить вас...

— Зачем?

— Вы же двойник Ганглорда! С таким двойником рядом можно делать дела. Вы ничего об этом не подозревали, а мы не очень хорошо представляли вас. А когда ваша записная книжка попала, к счастью, в наши руки...

— Но разве йог,— устав от трудного разговора, от наплыва впечатлений, от всего услышанного, спросил Бомпер,— разве йог был тоже с ними?

— Нет, йог здесь ни при чем. Он сам по себе. Но мы немного сильнее йогов, как вы видите. Когда мы познакомились с вашей книжкой, мы приняли свои меры в самый раз. Смотрите, что задумал Шри-гуша, и задумал хитро, потеряв надежду иметь Нуэлу. Он решил ее отравить у вас в комнате, куда заманил ее, как бы на свиданье с вами. Мы, однако, опередили его и подменили вовремя яд сонным порошком и спасли Нуэлу...

— Она жива! — воскликнул Бомпер.— Она — прелестная женщина. Она действительно старого рода?

— Если хотите — да, с одной стороны. Она уроженка Гоа, из старинной семьи. Она, как и Ганглорд, португальского происхождения. Она запуталась в истории с ним и стала его любовницей, не зная точно, чем он промышляет.

— Теперь я понимаю ту записку, что получил как-то в Дели, где говорилось о море и о луне...— сказал Бомпер.

— Это было сделано открыто, нарочно, чтобы подчеркнуть вашу тайную связь, чтобы наши сыщики могли сказать, что связь есть и шифр действует.

— А кто же мне принес сандаловую коробочку в Джайпуре?

— Признаюсь, это был я. Надо было спешить, чтобы Шри-гуша не убил Нуэлу в Джайпуре и чтобы вы уехали спокойно, зная, что она жива. А сейчас, я уверен, мы добьем Ганглорда. Мы идем по верному следу. Шри-гуша в наших руках. Больше вредить он не будет. Он не останавливался, если надо, ни перед чем, ни перед ядом, ни перед ножом. Эта операция обогатила наш опыт...

— Я не знаю, как благодарить вас, дорогой Рам Дас, вас и ваших друзей, которые разорвали такую паутину смертельной опасности, в которой я оказался, запутался и, вероятно, погиб бы, если бы не вы...

Рам Дас покрутил свои холеные густые усы с чисто офицерским задором.

— А теперь два слова о вас,— сказал он дружески,— судя по вашим записям, вы собирали материалы, ехали в Индию за сюжетом. Жизнь, насколько я понимаю, дала вам довольно сильный сюжет. Надеюсь, мы когда-нибудь прочтем вашу книгу об Индии. Я прошу прощенья, что не читал всех ваших произведений. Но одно знаю по названию. Если не ошибаюсь, книга ваша называлась «Игра теней». Может быть, новую вы назовете «Игра людей».

— Не знаю, что я напишу,— сказал Бомпер, потрясенный до глубины души всем услышанным,— но все, что произошло со мной, так глубоко меня расшатало, что я никогда не забуду этой поездки. А сейчас я бы хотел просить у вас одного одолжения. Я чувствую, как я устал. Возможно, непривычный климат играет тут свою роль, но я хочу просить вас помочь мне как можно скорее улететь домой. Мои нервы нуждаются в отдыхе и тишине.

— Я сам хотел вам дать такой совет,— ответил Рам Дас, вставая.— Вам, конечно, нужно уехать как можно скорее. В отъезде мы вам поможем. Скажите,— сказал он, помолчав,— если я вам задам очень странный в нынешних обстоятельствах вопрос: если Нуэла попросит у меня ваш адрес в Женеве — дать его или нет?

И вдруг Бомпер почувствовал, что краснеет под открытым взглядом Рам Даса.

— Нет,— сказал он сразу, но что-то как будто толкнуло его в плечо, он покраснел еще гуще и сказал: — Дайте!

— Все ясно! Все в порядке! На днях мы оформим ваш отъезд! Я ухожу,— сказал Рам Дас.

Они простились, как искренне поговорившие люди, не держащие друг против друга камня за пазухой.

Накануне отлета Бомпер ночевал не в отеле, а у Шведенера. На него напал страх, в котором он не хотел признаться даже своему старому другу. Ему казалось, что Шри-гуша на свободе и охотится за ним, что его обманули, сказав, что Нуэла жива, что она умерла и ее призрак будет его преследовать и на берегу Женевского озера.

Они проговорили до рассвета, пили и курили и со всех сторон обсуждали случившееся с Бомпером. Ив Шведенер, за свои услуги, отвоевал себе право журналиста на сенсацию о Ганглорде, без упоминания имен Нуэлы и Бомпера. Он говорил, как знаток, что сейчас вакханалия со спекуляцией золотом стала всемирной. Из него делают старинные монеты, подобие альбомов, пачек папирос, был случай, когда корпус ввозимого автомобиля был сделан целиком из золота и искусно покрашен. Его превращают в поддельные монеты времен королевы Виктории. Говорят, что золото, идущее из Швейцарии через Японию и Китай, продается там в шесть раз дороже стандартной цены. Одним словом, Ганглорд делал большой бизнес.

— Да, кстати, я сейчас тебе покажу кое-что.— И он протянул Бомперу вечернюю газету, где было отчеркнуто красным карандашом сообщение из Бомбея.

«Вчера здесь,— читал Бомпер,— в курортной местности Джуху, в одной из пустующих вилл, обнаружено тело известного главаря большой разветвленной организации по контрабандным операциям, главным образом с золотом, ручными часами и наркотиками, которого знали под кличкой Ганглорд. Смерть наступила вследствие тяжелых ранений, полученных им во время схватки с таможенниками при захвате обнаруженной контрабандистской шхуны, замаскированной под рыбачье судно. Следствие продолжается».

Бомпер трижды перечел заметку. Сначала она производила нереальное впечатление. Но бумажный лист черными буквами говорил о факте, о действительном событии, которым кончался кошмар. Бомпер налил себе в стакан хорошую порцию виски и выпил, не разбавляя содовой, залпом.

На аэродром его повез Шведенер на своей испытанной «Симке». Дорога была осенена ветвями колоссальных деревьев. Эти великаны тамаринды привыкли к тому, что мимо них течет поток жизни, никогда не иссякая.

Так и в эти свежие утренние часы из чащи в чащу перелетали зеленые молнии попугайчиков. Двугорбые зебу влекли двуколки с поклажей, закрытой разноцветными циновками. Проходили коровы, жуя овощи, только что взятые с лотка продавца, собиравшегося на базар. Шли женщины с медными большими сосудами на голове, неся их так легко и привычно, как будто сосуды были из бумаги.

По сторонам дороги под деревьями спали отдельные пешеходы, еще не вставшие после ночлега, заставшего их в пути. В иных редких местах в стороне от дороги тлели крошечные костры, у которых грелись дрожавшие от утренней свежести люди. Бомпер резко схватил за руку Шведенера:

— Пожалуйста, остановись! Скорее!

Шведенер повиновался, ничего не понимая. Бомпер выскочил из машины и зашагал к ближайшему дереву. Там был разведен из сухих, пожухлых листьев маленький костер, горевший тонким синим огнем. По одну сторону этого крошечного костра сидел голый старый индиец. Лохмотья плохо прикрывали его большое, сухое, изможденное тело. Он сидел, глубоко задумавшись, вытянув руки над огнем. Против него по другую сторону костерчика сидела большая, худая, лохматая обезьяна. Она неподвижно устремила свои глаза на огонь, а длинные лапы протянула так, что ее тонкие кривые пальцы почти соприкасались над огнем с черными, узловатыми пальцами старика.

Так они и сидели, каждый думая о своем, но со стороны казалось, что сидят старые друзья, много испытавшие в жизни, хорошо знающие друг друга.

Отсветы костра падали на лицо старика, и оно казалось вырезанным из красного дерева. Лицо обезьяны напоминало черты усталого старого человека.

Бомпер долго глядел на них, не отдавая себе отчета в том, зачем он так стоит и смотрит. Сидевшие не обращали на него никакого внимания, хотя он стоял довольно близко к ним. Трещали, свиваясь в маленькие завитки, сухие листья, с криком проносились зеленые попугайчики, скрипели колеса проходивших мимо подвод, но никакие звуки не могли вы-

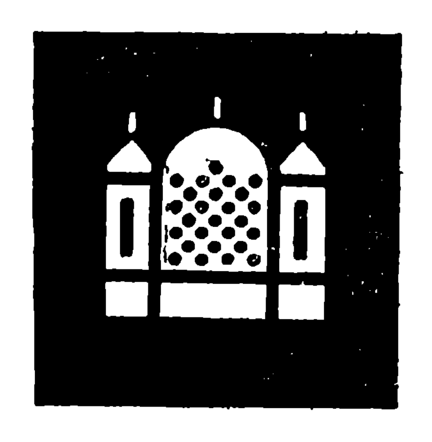
вести из безмолвного сосредоточения эту пару, присевшую на корточки у придорожного костра.

Бомпер пошел к автомобилю, но, пройдя несколько шагов, обернулся, бросил последний взгляд на сидевших и громко крикнул, позвал обезьяну: «Су́ндар! Су́ндар!»

Испуганно взлетели какие-то коричневые птички, стайкой бросились в сторону от крика, но обезьяна даже не пошевелилась. Она продолжала смотреть в огонь, и только пальцы ее коснулись руки человека, и он не отдернул руку.

Бомпер сел в машину. Шведенер взялся за руль. Старые деревья, пешеходы, быки, грузовики мелькали перед ними. Деревья как будто махали большими зелеными руками, словно посылая прощальный привет, точно простодушно, от всей зеленой души говорили отъезжающему:

— Ача аста! Счастливого пути!



СОДЕРЖАНИЕ

Тихонов Николай Семенович

ШЕСТЬ КОЛОНН

М., «Советский писатель», 1970, 320 стр.
Резерв 1970 г.

Редактор *О. Г. Маркова*

Худож. редактор *Е. И. Балашева*

Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*

Корректоры *Л. А. Матасова*
и *В. В. Сорокина*

Сдано в набор 10/VII 1970 г.
Подписано к печати 13/XI 1970 г.
Бумага 84 × 108 1/32 № 1.
Печ. л. 10 + 1 вкл. (16.86)
Уч.-изд. л. 18,15. Тираж 200 000 экз.
Заказ № 1234. Цена 79 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер. 10

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Москва М-54, Валовая, 28